

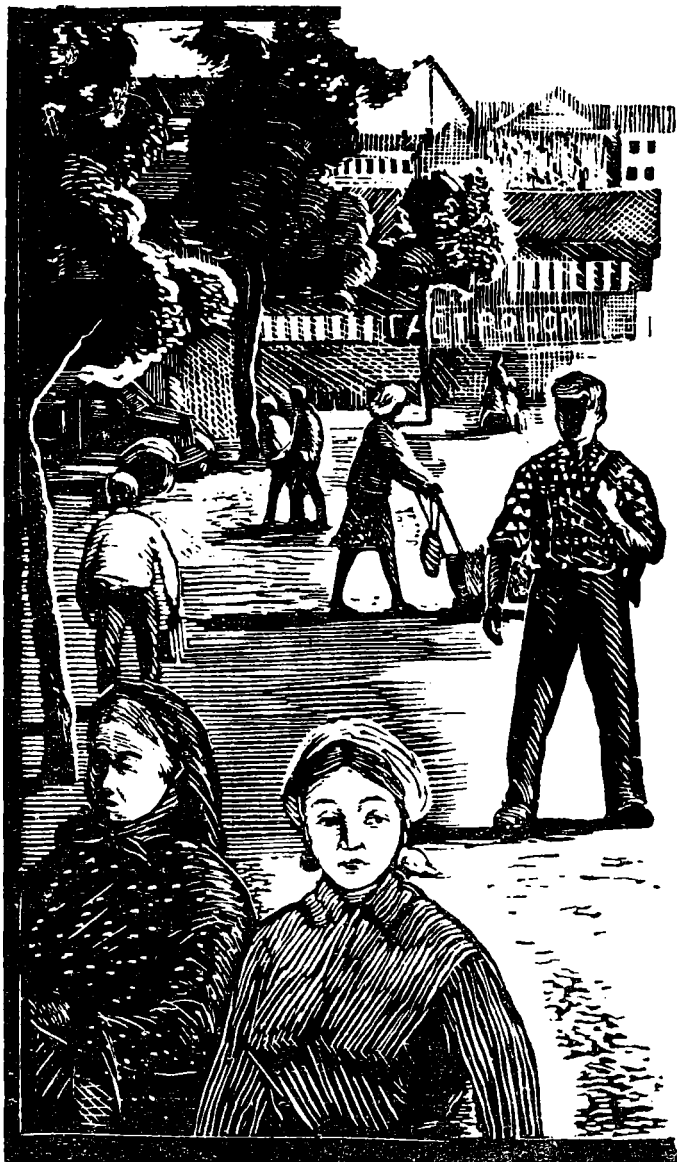
ФЕДОР
ЧИРВА

ПУТЬ ЧЕРЕЗ НОЧЬ



**КАЗАХСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Алма-Ата — 1968



ФЕДОР
ЧИРВА

**ПУТЬ
ЧЕРЕЗ
НОЧЬ**

РОМАН ●

АИМА-АТА—1963

Федор Чирва — автор нескольких произведений о людях нашего времени. Читатель знает его книги «Совесть», «Время рассудит», «Земля золотых плодов», сборники очерков.

Роман Ф. Чирвы «Путь через ночь» рассказывает о любви и тревогах, исканиях, удачах и ошибках наших современников. Он вызывает гневный протест против дурмана, лжи и лицемерия, заботливо укрываемых догмами религии.

Человека внезапно подстерегла беда. Он ищет свою дорогу в жизни. Но дорог много, нетрудно и ошибиться. Так произошло с Татьяной Высотиной, Николаем Дугиным, Полиной Кондовой. Они попадают в удушливый мир общины баптистов. Мечтая о покое, проходят через множество испытаний, пока распознают, кто их истинные друзья, в чем заключается человеческое счастье, пока находят силы порвать с религией.

Человек не может спрятаться от трудностей, уйти от жизни. Пока он жив, он должен бороться за правду, за утверждение нашей морали — такова главная мысль романа «Путь через ночь».

Оформление художника
А. А. Дячина



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Глава первая

1

Григория арестовали перед рассветом.

Все произошло неожиданно просто. Татьяна слышала, как всплакнула прихваченная морозом калитка и после минутной тишины вдоль ограды прохрустели чужие шаги. Потом раздался чужой стук в дверь. Не требовательный, чтобы немедленно открыли, но достаточно настойчивый. Не представляя, кто бы мог стучаться в ночное время, она поднялась с кровати, прошла в кухню, откинула крючок. Стылый воздух лизнул голые ноги. Но вздрогнула она не от холода, а когда различила в полутьме милицейскую фуражку, заиндевелый воротник полушубка и после лицо участкового уполномоченного. Она не вскрикнула, не отступила назад, а молча смотрела и смотрела на это лицо и на фуражку, понимая, что приход ночного гостя вряд ли к добру.

Дальше было так, словно она заранее условилась обо всем с уполномоченным милиции. Он опустил воротник полушубка, отер подбородок ладонью руки, и готовый к исполнению обязанностей, кивнул головой в сторону

комнаты, как бы спрашивая, мол, хозяин дома? Она ответила тоже кивком: да, спит. Тогда участковый пошарил рукою в кармане, достал коробку спичек, легонько потряс ею у уха — не пустая ли, протянул Татьяне. Она снова кивнула, прошла к столу и зажгла лампу.

Григорий спал. Рослый, кряжистый, он занимал почти всю кровать и, взглянув на него, Татьяна невольно подумала: как она умещалась рядом с ним, на самом краешке. Поверх одеяла лежала его большая, тяжелая рука, волосатая от запястья, с пальцами, как корни старого дерева — темными и узловатыми. Но странно, рука ей показалась вдруг чужой. Словно это был незнакомый человек, который по чистой случайности оказался этой ночью в ее доме, в ее постели, и было стыдно будить его при участковом. В то же время она слишком хорошо знала этого человека. Она знала очень многое о нем, если не все, что было в его жизни, и потому чувство стыда было не совсем таким, каким должно быть, когда в жизнь двоих неожиданно входит кто-то посторонний. Может, потому на какое-то время и муж показался чужим, что с приходом уполномоченного он уже как бы не принадлежал ей одной.

Все это пронеслось в голове слишком быстро, за какие-то доли минуты, пока Татьяна зажгла огонь в лампе и подошла к кровати. Так вспыхивает молния, прочерчивая на небе удивительной четкости рисунок и тут же стирая его, погружая небо в еще большую темноту.

Григорий открыл глаза и недовольно прищурился — свет бил ему в лицо. Неужели утро? Он привык к тому, что жена постоянно вставала раньше и включала радио. Тогда он просыпался, поворачивался на бок, клал ладонь под щеку и несколько минут глядел, как она торопливо причесывается, надевает платье, собирает на стол, будит дочь, полусонной заплетает ей косички. Он тоже вставал, умывался, прислушиваясь как поет на плите чайник, натягивал брюки, сапоги и шел к столу. Случалось, будила она его и так — тихо, когда надо было кого-то спешно отвезти в районную больницу и колхозный фельдшер неизменно посылал родственников больного за Высотиным. Или когда — как прошлой весной — разливалась Каменка и топила птицеферму...

Он прикрыл глаза ладонью и только тогда увидел участкового милиции. Услышал, как тот сказал, слегка

кашлянув и стараясь придать голосу служебный характер:

— Одевайся... пойдём.

Восемь дней подряд возил Григорий колхозную пшеницу на городскую мельницу, вставал ни свет ни заря, валился в постель часто уже за полночь, измаялся, хотел хоть раз за все дни отоспаться — и опять надо куда-то ехать или идти. С трудом он заставил себя подняться, опустил босые ноги с кровати, пригладил ладонью волосы на голове. Потом встал, сел к столу на табуретку, сунул в рот папироску.

— Одевайся,— снова проговорил участковый.

В голосе его не было ни добра, ни зла. Напускная служебность никак не шла к его широкому добродушному лицу, к чуть раскосым глазам, к белесым бровям, и милицейская фуражка, с красным околышем и потускневшей кокардой, была как бы с другой головы, одолженная на время ради официального прихода к Высотным.

Григорий не любил пространных разговоров, чувствовал тяжесть, если кто-то пытался объясняться подробно: раз человек пришел, стало быть нужен, что зря толковать. Оделся, ополоснул руки, лицо. Жена подала полушубок и шапку.

— Ты...— сказала она, несмело взглянув в сторону участкового. И умолкла на полуслове.

— Не знаю, что там стряслось,— хмуро ответил Григорий, догадываясь, о чем она хотела спросить.— Долго не задержусь.

Он сунул руку в карман, нащупал ключ от автомашины и упругие корочки шоферского удостоверения. Взял папиросы, спички. Взглянул на спящую дочь. Переступил с ноги на ногу.

— Баню бы к вечеру сготовить,— сказал глухо, застегивая полушубок.— Или ладно, обожду... завтра суббота.

Он хотел еще сказать, чтобы она сходила к Лабутинным, попросила паяльную лампу, кабана вечером резать придется у старухи Герасимовой и... председатель обещал денег выписать, в райпотребсоюзе лес есть, доски, самый раз для пола в новый дом. По весне достраивать надо, сколько еще в этой развалюшке жить... углы подопрели, плесень пробивается. Но ничего не сказал,— к чему это при постороннем человеке. Даже о шали умолчал,

что купил ей вчера в городе. Завхоз денег одолжил, у него она и осталась в сумке, забыл взять. Добрая шаль, оренбургская, пуховая...

— Ладно,— проговорил еще раз.— Пойду.

Снова прохрустели шаги вдоль стены, простуженно прохрипела калитка. И только тогда Татьяна поняла, что совсем неспроста явился ночью участковый, увел Григория. Если что приключилось неотложное, мог бы сказать, намекнуть как-то, чтобы не думалось. А то стоял, молчал, ждал, когда оденется... и ушел молча. Может, порядок у них такой в милиции, чтобы лишних разговоров не ронять попусту, да ведь не с машинами — с живыми людьми дела ведут, пусть бы и отойти от порядка, самую малость хотя.

Она долго стояла в нерешительности посреди комнаты, думая и думая, для чего так спешно вызвали мужа. И не нашла ничего подходящего, что могло бы помочь решить загадку; поправила волосы, убавила в лампе свет, легла в постель.

Кажется, она задремала, даже видела сон, как снова скрипнула калитка и следом открылась дверь. Татьяна сбросила одеяло, выскочила навстречу мужу. Но в кухне никого не было. Дверь в самом деле оказалось приоткрытой: проводив Григория, она забыла набросить крючок. Морозный воздух клубился у порога, полз тополиво в дом.

Она закрыла дверь, прислушалась. Потом подошла к окну, отодвинула занавеску. Подышала на заиндевелое стекло, протерла испарину ладонью. Посмотрела на улицу. Все было тихо. Изредка слабо доносился ленивый собачий лай да из трубы дома старухи Герасимовой в стылое небо поднимался прямой столб дыма.

Больше она не смогла заснуть. Одолели думы. Они наплывали, стелились, как туман над рекой по осени, рвались в клочья и так же невидимо исчезали, как и приходили — непонятно, безмолвно. И если бы посмотреть со стороны, все они были грустные, эти думы, даже неизвестно отчего. Кондратенко пожаловался на Григория? Навряд ли. Дело давнее, считай, забытое... Свадьба шла, старик Лабутин сына женил меньшего. Подвыпил Кондратенко, давай приставать к Татьяне: пошли плясать! Отказалась она, недолюбливала Кондратенко — бабник известный и вид у пьяного такой, словно он всех облизы-

вать подрядился. Отказалась, а тот силой ухватил ее за руку. Подошел Григорий. Понятно, слово за слово, поцапались да и разошлись бы, если б Кондратенко не сказал: «Я твою бабу еще в девках знал лучше тебя. Чего нос дерет?» Григорий не стерпел, ударил его. А брат у Кондратенко председателем райисполкома. Вызвал Григория в район, пострашал... два года прошло с той поры. И еще было. Гуляли на Новый год. Разошелся председатель колхоза, захотел шик показать. Застелил кузов коврами, насадил полно людей, прихватил гармониста и дает команду: «Вези, Высотин, нас в район! Пусть позарятся, как каменцы советские праздники справляют». «Не могу, Афанасий Петрович, не в форме я, выпивши, — отказывался Григорий. — По инструкции не положено». А тот: «Приказываю тебе от лица правления!» — «Хоть десять раз приказывай, не подчинюсь!». Пospорили. А народ пьяный — круглый дурак: кричат, подзадоривают. Сел Григорий в кабину, хотел вместо района прокатить компанию по деревне и ссадить, лишь бы дело в такой день до скандала не доводить с председателем, человеком крутого нрава. Свернул в переулок и угодил в яму. Машина свалилась набок. Обошлось, ничего, никто не пострадал. И случись тут проезжать по деревне районному автоинспектору! Куда несло его — один бог знает. Протокол сразу же, права шоферские потребовал. Председатель горой встал за Григория. Говорит: «Силой заставил, начальничеством своим. При народе заявляю, при последствиях аварии: всю вину принимаю на себя, в лице правления. Так и занеси в протокольную часть...»

Это было все. Другого она ничего не припомнила о муже. Работал много, о доме заботился. Одно лишь: часто выпивал с друзьями.

Скоро неведомо стало ей одной в доме, тяжело. Словно кто шубой накрыл с головой, воздух забрал. Хотела она дочь перенести к себе в постель, встала... сунула ноги в валенки, набросила платок на голову, пальто надела и забыла про дочь. Вышла во двор. Вспомнила, что телку пора поить, взяла ведро, подержала, поставила у сеней. Снова о муже подумала.

Густое тусклое небо висело по-над деревней давно не стираным мятым пологом. Оно окутывало, глушило все, и редкие звуки, казалось, пригибались к самой земле, чтобы хоть немного проползти по упругому насту.

Чьи-то торопливые шаги за калиткой насторожили Татьяну.

Через минуту они заглохли. Татьяна выглянула за угол дома. Ее, видать, заметили.

— Не спишь? — донесся голос.

— Нет, — ответила она.

— Собака привязана?

— Без собаки живем... нечего ей караулить.

Женщина немного повозилась у калитки, отыскивая замок, толкнула ее ногой и вошла вслед за Татьяной в дом.

2

— Ну, рассказывай, — приказала она низким грудным голосом, по-хозяйски садясь у стола. Толстая, пухлая рука ее, с золотым кольцом на среднем пальце, протянулась к лампе, выкрутила фитиль. — Чего сидишь в потемках, как... — и, не найдя что еще сказать, сердито добавила: — Поздно, милаша, прятаться. Все открылось, до последних подробностей.

Не только лицо Пелагеи Степановны — рыхлое, словно отечное, с сочной бородавкой под нижней губой, но и грузное тело, как бы с силой втиснутое в узкое пальто из серого драпа, выражали крайнее возмущение.

— Не таись, милаша, не разыгрывай святую.

— Что рассказывать-то? — с непонятным страхом проговорила Татьяна.

— А все, от начала до окончания. Все как было.

Татьяна хотела ответить, что ничего, собственно, не было особенного и ей даже непонятно, что требует от нее тетка Пелагея. Но подумала о приходе участкового уполномоченного, замялась, промолчала.

Видя ее замешательство, Пелагея Степановна испытующе посмотрела и перешла в наступление.

— Милиция была?

— Была.

— О чем спрашивала?

— Ни о чем.

— Так-таки ни о чем?

— Нет.

— Не валяй дурака, милаша, меня не проведешь!

— Ей богу, не вру.

— Таишься, вижу. Тебе хуже будет... Арестовали твоего?

— Гришу? — переспросила Татьяна. — Не знаю.

— Как не знать, когда милиция прямо из дому человека заапаала! Тут и знать нечего.

— Должно быть, по делам каким... — Слово «арестовали» еще не приходило ей в голову. Бывало и раньше, правда, редко, заходили к Григорию то уполномоченный — тогда другой был, не этот, что ушел с мужем. — то автоинспектор. Иногда пили чай, потом уходили вместе. Но не арестовывали, а так, уходили по каким-то делам. Потом Григорий возвращался.

— Обыск делали?

— Какой?

— Ну, в сундуки, еще куда заглядывали?

— Зачем же?

— Не делали, выходит?

Татьяна медленно покачала головой.

— Интересно! — озадаченно сказала тетка Пелагея.

— Куда у нас заглядывать, — пожала плечами Татьяна. — Чемодан только, а так... каждую-копейку на дом.

С теткой Пелагеей внезапно что-то произошло. Руки ее опустились, скользнули между колен. Спина согнулась, и в глазах образовалась пустота. Она стала похожа на человека, дико уставшего после долгой и утомительной дороги, измученного и безвольного, чудом сидящего на табуретке. Казалось, стоило ей сделать малейшее движение, и она свалится прямо на пол, не сможет шага шагнуть, чтобы лечь на кровать. Но это длилось недолго. Почти под самым окном залаяла собака, тетка Пелагея встрепелась, странно прокралась к окну, чуть отодвинула занавеску. Потом резко повернулась, шагнула к Татьяне, ухватила ее за руки.

— Слушай, милаша, — заговорила торопливо, жадно заглядывая в глаза, — дело-то не совсем правильное. Худо может обернуться, попомни. У меня тоже были эти, из милиции. Двое. Шарили по всему дому. Дуру нашли, разложу я им все по лавкам!.. Про твоего мужика расспрашивали: что да как, да где он и почему дома, а моего нет...

— Где же твой Кузя, тетка Пелагея?

— Кто его знает! С Григорием ездил, еще не вернулся... Не в том дело, милаша. Сдается мне, еще при-

дут к тебе из милиции. Так ты прикинься, вроде ничегошеньки не ведаешь и знать не знаешь что и почему. Мол, дома я сижу, не в курсах всяких мужицких дел. Какая тебе радость подробничать с ними, пусть катятся своей дорожкой.

— К чему ты это, тетка...

— Не придуривайся,— грубо перебила она Татьяну.— Мне очки нечего замазывать. Кто заварил кашу, тот пусть и расхлебывает. Хоть бы свою калеку пожалели,— покосилась в сторону спящей Лены.

Словно иглой кольнула она в душу Татьяны. Лене шел третий год, когда она упала, ушибла ногу и почти месяц пролежала в больнице. Ножка стала сохнуть. Врачи признали туберкулез кости. Начали лечить. Прошел год, а здоровье девочки почти не улучшалось. Татьяна стала привыкать к мысли, что Лена останется увечной, но калекой — это звучало слишком страшно. Скажи так кто другой, Татьяна набросилась бы на того человека, закричала, что Лена никогда не будет калекой, просто останется больной, а может, еще и вылечат ее. Но на тетку Пелагею только с болью подняла глаза:

— Уйди... не трожь меня.

— Жить в твоей землянушке не останусь,— немедленно ответила та,— уйду. Но попомни...— и опять потускнела, на виду обмякла, опустилась на табуретку. Челюсть у нее странно отвисла и открытый рот стал похож на нуль, приплюснутый по бокам.

Это превращение Татьяна отчетливо заметила. И подумала, что надо было сказать что-то другое. Не впервые ей говорят о дочери: калека. Пора привыкнуть. Что особенного, если Лена в самом деле больна, ходит на костыле, худая стала. Правда ведь это.

— Обидела ты меня,— готовая помириться, сказала Татьяна.

— А? — переспросила гостя, как бы не расслышав слов или не понимая их значения.— Дай воды.

Но когда взяла кружку, отпила глоток, Татьяна снова увидела знакомый тяжелый блеск, плохо скрытый в прищуренных глазах.

— Если что, милаша,— заговорила, ставя кружку на стол,— то помни: мой Кузя с твоим сообща были. Пушай что будет, но в ответствии оба встанут. Тебе надо больше помалкивать... Я сама разужнаю, как дело начнет опре-

деляться. У меня там,— мотнула головой в пространство, имея в виду район, возможно, что и повыше,— имеются дязи. Поняла? Ничего не знаешь, ни-че-го не ведаешь. В одну дудку со мной. Им ведь, всем этим расследователям, только попадись на крючок, за язык всю душу вытянут, не заметишь. Ты еще не бывала в переплетах, бог хранил. А я...— и резко перевела, дыша почти в лицо Татьяне: — Может, денег надо? Пока то да се, а расходы идут,— распахнув пальто, подняла подол платья.

Татьяна отступила на шаг, замахала руками:

— Что ты, что ты!

Где-то близко раздался глухой стук. Тетка Пелагея рывком одернула платье. Застегнула пальто. Но на дворе по-прежнему стояла тугая морозная тишина.

— Пойду я... Все поняла?

Ничего не поняла Татьяна из разговора с женой колхозного завхоза. Одно прояснилось, что Григорий, кажется, действительно арестован, а не просто вызван уполномоченным. А завхоз не приезжал домой. Куда он девался и почему Григорий ни слова не сказал ей вчера — это оставалось непонятным.

Снова сидела она у стола, не замечая рассвета, убавив огонь в лампе, теребя край опущенного на плечи платка. Проснулась Лена. Она повернула ее на другой бок и стала баюкать. Обернулась к окну, с удивлением увидела, что на дворе уже светло. Неодолимая сила потянула Татьяну на улицу, к людям, чтобы узнать что-нибудь о Григории, ведь всякое деревенское происшествие немедля становится достоянием соседей. В куче словесных недоговорок и измышлений всегда найдется доля правды.

3

Небо успело подняться над землей, посерело. Со стороны реки его оторвало от земли, отрезало прямой полосой голубое свечение наступающего дня. Дымные столбы над домами стали ниже, распластались поверху большими мятыми комьями.

Выйдя из дому, Татьяна встретила трех женщин, поклонилась им и после каждого поклона радостно отметила: еще не знают! У правления она остановилась, взглянула на витрину. В витрине висел печатный пла-

кат с её портретом и надписью: «Равняйтесь на знатную звеньевую Т. Е. Высотину!» Внизу были три фотографии: звено Высотиной на севе кукурузы, на опылении и уборке урожая. Но дело сейчас заключалось в другом. «Не знают!» — подумала Татьяна и смелее зашагала к крыльцу.

В правлении одиноко сидел бухгалтер, низенький подслеповатый мужчина, с редкими полинялыми волосами, удивительно добрый характером. На стук он поднял голову, присмотрелся и, улыбаясь, поднялся навстречу.

— Проходи, дочка, здравствуй!

— Здравствуй, Василий Иванович! — протянула она руку.

— Садись, дочка, — он звал дочками всех колхозниц, которые были моложе него. — Я было хотел послать за тобою, да сама пожаловала. Садись, что стоишь.

«Знает. Уже...»

— Бумага тебе пришла, Танюша. Ты же у нас человек государственный, депутат. Завтра сессия райсовета. Просят прибыть к двенадцати дня, без опоздания.

«Не знает», — с облегчением подумала Татьяна.

— Вот, — протянул незаклеенный конверт. — Извини, что полюбопытствовал: ни сургуча, ни опечатки не было.

— Ничего, Василий Иванович, — проговорила она. — У меня от тебя секретов нет.

— Чего от меня секретничать! — рассмеялся он. — Старик уже, даже на мыло не гожусь. Ты вот что, дочка, посиди минутку, скоро кассир придет, деньги получишь. А то он сразу же в район исчезнет, в банк, лови тогда. И Григорию подписана ведомость. Дома он?

— Григорий...

— Ну ничего, что нет, — замахал бухгалтер рукою, — распишешься за него. Одна семья.

— Да я хотела сказать...

— Ничего, говорю, разрешаю. Не каждому, правда, а тебе разрешаю. Вон, кажись, и кассир идет.

Татьяне смертно захотелось рассказать ласковому и словоохотливому бухгалтеру о Григории и приходе уполномоченного, о том, как тяжело у нее на душе от всей неизвестности, но кассир уже рядом гремел связкой ключей, открывал тяжелую дверку несгораемого шкафа. И она решила обязательно поговорить с бухгалтером после получения денег.

— Вот тут,— показал кассир на строку в ведомости.— У красной птички ставь фамилию и число.— Потом достал другую ведомость, сложил на счетах обе суммы и отсчитал кучку денег.

Вошли трое мужчин. Поздоровались. Но кассир уже снова гремел ключами, закрывая кассу на запоры.

Взглянув, Татьяна подумала: «Не знают». Эта мысль — знают или не знают,— стала навязчивой, как осенняя грязь, без конца прилипающая к подошвам ботинок. Отбросить ее она уже не могла. Мысль будет жить до тех пор, пока люди узнают, заговорят и не появится надобности испытующе вглядываться в лица сельчан, терзать себя этим болезненным вопросом.

Еще кто-то вошел в правление, заговорил с бухгалтером. Татьяна решила уйти, какой может быть душевный разговор. Но не ушла. В дверях показался председатель. Снял шапку, отряхнул, глядя на Татьяну, позвал:

— Высотина! Зайди.

Пропустил в свой кабинет, плотно прикрыл дверь. Снял пальто, повесил на гвоздь. Причесал волосы на лысеющей голове. Прошел за стол. Сел. И сразу вроде рассеял мучительное сомнение:

— Примерно сказать, все знаю. В известном курсе. Волнениям и переживаниям не должно быть места, авторитетно заявляю. Утрясется, перемелется, разберутся досконально по всем статьям. Советские законы всегда стоят на охране трудящегося народа.

Эта речь, до странности четкая, как дрова в поленище, внешне понятная, ничего не объяснила Татьяне. Афанасий Петрович был большой мастак закатывать такие фразы, которые не вдруг доходили до сознания и, судя по настроению, воспринимались одними как положительные, другими как отрицательные. Иногда люди долго спорили после собрания, разбирая суть председательского выступления.

— Сессия завтра, Татьяна Ефимовна, по вопросу народного здравоохранения. Вопрос трепещущий, примерно сказать. Тебе как депутату извещение прислано, по всей форме. И мне. Да отговорить тебя хочу. В районе, примерно сказать, уже поступили сигналы об аресте твоего супруга. Удобно ли будет занимать равное место рядом с избранниками народа? Пушай зачтут тебя не прибывшей по личным мотивам, чем сентиментально опущать

глаза перед посторонними взорами депутатов и представителей партийно-советских органов. Лично я такую, примерно сказать, допускаю мысль. Как ты на это реагировать намереваешься?

— Не ехать, что ли, Афанасий Петрович?

— Не совсем точно поняла ты меня, товарищ Высотина,— возразил председатель, поглаживая волосы.— Не в циркулярном смысле надо смотреть, а в диалектическом. Хочешь — езжай, сядешь в одну машину со мной. Но как будешь там регулировать самочувствие, вот вопрос: на виду у состава райкома и райисполкома? Спокойно допускать на себя кивки и шепотки? Отсюда, примерно сказать, резонный вывод: воздержаться от личного участия на сессии.

— Ладно, согласна реагировать,— ответила она, забыв одно из любимых председательских выражений.

— В каком смысле? — немедленно переспросил он.

— Не поеду — и все.

— Правильно, товарищ Высотина,— кажется, он обрадовался благополучному исходу разговора.— Я внесу в регистратуру устное заявление по поводу твоего отсутствия. Дочь больна, примерно сказать. Есть же такой факт в твоей семье? Есть!

Она кивнула в ответ, мол, говорите что угодно. Чем регулировать самочувствие на виду у представителей райкома и райисполкома, лучше просидеть дома, с Леной. Бабке Герасимихе надоело с ней целыми днями нянькаться, пока Татьяна на работе.

— Что же с Гришей-то? — спросила она.

Но Афанасий Петрович, по всему видно, не знал ничего определенного, хотя и сказал, что «в известном курсе». Он взял на столе карандаш, переложил с места на место, что-то сделал этакое губами, вроде, мол, трудно сказать наперед все точности и пообещал подробнее ответить по возвращении из района. Там у него и начальник милиции, считай, старый друг — а это очень важно! Через милицию легче узнать, в чем обвиняется человек. И сам прокурор давно знаком. Они обязательно будут на сессии райсовета. Если что, так он запросто и в милицию ходит: не за кого-то интерес, а за своего колхозного человека!

Шла она домой, равно испытывая усталость и облегчение. Тревожное утро потребовало слишком много сил;

чтобы удержаться в определенном равновесии. Силы не ушли сразу, а медленно испарялись, подобно озерной воде в жаркий летний полдень — невидимо, неосвязаемо. К обеду, может, к вечеру, вся деревня будет знать об аресте Григория. Одни станут жалеть Татьяну, другие...

Додумать, как отнесутся к ней другие, не удалось. Открывая дверь, Татьяна услышала до боли знакомое сухое постукивание о пол костыля. Это встала Лена. Она часто просыпалась когда мать уже убегала на работу, спокойно ждала прихода соседки, шла на день в ее маленькую, с низким потолком избу, наполненную густыми запахами сохнувших на припечке диких трав.

4

Следователь неторопливо выводил строку за строкой.

— Высотина, говорите, ваша фамилия?

— Да. По мужу.

— Имя?

— Татьяна Ефимовна.

— Давно живете в Каменке?

— Как сказать,— задумчиво ответила она.— Все время. И родилась тут. Пишите, почти постоянно проживаю.

Допрашивал следователь ее, заметно смущаясь, повторяя отдельные вопросы дважды, хотя отчетливо слышал ответы. Был он слишком молод, и высокие полномочия представителя правосудия плохо вязались с его светлым вздыбленным чубиком, добрыми голубыми глазами, которые куда веселее глядели по сторонам, чем на лист протокола, немедленно отметив, что допрашиваемая очень мила. Даже весьма.

— Сколько вам лет?

— Двадцать пять будет по весне.

— Точнее?

— Я правду говорю.

— Да, конечно. Но когда это, по весне?

— Шестого мая. В Юрьев день.

— Вы верующая?

— Что вы, какая из меня верующая,— слабо улыбнулась Татьяна.— Сроду в церкви не бывала. Живого папа один раз в городе видела.

«Ровесница мне,— подумал следователь. Прикинув в уме, он заключил: — Моложе меня на три месяца».

— Что знаете о Григории Высотине? Расскажите подробно.

— А образование мое не нужно для записи?

— Образование? — это, кажется, застало его врасплох. Он макнул перо в чернильницу, взглянул на Татьяну и, словно споря с собой, сказал: — Впрочем, запишем.

— Семь классов. И курсы звеньевых, по полководству.

— Неполное среднее, — проговорил он, записывая.

— Полным назвать нельзя, — согласилась она. — Откуда ему быть полному, когда в Каменке средней школы не было? Это теперь каждый полное получает, раз десятилетку построили. А тогда мы жили на ферме. Вы проезжали ее, помните, по дороге из райцентра, когда спустишься в низину, к реке, так в левой стороне мазанки стоят? Видели, небось? Километра три от шоссе. Вот эта и есть ферма. От колхоза до нее девять километров. Когда бывало нас в школу на лошадях подвозили, а то и не дадут лошадей, так мы пешком туда и обратно. Больше пешком ходили, какие там лошади лишние после войны. Их в хозяйстве не хватало, не то что нас раскатывать.

Ей так захотелось рассказать следователю все, что было в ее недолгой жизни. Отца в войну убили, а мать все болела и болела. Придет из птичника, ляжет и стонет, тихо так, вроде во сне. Посмотрит Таня на нее, сложит учебники кучкой — и к курам. А потом мать померла. Тоже тихо, как и болела. Пришла раз после обеда, поохала немного, отвернулась к стене и заснула. Таня уже плиту на ночь истопила, чаю попила, а мать все спит. И утром, видит, спит. Собралась Таня, ушла в школу. Когда вернулась, соседки уже обмывали мать, в гроб стали укладывать. Тогда и забрала Таню старуха Герасимиха. До замужества продержала...

— Да, конечно, — кивнул следователь, плохо слушая. Он полагал, что разговор об учебе к делу не относится, но не перебивал, наблюдая за движением ее мягких, пухлых губ, ямочки на подбородке. «Очень мила, просто... — и, не найдя нужного определения, вернулся к первоначальному: — Мила».

— Смешно все это, — улынулась она, неожиданно показав и на щеках ямочки, удивительно нежные. — Вам такое, видно, неинтересно.

— Почему же! Жизнь человеческая... — что-то в этом

роде однажды сказал областной прокурор, довольно складно, но следователь вдруг забыл, что именно тот сказал, и неоконченная фраза словно повисла в воздухе.— Кхм... да,— рука привычно потянулась к чернильнице.— Я попрошу вас подробно рассказать...— ах, черт! Надо было сказать: попрошу вас рассказать подробнейшим образом, как говорит всегда старший следователь,— все, что вы знаете о Григории Высотине.— И для уточнения добавил:— Вы же с ним в близких отношениях.

Следователь вел первое в жизни самостоятельное дело и очень радовался доверию прокурора. Когда прокурор предложил приобщить к материалам показания жены Высотина, следователь легко представил себе поездку в колхоз, вызов какой-то, если не пожилой, то средних лет женщины, вероятно, худой, испуганной его появлением — почему именно напуганной, этого он не мог определить,— быстрый допрос с применением простейших вопросов, изредка перекрестных, чтобы поймать на нечаянно оброненном слове, уличить во лжи. Но все оказалось по-другому. Женщина была молода, весьма приятна и, что самое страшное, он верил ей, каждой ее фразе. Даже поймав на слове, обнаружив ложь, он, пожалуй, не смог бы грубовато объявить ей об этом, заставить покраснеть, показать свою силу, превосходство над нею в логическом мышлении.

С легким шорохом приоткрылась дверь, в кабинет вошел Афанасий Петрович. Осторожной, почти крадущейся походкой, хотя он от самой двери был на виду у обоих, Афанасий Петрович подошел к столу, порывшись в куче бумажек, взял одну из них и так же безмолвно вышел.

Приход и короткая возня председателя с бумажками послужили своего рода перерывом для следователя и Татьяны. Следователь подумал, что надо быстрее переходить к сути дела, иначе он просидит в колхозе дотемна, придется заночевать, а это совсем не входило в его планы. Еще вчера он договорился с прокурором, что к субботе дело по обвинению Высотина должно быть завершено, в понедельник просмотрено и передано в суд. Но шел четверг, а конца следствию он не видел. После допроса Высотиной предстояло еще раз сходить в ОБХСС, затем навести справки о задержании колхозного завхоза, предъявить Высотину обвинительное заключение, приоб-

шить к делу справку из милиции — хорошо, если ее сегодня прислали! Потому он более поспешно, в третий раз, спросил:

— Меня интересует все, что вы знаете о Григории Высотине.

Татьяна заметила перемену в поведении следователя. Подробно ему рассказывать, подумала она, или...

— Я слушаю вас,— напомнил он.

Она и без того видела, что он слушает.

— Муж он мне,— ответила Татьяна.

— Да, конечно... Но, подробней?

— С того времени как ухаживать начал?

— Это несущественно.

— С замужества?

— Нет, замужество не нужно. Как он жил последнее время. Ну, год, например. Как работал и прочее.

— Работал как все,— ответила она,— а прочего у него ничего не было. Нет, не было,— добавила утвердительно.

— Но встречался же он с кем-то, дружил, иногда, возможно, отлучался из дому. Так куда и зачем, как часто отлучался. Какие подарки вам приносил?

Его постоянно коробило слово «подарки», старое, мешанское определение. Но именно так значилось в юриспруденции: подарки.

— Что вы, какие подарки! Ничего он мне сроду не дарил. А деньги приносил все, до копейки. Что надо мне, сама я покупала. И ему.

— Вот, вот, именно, деньги,— кивнул следователь.— Как часто он их приносил последнее время и сколько? Вы же помните?

— Помню, помню.

— Расскажите, пожалуйста. Например, за последние два месяца.

— Только?

— Достаточно этого срока.

— Как хотите.

Она стала перечислять, отвернувшись от следователя в сторону окна. Значит, так: раз Григорий принес восемнадцать рублей, долг ему отдал Иристай Мамудов. Надо бы двадцать, да они сложились на выпивку, два рубля долой. Потом кабана продали, живьем, получили сто пятьдесят. Как хлеб стал возить на мельницу с завхозом,

выписал в правлении сорок пять рублей. Двадцать дома оставил, а двадцать пять с собою взял...

Опять она отошла в сторону от сути дела, и следовательно не перебивал ее. За окном собирались предвечерние тени. В кабинете председателя, за спиной Татьяны, дневной свет серел, становился мятым и неустойчивым, потому профиль ее лица, обращенного к окну, был более четок, словно очерчен рукой художника. Теперь значительно рельефнее выступал мягкий, но не полный подбородок, красиво облитый светом, прямой нос, бровь на заметно выступающей надбровной дуге. Этот мягкий подбородок, припухшие губы, широкая густая бровь, платок на голове, поношенное пальто и тихий рассказ постепенно делали его соучастником ее жизни, сближали с нею во всем, о чем она говорила. Ему стало стыдно за свою душевную причастность к допрашиваемой.

— Вы отвлеклись,— осторожно проговорил он.— Значит, восемнадцать рублей, сто пятьдесят и двадцать пять.

— Больше не приносил.

— Вы это хорошо помните? — Понятно, не приносил, он верил ей; когда Татьяна кивнула, подтверждая, что она отлично помнит, он немедленно согласился, сказав даже: — Да, конечно.

Оказалось, что Григорий накануне ареста взял у нее шестьдесят пять рублей. Хотел ей шаль купить. Строятся они, денег в обрез, да и ходить в платке нельзя, простынешь, не доведется пожить в новом доме.

Он задал ей еще несколько вопросов, больше для формы, чем для пополнения следственного дела, считая, что ничего нового к материалам она не добавит. Григорий Высотин на допросе тоже назвал цифры, тождественные с показаниями его жены.

— Купил он вам шаль, или только пообещал?

— Нет, не купил,— сказала она.

— Куда же он израсходовал деньги?

Этого она не знала. «Вполне возможно,— подумал следователь,— что он действительно купил шаль, положил в сумку завхоза, а завхоз сбежал. Потому она и не знает. Высотин так показал».

— Я вам всю правду говорю,— заметив задумчивость следователя, она повернулась к нему, посмотрела в глаза.— Жена не станет врать на мужа. Вот ваша жена, к примеру...

Он не дал ей договорить и поспешно ответил:

— Я еще не женат.

— Не женаты? — удивленно переспросила Татьяна. — Что же вы так? Подходящую женщину не встретили?

«Чертов председатель, надо же ему...» — следователь сердито взглянул на вошедшего Афанасия Петровича. Тот опять прошел к столу, порылся в бумажках и, рассматривая их, присел на стул. Видно, председателю очень хотелось послушать допрос Высотиной.

— Не помешаю?

— Помешаете, — сердясь, ответил ему следователь.

— Может, я, примерно сказать, как знающий в известном смысле курс дела...

— Нет, не нужно, — прервал следователь. — С вами я поговорю отдельно.

Афанасий Петрович вышел.

— Он всегда такой, с заковычками? — следователь покрутил в воздухе пальцем.

— Афанасий Петрович? Ничего он, сродственный человек. А говорит действительно мудрено.

— Как он относился к вашему мужу?

— Одинаково. Премии давал, почти каждый год.

— А к вам?

— Тоже сродственно.

— Тоже премии давал?

— Когда как. Позапрошлый год наше звено вырастило на каждом гектаре по шестьсот пятьдесят центнеров кукурузы, так всем была премия.

— А прошлый год?

— По восемьсот тридцать собрали с каждого из тридцати гектаров.

— Я не об урожае, а о премии. И прошлый год дали?

— Как же, дали, дали! Телку мне правление преподнесло. Самый высокий урожай был у нас во всем районе. Раньше-то в наших краях кукурузу не выращивали, ну, так, вроде, пример, показатель для остальных.

— А кроме телки?

— По другой линии? Тоже отметили, спасибо, не забыли. Мне орден Знак Почета, как звеньевой. Я уже семь лет на кукурузе, сразу как с курсов пришла... Марусе Звягинцевой и Дарихе Аманжоловой медали...

«Сегодня мне уже не уехать, — думал следователь, — придется заночевать. С председателем поговорить надо,

новый дом Высотиных посмотреть, по средствам ли они его строят... нет, в субботу не удастся закончить дело...»

На дворе стемнело, когда он дописал в протоколе опроса последнюю фразу и сказал:

— Вот здесь, в конце, вам надо поставить подпись. Сами прочтете показания или будете слушать?

Она согласилась слушать. Потом расписалась.

Мороз заметно окреп, и звон шагов раздавался так же отчетливо, как тогда утром, перед рассветом, когда участковый уполномоченный пришел за Григорием. Со дня ареста прошло три недели, но Татьяна до малейших подробностей помнила всхлип калитки, шаги вдоль ограды, уход мужа.

— Вот сюда надо свернуть,— показала она на тропку к дому.— Осторожнее, идите за мной.— Она боялась, что следователь может оступиться, набрать снегу в ботинки и галоши. Простынет еще, чего доброго, будет болеть. Такой молодой, думала она, не женатый, а уже пост занимает, дела ведет. Может, домой позвать, чаем напоить? Часа три просидели, проголодался. Умственная работа тоже изматывает организм.

«Интересно,— думал следователь, шагая за ней по узенькой скользкой тропе,— знает она или нет, в чем обвиняется ее муж?.. А что если вдруг она пригласит выпить чаю?» Эта мысль вызвала непонятное тепло и робкий стыд.

Новый дом — на две комнаты с кухней, только сложенный и накрытый шифером, еще не оштукатуренный, без полов и печей, заложенный в оконных проемах сырцовым кирпичом,— он осмотрел быстро. Собственно, смотреть было почти нечего: дом сделан лишь наполовину и, по определению строителей,— это он знал,— фундамент, стены и кровля составляют сорок—сорок пять процентов от суммы общих работ. Не больше.

Он не отказался зайти посмотреть и старый дом, мянuku, выстроенную лет пять назад,— две маленькие комнаты с небольшими подслеповатыми окнами. Ничего в доме не было такого, что бросилось бы следователю в глаза, указало бы, что хозяева живут не по средствам.

Татьяна сняла платок, пальто.

— Я чай поставлю. Посидите минутку.

— Нет, зачем же,— несмело запротестовал он.— Я пойду, пожалуй. Больше у меня к вам вопросов нет.

— Да разве дело в вопросах! — торопливо, с доброй женской прямоотой ответила она. — Просто по-людски.

И он согласился. Татьяна зажгла лампу. Унесла ее с собою на кухню. Он остался сидеть один, в полутьме второй комнаты. Зато он теперь ясно видел ее на свету, без платка и пальто, без валенок, — она сразу же, как вошла, сбросила валенки и надела домашние туфли. И следователя снова охватил стыд, как юнца. Стыд наивный, мальчишеский, потому что он не был вызван какими-то непристойными мыслями, а возник так, сам по себе. «Лучше бы я солгал, — подумал он, — сказал бы, что женат».

Он выпил только стакан чаю, пожевал кусочек копченого окорока и поспешно распрощался. Татьяна вышла проводить его во двор.

— Так вы ничего мне не сказали насчет Гриши. Что же будет с ним?

— Пока неизвестно, — ответил он.

— Когда же станет известно?

— Закончится следствие и... — она стояла совсем раздетая, в кофте и шлепанцах на ногах: боже мой, какой разговор может быть на морозе в таком виде! — Скоро все выяснится. Идите, простыть можно.

— Хоть бы свидание разрешили, месяц уже почти...

— Идите, пожалуйста, холодно.

— Что холодно: обойдется.

— Я поговорю о свидании, — пообещал он, лишь бы скорее окончить разговор. — Поговорю.

— Будьте добры. А то никакого известия.

— Да, конечно. Поговорю.

Она с благодарностью протянула руку, прощаясь.

— Всего вам доброго.

— Да, до свидания. Скорее идите в дом.

Следователь догадывался, что председатель колхоза определенно ждет его. Так оно и вышло. Афанасий Петрович стоял чуть в стороне от калитки и, вероятно, слышал их разговор во дворе. Он кашлянул, шагнул, распахнул перед следователем калитку. На минуту застыл на месте, пропуская его вперед, и зашагал назад, глухо топчя снег.

После разговора с Татьяной следователю не хотелось ни с кем говорить. Он попросил машину и через несколько минут выехал в район.

Татьяну жалели, она видела это по лицам людей. Зато много толковали о побеге завхоза. Будто он стащил крупную сумму денег. Другие утверждали, что завхоз пропил какое-то колхозное имущество. Никто не знал, задержан он или нет. Хотя и шел слух, что арестован, но по поведению его жены, Пелагеи Степановны, судить было трудно. Как и раньше, ходила она по деревне суровая и властная, здоровалась пренебрежительно-покровительственно. Татьяну разговоры о завхозе не интересовали, между его побегом и арестом Григория она не видела никакой связи. Однако в последние дни ей несколько раз приходила в голову мысль: зачем явилась Пелагея Степановна ранним утром в день ареста Григория, просила молчать — о чем? — предлагала деньги.

Жалость — как соль на ране. Пусть бы самое горькое говорили, только не молчали, думала Татьяна. Какая ее вина, если мужа арестовали. Она ждала его каждый день. Просыпаясь ночью, прислушивалась: не идет ли, не стукнет ли в дверь. Заканчивая работу, скорее бежала домой, возможно, вернулся, ждет ее, или зашел к соседке, с Леной сидит. За четыре недели он прислал одно письмо и то слишком короткое, чтобы из него понять, что же произошло. Жив, здоров, следствие идет к концу, писал Григорий. И все. Были надежды на Афанасия Летровича, обещал: «Разузнаю, у меня там начальник милиции друг, и прокурор, примерно сказать... Поставлю тебя в соответствующую известность...» Но с каждым днем Татьяна видела, что дело Григория интересовало председателя все меньше. Под конец он открыто сказал: будет суд, все станет ясным. Временами от этой неизвестности становилось столь тяжело, что Татьяна готова была пешком уйти в город, лишь бы узнать что и как.

К концу пятой недели она не выдержала. С вечера достала из чемодана платье, поставила на печь валенки, просушить в дорогу, приготовила деньги.

— Если, доченька, не вернусь завтра, — хлопоча по дому, говорила она Лене, — побудешь у тетки Ксении.

— Папа тоже с тобой приедет?

— Не знаю.

— Ты привези его, мам, — скорее посоветовала, чем попросила она.

Болезнь словно подменила девочку. Ограниченная в движениях, вынужденная часто лежать, Лена смирилась со своим незавидным положением, стала малоразговорчивой, замкнутой. Но болезнь сделала и другое. Теперь редко что ускользало от ее внимательного, пристального взгляда.

— Я буду сегодня спать с тобой? — спросила она, когда мать стала стелить постель.

— Да, конечно, — ответила Татьяна. Конечно, конечно, — вертелось в голове. Да, это же любимое слово следователя. Если бы суметь разыскать его! Он определенно поможет повидаться с Григорием, обещал ведь.

Эта мысль оказалась приятно назойливой и не покидала Татьяну до самого сна. Она даже представила себе, как придет в прокуратуру, найдет следователя, упросит его, если ей и придется специально остаться на ночь в городе: ведь Григорий в тюрьме, сразу все пропуска к нему не выхлопочешь. А следователь поможет, он такой добрый. И снова пришло на память: молодой, не женатый, а уже дела вершит. Она отчетливо вспомнила его светлый чубик, мягкие голубые глаза: такой человек не может остаться безучастным к ее горю.

Было еще темно, когда она вышла на край деревни, где останавливался рейсовый пассажирский автобус. Одинокó переступая с ноги на ногу, она думала и думала о встрече с Григорием. А что если следствие закончено, — конечно, он ни в чем не виноват! — и завтра они вернутся вместе. Вот было бы хорошо! Скоро весна, опять на поля, все нынешнее забудется за работой, как дурной сон.

Деревня просыпалась. С пригорка Татьяна видела, как загорались в избах огни, слышала редкий, приглушенный лай собак, заканчивающих ночные дежурства. По шоссе пронеслась первая машина, ослепив холодным светом фар. Прошла машина в другую сторону. Она не заметила, как вышла из деревни легковая машина председателя колхоза и испугалась, обернувшись на сигнал.

— Ты что тут? — донесся голос Афанасия Петровича.

Татьяна бросилась к дверке.

— Куда в такую рань намерилась?

— В город хочу...

— Выключи газ, — приказал Афанасий Петрович шоферу и вышел из машины. — Так, в город, стало быть. По

какому вопросу, примерно сказать, если не секретные намерения?

— Узнать только. Месяц уже как Гриша арестован.

— Сугубо понятный вариант. Однако по непродуманному плану действуешь, авторитетно утверждаю. Ничего тебе там не скажут, пушай ты и законная супруга доводишься мужу. Вертайся домой и жди меня. Вертайся, не размышляй. Формулировка в данном смысле самая точная, примерно сказать. Ты сейчас на калибровке кукурузы работаешь?

— На калибровке.

— Передай Пашке Бороздину, чтобы закруглялся с комментариями. Обещал вчера закончить калибровку, да только пышные фразы получаются вместо дела. Так и скажи: не допущу втирательства... Иди, иди, товарищ Высотина, не морозь организм понапрасну.

Она попросила довести хотя бы до райцентра, но Афанасий Петрович не стал слушать. Еще раз напомнил о Пашке Бороздине и умчался, замечая след снежной пылью.

Пожалуй, именно в эту минуту родилось в душе Татьяны недоверие к людям. Впервые в жизни. Пока это недоверие адресовалось только к Афанасию Петровичу. Больно уж настойчиво оберегал он ее от Григория. Неужели совершенно ничего не знал о причине ареста? Не может быть! Дважды Татьяна собиралась поехать, хлопотать свидание,— когда еще Григорий сидел в районной милиции,— оба раза председатель сумел отговорить ее. Сейчас с таким шумом захлопнул дверку и умчался, словно боялся, как бы она силой не села в его машину. И другое, вроде попутно, вспомнилось следом: Пелагея Степаповна явилась вчера в правление в новой пуховой шали, настоящей оренбургской. И вид такой, словно десять тысяч на облигации выиграла. Как может человек спокойно жить, когда муж в побеге находится!.. Что-то все не так, подумала она, дыша на мерзнувшие пальцы рук.

Уже рассвело, когда показался автобус. С хрипом и шумом пронесся он в сторону Таргая. Татьяна знала, что обратно, в город, автобус пойдет не раньше как через час, можно бы сбегать домой, отогреться. Но сегодня она способна была ждать сколь угодно, наперекор холоду, ветру, даже председателю колхоза. Стали мерзнуть ноги.

Пальто согревало плохо, и озноб переполз на спину, заставил вздрогнуть плечи. Еще две машины прошли на Таргай. Скоро показалась машина в сторону города. Татьяна подняла руку. Но шофер, видно, не заметил ее, или торопился, даже не посигналил, чтобы она отошла подальше от шоссе. Зато вторая машина, заваленная мешками, остановилась сразу. Из кабины вылезла рослая, крепкая женщина, одетая в полушубок и шапку.

— В район, баба, что ли? — спросила она грубоватым мужским голосом, поправляя шапку.

— В город хотела.

— Ого! Дальний путь. Возьмем, Вася, пассажирку? — обернулась к шоферу. — Застынет баба, чего доброго.

— Сади, Варвара Петровна.

— Ты бы хоть баллоны посмотрел, механик... Лезь, баба, на плацкартное место, довезем в полной сохранности.

Татьяна села посередине, между шофером и женщиной.

Тепло скоро расслабило тело, а запах бензина отчетливо вызвал воспоминание о первой встрече с Григорием. Пришел он тогда из армии, после действительной: стройный, красивый. Стал работать шофером в колхозе. Девки с ума сходили, сами липли, а он со всеми равно. Пошутит, посмеется — и опять один. Сонька Трухина смертельно по нему убивалась. Глаз не сводила. Худеть стала на виду. Сама начала письма писать, первая. «Утоплюсь, — говорит, — если он надсмеется над моей любовью. До помешательства дойду». Красивая она была, Сонька, только злая, как ведьма. Чуть что не по ней, — разнесет. Да ничего она не добилась. А у Татьяны все вышло с Григорием просто и необыкновенно. Сроду не замечал он ее. Если и посмотрит, бывало, то так, вроде на пустое место. Есть она или нет — одинаково. Татьяна не сердилась, как некоторые другие: куда ей до такого парня. Даже в мыслях не держала. Подумает изредка, да тут же и выбросит из головы. А потом вдруг и получилось. По весне было. Закрепили Григория женщин отвозить на поле и привозить обратно в деревню. Подгонит машину утром, выйдет из кабинки, покурит, пока все усядутся, — и в бригаду. Вечером то же самое. Кто вперед успеет, садится в кабину, на мягком сидении едет. Рядом с неприступным шофером. Села с ним однажды и Татьяна. Едет. Ведет машину Григорий, что-то про себя насвисты-

ва. Высвистал все, что было, обернулся, посмотрел на нее и даже притормозил. Говорит: «Откуда ты такая взялась?» — Глаза — будто первый раз увидел. Промолчала она. Он опять: «Что же я тебя не примечал?» Осердилась она, подумала: смеется. И ответила: «На других глаза проглядел, где тебе меня приметить!» — «Не Танька ли ты, бабки Гераспмихи?...» Заехали в деревню, ссадил он баб, а ей подождать велел, мол, что-то по секрету сказать надо. Завел мотор, да как газанет! Километров десять проскочил махом. Потом остановился. «Сердишься?» — спрашивает. «Пока не за что». — «А если я тебя поцелую?» — «Попробуй», — ответила она, — коли не стыдишься ходить царпаным». Сел он на траву и говорит: «Нет, не буду я тебя сегодня целовать. Оставлю на завтра». — «Сыт, что ли?» — «Дура ты, ох и дура, Танька! С самой демобилизации, хочешь знать, люблю тебя...»

Голос Варвары Петровны отодвинул прошлое:

— Родня в городе?

Потребовалось время, чтобы дать померкнуть воспоминаниям. Лишь тогда Татьяна откликнулась:

— Муж.

— Работает?

— Нет.

— В больнице?

— В тюрьме, — сказала и поразилась ответу: как просто вырвалось такое непривычное слово.

— В тюрьме? — переспросила Варвара Петровна. — Это худо, баба. За что посадили?

— Следственный еще. Шофером был.

— А-а-а! Авария, выходит. Понятно.

Татьяна промолчала. Заснеженные поля набегали на машину, расступались, безмолвно терялись позади в стилой поземке. Местами ветер перемел дорогу, перебросил через нее белые бугристые мостики. Варвара Петровна больше ни о чем не спрашивала, шофер все время молчал, и Татьяна опять стала думать о прошлом. Но прошлое тоже оказалось как бы переметено снегом, расплывалось вместе с голой гладью полей, становилось безликим, как степная ширь. Что думать, когда оно прошло и никогда не вернется. Душу травить.

Островком в безмолвном снежном просторе увиделась с бугра Ивановка, отмахиваясь от ветра голыми деревьями, с домами, по пояс тонущими в снегу. Здесь Татьяна

бывала много раз. Полгода с лишним пролежала Лена в детском туберкулезном санатории, мать хорошо помнила дорогу к ней.

— Куришь, баба?

— Я? — вздрогнула Татьяна от неожиданности. — Не-ет.

— Молодец. А я курю. Дурная привычка, понимаю, да никак не могу отвязаться. Мужик на фронт ушел, — стала рассказывать, доставая папиросы, — я на завод, на его место. Слесарём. Там и начала эту заразу потягивать. В шутку сначала, потом всерьёз.

— Ругался, наверно, он?

— Кто?

— Ну, мужик ваш. Когда вернулся.

Барвара зажгла спичку, прикурила, выдохнула на ветровое стекло дым и, словно не желая говорить правду, сухо ответила:

— Нет. Не ругался.

— А мой бы не стерпел.

— Твой? — снова к ветровому стеклу поплыл дым, закружился. — Может, твой бы и ругался... Твой живой, а моего немцы убили.

Машина подпрыгнула на выбоине дороги, охнула, жалуюсь на боль. Толчок качнул Татьяну на шофера, она увидела на баранке его руку, большую, темную, так похожую на руку Григория. Медленно повела глазами по руке, к плечу в полушубке, украдкой, как на что-то запретное, взглянула на лицо шофера, первый раз за дорогу. И успокоенно вздохнула: другой. Правда, похожий на Григория ростом, загаром лица, молчаливостью, силой, но другой.

Снова безразлично тянулась дорога, как чужая жизнь, однообразная от начала до конца, с подъемами и спусками, со снежными переметами, утомительная, интересная лишь загадочностью своего конца.

Показался город: несколько заводских труб, справа и слева, посиневших от холода, прикрытых рваными дымными шалами. Нагромождение улиц, домов.

— Куда тебе, баба?

— Хоть куда, — ответила Татьяна. — Теперь я уже доберусь.

— Чего добираться, подвезем.

— Зачем же! У вас дела, а я...

— Давай, Вася, к тюрьме,— приказала Варвара.

— Нет, мне сперва к прокурору.

— Так и говори. На площадь, Вася. Свернешь по Садовой улице. У обувного магазина остановишься. Там квартал до прокуратуры.

Татьяна полезла в карман, достала деньги.

— Ты что? — хмуро сказала Варвара.— Убери. Убери, говорю. Пригодятся.— И добродушнее: — Спать-то есть где? Может, запоздаешь или на завтра останешься. Запиши адрес.

Татьяна ответила, что в городе покойной Гришиной матери сестра живет, домик свой. Примет без разговора.

— Смотри сама,— кивнула Варвара.

Когда машина остановилась у магазина обуви, она крепко пожала руку:

— Ни пуха тебе, баба, ни пера. Только не теряйся. В мире, как в море, утонуть недолго. Держись. Звать-то как тебя?

— Татьяна.

— Ничего, Танюха, не вешай нос. Обойдется.

Протянул руку шофер, оставив на ее ладони мазутистый след пальцев.

Глава вторая

1

В конце марта наступила оттепель. Талые ветры будоражили сонные еще сады, путались в камышовых крышах каменцев. Снег таял на глазах, покрываясь серой окалиной выступающей пыли. Степные балки взбухали от вешних вод. Проталины теплились паром.

Весна принесла долгожданную новость: Кирилл Валуев согласился отдать третье поле под кукурузу. Два года добивалась Татьяна решения, уговаривала членов правления,— да где там,— чтобы они пошли против Валуева. Знатный бригадир, к тому же близкий дружок председателя — такой часто живет по принципу: куда хочу, туда и поворочу. Двести гектаров лучшей поливной земли держал он под травами. Теперь травопольщикам

крышка пришла. Пятьдесят гектаров передавалось звену Высотиной, остальные шли под зерновые.

Все это махом выложила Татьяна Мария Звягинцева. И предложила:

— Давай съездим на поле?

Теплая светлая радость колыхнулась в сердце: сев скоро!.. Но радость тут же померкла. Будь дома Григорий — все было бы по-другому. Как раньше: просто и привычно. Собрал бы председатель бригадиров и звеньевых, сказал: «Наступает исторический момент в разрезе полеводства...» Или не так. Но о том же.

И другое пришло, вроде бы само собой. То, что случилось во время поездки в город. Не взял ее тогда Афанасий Петрович, укатил. Сказал, в район едет. Добралась с попутной машиной Татьяна до города, разыскала прокуратуру, глядь, а председатель там. Стоит в приемной к прокурору, с каким-то лысым разговаривает. Спиной к Татьяне. Потом обернулся и сделал вид, что не заметил ее. А ведь узнал! Непонятное в этом что-то.

— Так ты и не повидала тогда Григория? — спросила Мария, видя задумчивость Татьяны.

— Нет. Зря съездила. К последственным нельзя, сказали.

— Теперь уже недолго ждать. Будет суд, все решится.

— Все решится,— повторила Татьяна.— Скорей бы.

— Как же наш Афанасий Петрович без своего дружка обходится,— проговорила Мария.

— Без которого?

— Да про Кузю я, про завхоза. Ни одной субботы не разлучались. Председатель, Кузьма да Кирилл Валуев — троица колхозная. В рамочку вставить и вывесить.

— Пусть себе гуляют.

Татьяна и прежде не любила судачить о людях. Теперь ей совсем было безразлично, как живет председатель без дружка. Дай бог в своих делах разобраться.

Вечером прибежала уборщица правления.

— Афанасий Петрович тебя требует, Танюшка! Сказал, рысью к нему. Весь в бумагах, никого не подпускает.

Председатель сидел один. На столе кучами лежали папки. Некоторые из них были открыты, в других виднелись закладки — обрывки газет. Против обычного, он

поднялся, вышел из-за стола, сел на стул, потер затылок. Чувствовалось, что разговор не простой и Афанасий Петрович не знает, как к нему приступить.

— Что там на полях? — начал он, глядя в сторону.

— Снег тает, — настороженно ответила Татьяна, чуя, что речь о полях как бы присказка, а главная сказка пойдет о другом.

— Тает, — согласился Афанасий Петрович. — К весне дело наклеывается. Исторический принцип. А дома?

— Что дома? Все как есть.

— Примерно сказать, в полном соответствии.

— В полном.

— Планомёрное течение жизни, ежели сугубо выражаться.

Он опять потер затылок, потрогал ремень на гимнастерке. Татьяна не выдержала:

— Зачем позвали-то?

Афанасий Петрович уловил нервозность в ее голосе, попытался пошутить:

— Не на свидание ли торопишься? Без мужика дважды два сойти с семейной параллели. Бытие, как говорится...

— Господи! — перебила его Татьяна. — Как вы умеете душу выматывать, Афанасий Петрович. Где только научились такой непонятности!

Он взглянул на нее, кивнул, словно и соглашаясь с ней или думая, что много ничего другого не ожидал от нее. Но заговорил прямо:

— Следствие закончено, товарищ Высотина. После завтра состоится народный суд. Формально я обязан поставить тебя в известность. От волнений воздержись, заявляю авторитетно. Дело покажет, куда приведут факты. По теории, все окончится доскональным решением.

Афанасий Петрович еще произнес несколько замысловатых фраз, напоминающих следы танцоров-конькобежцев на ледяном поле. Уловилось одно, что он возьмет Татьяну с собою. В город они выедут завтра.

Вечером она не находила себе места. Вдруг становилось радостно, и Татьяна бросалась к зеркалу, оправляла кофту, словно вот-вот должен войти Григорий и ей будет неудобно встретить его неприбранной. Ведь они так долго не виделись, месяц и двадцать один день! Но

радость меркла. Лицо в зеркале казалось странно чужим, Татьяна отходила в сторону, садилась на табуретку. Появлялась тяжесть. Она давила, сгибалась, и руки безвольно опускались.

2

Дом Дарьи Ивановны, тетки Григория по матери, похоже, строился специально с расчетом на человеческий покой. Невысокий, на две комнаты, за десять лет со времени постройки дом еще больше присел, теснее сросся с землей. На улицу глядело единственное окно из зала, и если закрыть его, то в остальные окна виден был двор. Тоже не большой, но вполне достаточный, чтобы кусок земли занять под цветы, а на остальной площади разбить огородик — десяток грядок с огурцами, помидорами, луком. Огороженный забором в рост человека, двор выглядел уютно, как бы напоминая маленькую крепость в разливе города. Свой колодец, пять своих яблонь в конце двора ровной шеренгой вдоль забора. Свой бог в зале, на почерневшей от времени доске, молчаливо приотпавшийся в углу под потолком. Калитка с железным засовом. Из живности — кошка, тигристой раскраски. И тишина. Переступая порог калитки, Татьяна постоянно как бы осязала эту устоявшуюся специфическую тишину, не нарочитую, а порожденную самим укладом жизни. Тишину создал еще муж Дарьи Ивановны, спокойный, рассудительный человек, всю жизнь проработавший машинистом на паровозе. По наследству покой и тишину поддерживал сын, напоминавший характером отца. Теперь их хранила сама Дарья Ивановна: муж умер, сын ушел в армию, она осталась единой и полноправной хозяйкой. Даже быстрый рост города оказался не в силах изменить что-либо на этой окраине. Новые кварталы многоэтажных домов нашли себе место на бывшем пустыре, несколько фабрик и крупный текстильный комбинат расположились за железной дорогой. И улица была названа Заводской вроде по ошибке.

Дарья Ивановна болела. Рослая, дебелая, лежала она на кровати, наблюдая через дверь за каждым движением Татьяны.

— Муку возьми из большой банки. Заведи половинку на половинку: два стакана молока, два воды.

— Не много ли будет, тетка Дарья?

— Сам не съест, других угостит. Тюрьма не курорт какой... Соль в горшке, помельче там, скорее разойдется. К какому часу тебе идти?

— В десять уже там быть. Может, первым судить станут.

— На рассвете испечешь, успеешь. Зря ты Ленку не привезла, пусть бы у меня побыла.

— Дорога-то какая... не рядом. И машина председателя.

— Не просидела бы до дыр машину... Поменьше ложн соли, разойдется — попробуешь. Как придешь в суд, сразу и отдавай передачу. Чтобы успел поесть свеженького.

Татьяна кивнула.

— Не ко времени я свалилась, пошла бы с тобой. Коль сразу отпустят, так не вздумайте тут же домой. Сперва ко мне приведи Гришу. Не забудь. А то осержусь навеки. Так и скажи: тетка Дарья приказала зайти. Без разговоров. Слышишь меня?

— Слышу.

— Поддай-ка карты, кину еще разок.

Татьяна взяла со стола потертую, засаленную колоду карт. Неужели они могут что-то предсказать наперед? Кое-кто из баб говорил ей раньше про ворожеек: одной, будто, правду сказали, другую обманули. Она подала карты. Остановилась около кровати. Дарья Ивановна поднялась, села, не вынимая ног из-под байкового одеяла. Без кофты, в белой рубашке, со слишком большим выкатом спереди, с редкими седыми волосами, захваченными двумя жиденькими косицами на затылке, она и впрямь была похожа на ворожку. Карты слипались, пальцы у Дарьи Ивановны гнулись плохо, и ждать пришлось долго, пока она разложила их, собрала по паре, снова разложила и сказала:

— В казенном доме его голова, перед начальником. А дальше не пойму, вроде, больная постель предстонт, вроде, свидание с какой-то трефовой дамой... Ни с кем он у тебя не... может, завел какую, а? Валет вот мельтешит под ногами, что пес непривязанный. А король казенный ушел, сатана, оставил его душу. Пусть уходит, туда ему и дорога. Девятку-то откуда принесло?

— Она у тебя из рук выпала, тетка Дарья.

— Из рук?.. А к месту выпала, к месту. Вот с нею и пиковая девятка уйдет, весь казенный разговор. Если бы не семерка...

— Что она обозначает?

— Черт ее знает! — Посидела молча, вздохнула, собрала карты, сунула под подушку.

Татьяна ждала. Дарья Ивановна легла, натянула одеяло до подбородка, сказала, словно сама себе:

— Невинного не осудят, ворожить нечего. А если вина есть...

Татьяна вышла в кухню. Подумала: зря не взяла с собою Лену. Можно бы вдвоем пойти к отцу. И тут же решила: хорошо, что не взяла, зачем девочку по судам таскать.

— Маслица в тесто подлей, ложки четыре. Постного,— сказала Дарья Ивановна.— В столе внизу, в стеклянной банке.

Банка оказалась пустой.

— Куда же я его все вышпаркала,— проговорила Дарья Ивановна.— Раз нет, стало быть, нет. Тесто постоит, сбегай, купи. Магазин на углу, около поворота к железной дороге. Открыт еще, сбегай-ка. Сахару прихвати килограммчик, больше не надо. Уедешь, опять одна чаевничать буду.

Вечерело. Землю и небо в конце улицы разрезала алая полоса заката. Незнакомая женщина на тротуаре остановилась, пристально оглядела Татьяну. Запомнилось, была она в платке, повязанном узлом под подбородком, как носят старухи. А лицо молодое, красивое. Несколько малышей безуспешно пытались покататься на санках по узенькой кромке серого снега вдоль дороги. Полозья санок тонули в снежной каше, задевали о гравий, не двигались с места.

Выходя из магазина, Татьяна приостановилась у входа. По улице неслась легковая машина, вздымая по сторонам фонтаны грязной воды. На углу машина резко затормозила. Татьяна собралась было идти, но ноги вдруг перестали ее слушаться, словно одеревенели. Из машины вышел человек, удивительно похожий на колхозного завхоза дядю Кузьму. Правда, был он в коротком пальто и мятой шляпе. Человек что-то сказал шоферу, оставил дверку машины приоткрытой и направился к магазину. Татьяне страшно захотелось узнать, что это

за двойник дяди Кузи; она стала смотреть. Человек по-
дошел к прилавку, вынул бумажник, достал деньги, про-
тянул продавцу. Тот подал ему две поллитровые бутылки
водки. Стоял этот человек так, что рассмотреть его лицо
было невозможно. Но вот человек повернулся, прошел
вправо, остановился у витрины. Разглядывая продукты,
он вынул платок и страшно знакомым движением — от
носа ко лбу — вытер, видать, потное лицо. Шляпа при-
поднялась, и сомнения Татьяны развеялись: это был
Кузьма Мионович.

Она дождалась, когда тот взял колбасу, печенье, еще
что-то и как только завхоз направился к выходу, броси-
лась ему навстречу.

— Дядя Кузя!

Он резко надвинул шляпу на глаза, хотел пройти ми-
мо, остаться незамеченным, но Татьяна схватила за рукав
пальто:

— Дядя Кузя! Это я... я... не признали, что ли?

— Ты откуда? Чего здесь? — оглянувшись по сторо-
нам, спросил он. — Некогда мне, тороплюсь.

— Я же... суд завтра, вот...

— И что? При чем моя личность? Иди, Татьяна, иди,
милаша. Нет у меня времени, — часто моргая, вполголоса
торопил он.

— Как же это... разговоры-то, будто вы в этих са-
мых... в побегах или как их.

— Какие разговоры? Ты что!.. Ничего не знаю... иди...
иди...

— Гришу-то судить будут! — с болью выкрикнула
она, словно с уходом Кузьмы исчезала последняя надеж-
да на его оправдание. — Вы Гришу хорошо знаете, может,
слово за него сказали бы. Осудят — и все, что я тогда
буду делать?

Донесся сигнал машины. Татьяна вздрогнула. В стек-
ле витрины неясно отразилось ее отчаяние.

— Значит, все вы...

— Что ты прицепилась! Отпусти рукав.

— Суд же завтра!..

— Пусти! — он резко дернул плечом, банка с маслом
выпала из руки Татьяны и со звоном разбилась о тро-
туар.

— Слушается уголовное дело по обвинению Григория Павловича Высотина, двадцати девяти лет, ранее не судимого...

Голос старичка судьи — ровный, монотонный, — звучал как надгробная речь слишком дальнего родственника. Перечислив данные биографии, судья задал несколько вопросов — нет ли отводов против состава суда, предупредил, что за ложные показания предусматривается наказание по статье такой-то, и так же спокойно перешел к сути обвинения. В окна высокого и просторного зала судебных заседаний падали лучи яркого весеннего солнца. Они мешали слушать, отвлекали, и Татьяна повернула голову вполоборота, чтобы не пропустить ничего, о чем говорил судья.

—...вывозя колхозный хлеб на городскую мельницу для помола, обвиняемый Высотин завез шесть машин э-э-э... на склад артели «Мирный труд». Общее количество похищенного в колхозе зерна составляет десять тонн и восемьсот сорок килограммов...

— Что делают, сволочи! — донесся до Татьяны голос с заднего ряда.

— Чш-ш-ш!

— Судить надо за это!

— Вот и судят.

— А с виду не подумаешь...

Голоса умолкли.

—...Зерно от Высотина принял идущий по настоящему делу в качестве обвиняемого экспедитор артели «Мирный труд» Леонид Прохорович Метелкин. Следствием установлено, что обвиняемый Метелкин передал обвиняемому Высотину деньги: первый раз в сумме двести рублей и второй раз — пятьдесят. Всего двести пятьдесят рублей. Из незаконно приобретенного зерна обвиняемый э-э-э... Метелкин реализовал неизвестным лицам две тонны и четыреста килограммов...

Слушая, Татьяна глядела то на судью, то на стриженный затылок Григория. Она никак не могла понять, зачем была завезена пшеница в какую-то артель, почему Григорий ни слова не сказал ей об этом.

Прокурор, — приятный мужчина с глянцевым лицом, — что-то записывал. Защитник сидел, подперев рукою уз-

кую голову с непомерно огромным нагромождением седеющих волос. Сбоку от обвиняемых равнодушно, словно присутствуя случайно, от нечего делать, стояли два милиционера. По залу полз тихий, приглушенный говор. Следующим к рассмотрению намечалось дело о перепродаже каких-то ценных бумаг, и основная часть публики, пришедшая именно по второму делу, плохо слушала судью.

— Обвиняемый по настоящему делу гражданин Высотин на следствии виновным себя не признал. Обвиняемый э-э-э... гражданин Метелкин полностью признал себя виновным.

Дочитав, судья положил папку, пошептался с народными заседателями, спросил у прокурора и защитника, будут ли вопросы, и предоставил слово Высотину.

Да, Григорий, как и прежде, не признавал себя виновным. Он говорил тихо, глядя только на судью. Действительно, из четырнадцати машин пшеницы на мельницу завезено восемь, а шесть в эту самую артель. Так распорядился завхоз. Его, Григория, дело — крутить баранку. Понятно, он интересовался, почему часть зерна возит в артель. Завхоз сказал, это какой-то долг, есть указание председателя колхоза. Потому он никак за завхоза не может отвечать.

— Но вы брали деньги у подсудимого Метелкина? — спросил судья.

Да, он брал, чтобы передать их завхозу. Метелкин так и говорил: «Отдай грóши своему шефу».

— Подсудимый Метелкин! Вы говорили такие слова?

Со скамьи поднялся грузный человек, похожий на большую жирную моль. Щурясь от солнца, он согласно качнул головой.

— Вам известно, что обвиняемый Высотин отдал их позднее э-э... завхозу колхоза?

Метелкину это не было известно.

— Чем вы можете доказать, обвиняемый Высотин, что вы отдали эти деньги э-э-э... — судья заглянул в бумажку: — завхозу Кротову?

Григорий пожал плечами. Вероятно, завхоз не откажется, что брал у него деньги.

— Но Кротов находится в побеге, мы не имеем возможности вызвать его на судебное заседание, — ответил судья.

Это заявление прозвучало громче всех фраз, произнесенных им с начала суда. Во всяком разе, так показалось Татьяне. Если промолчать, значит, будут думать, что Кузьма Миронович сбежал. А он в городе! Она вчера только видела его, говорила с ним!.. И, желая внести ясность, Татьяна выкрикнула:

— Не сбежал он! Здесь, в городе!

Выкрикнула она сбивчиво, не совсем понятно, словно во рту лежал комок ваты. В зале зашептались, кто-то громко хихикнул. Судья постучал по столу карандашом и когда установилась тишина, предупредил, что за нарушение порядка вынужден будет удалять из зала заседаний.

Теперь слова судьи и обвиняемых доносились до Татьяны как стук кирпичей, разгружаемых с машины, — с неясным звоном, отчетливо и в то же время глухо. Она как бы стояла у этой машины и по мере разгрузки сортировала кирпичи: в одну сторону идущие в защиту Григория, в другую все то, что против него. Несколько вопросов задал прокурор, следом защитник. Что-то уточнил нарзаседатель. Снова говорил судья. Куча словесных кирпичей росла и росла. Татьяна уже не успевала сортировать их. Ее стал охватывать страх, что судья запутает Григория вопросами и определенно осудит за чужие преступления. От яркого солнца и духоты у нее разболелась голова. Потеряв счет вопросам и ответам, контроль над их содержанием, она молча уставилась на судью, полностью доверившись ему.

Скоро опрос был окончен. Судья стал вызывать свидетелей. В зал заседаний по одному входили совершенно не знакомые Татьяне люди. Они говорили только о втором обвиняемом, о Метелкине. Имя Григория никто не упоминал. В числе последних вошел Афанасий Петрович. Он сожалел, что приходится выступать по делу своего сельчанина, но факт остается фактом. И Афанасий Петрович начал было пространно изъясняться о приближающейся посевной, о недостатке запасных частей к машинам. Судья остановил его и задал вопрос:

— Свидетель Кривошейн, вы давали указание о завозе в артель «Мирный труд» какого-либо количества зерна?

Афанасий Петрович вытянул руки по швам и единым махом отчеканил:

— При существующем демократическом принципе, единственно приемлемом для текущей обстановки, на базе коллективного руководства, все дела по вопросам того или иного момента деятельности разрешаются сугубо составом членов правления при единогласном голосовании.

Фраза проплыла перед судьей мутным облаком, словно Афанасий Петрович выдохнул значительную массу табачного дыма. Прокурор улыбнулся, сверкнув глянец щек. Защитник вскинул голову, насторожился, готовясь к словесному прыжку.

— Повторяю вопрос,— сказал судья.— Лично вы, либо с ведома правления, давали указание завозить зерно куда-то кроме мельницы?

— При данной ситуации, примерно сказать, как таковые, указания не могли быть направлены в неприемлемом назначении.

Левый глаз у судьи задергался. Голова защитника вытянулась вперед, как у гончей, выследившей добычу.

Шепот за спиной Татьяны на какое-то время стал отчетливым, похожим на стук дождя, бьющего по листьям деревьев:

— Неужели, на пятьдесят тысяч?

— Вот увидите, Серафим Потапович!

— Случайно, не в старых деньгах?

— В новом масштабе!.. А хранил он облигации в бидонах, знаете, что молоко возят...

—... мог так неосторожно засыпаться?

— Теща... сволочнейшая женщ...

Капли стали реже, приглушеннее:

—... скотина...

— Хуже.

— Тш-ш-ш...

Судье удалось втолковать Афанасию Петровичу, что от него требуют всего лишь «да» или «нет», что пространственные разговоры только затрудняют ведение дела. И Афанасий Петрович ответил: нет. Он не давал указаний завозить зерно куда-либо, кроме мельницы.

— Подсудимый Высотин! Почему вы не сказали председателю, что возите зерно... э-э-э... в неизвестную вам артель?

Григорий ответил, что это не приходило ему в голову.

Ответ рассердил Татьяну. Суд же идет! — а он стоит, как телок, мычит невразумительное. Сказал бы, что сутками был в дороге, уставал, недосыпал; какое ему еще с председателем толковать!.. А может... — ее даже бросило в жар от мысли: — может, он в самом деле знал, замешан вместе с завхозом?

И при всей любви к мужу, она почувствовала, как колыхнулась волна неприязни к нему. Неужели Григорий соучастник преступления? Неужели они договорились с завхозом, мол, один скроется, а другой скажет: ничего не знаю, — и все пройдет?

Опрос свидетелей окончился. Судья предоставил слово прокурору. Как бы подтверждая догадку Татьяны, прокурор начал с того, что дело совершенно ясное и подсудимый ничего не может сказать в свое оправдание. Стройно, с уверенностью врача, превосходно изучившего историю болезни, он доказал полную причастность Григория к хищению зерна. Человек возил груз явно не по назначению и молчал. Человек получал от Метелкина деньги, пусть для передачи другому лицу, разве это не должно было вызвать подозрение?.. И Татьяна соглашалась с доводами прокурора. Затем говорил защитник. Подсудимый Высотин материально не ответственное лицо, потому он отнесся совершенно безразлично к действиям своего непосредственного руководителя — завхоза. Ведь мог же колхоз действительно какую-то часть продуктов продать артели? Мог. Подсудимый Метелкин передавал ему для завхоза деньги. И что же! Разве мы иногда не передаем долг, либо займы, либо по иным причинам деньги второму лицу через третье лицо? Суд не может пройти также и мимо главного факта: завхоз Кротов до сих пор не задержан, трудно сказать, как бы обернулось дело, будь он сегодня на скамье подсудимых. Защита не находит причин признать обвиняемого Высотина виновным в преступлении, предусмотренном статьей такой-то уголовного кодекса. Защита обращает внимание суда на то, что в прошлом гражданин Высотин под следствием не был, представленная характеристика подтверждает честную и безупречную работу. Разумеется, защита не отрицает ряда аргументов, приведенных государственным обвинителем не в пользу подсудимого. Некоторая халатность при исполнении служебных обязанностей, излишняя доверчивость к действиям завхоза и

так далее. Но это уже скорее всего может быть квалифицировано не как преступление, либо соучастие в преступлении, а как...

Нагромождение седеющих волос на голове защитника вздрагивало, клонилось в сторону судейского стола, пыталось сползать на глаза, пока сухая рука с растопыренными пальцами не приводила все в порядок. Итак, по мнению другой стороны, подсудимый Высотин не был виновен. И Татьяна полностью соглашалась с защитником. Она бросила укоризненный взгляд на прокурора: как он мог убедить ее, что Григорий прямой соучастник преступления?

Суд ушел на совещание. Громыхая откидными сиденьями диванов, публика потянулась в коридор. К Татьяне подошел Афанасий Петрович. Делая скорбное лицо, он заколыхался около нее:

— Совершенно сложнейшее обстоятельство, товарищ Высотина. Кто бы мог предугадать стечение непредвиденностей! Примерно сказать, из ряда вон...

Слова Афанасия Петровича звучали тускло. Татьяна, собственно, и не слушала. Она смотрела, как Григория и Метелкина дежурные милиционеры увели в комнату, смежную с той, куда ушел на совещание судья и заседатели.

— Предсказать исход — вариант неразрешимый. По теории невероятности, примерно сказать...

— По теории вероятности, — поправил его молодой парень.

— Что? — колыхнулся в его сторону Афанасий Петрович. — Не спорю, возможно. Всего не упомнишь...

Татьяна прошла через зал, постучала в дверь. Ей открыл защитник. Видимо, он вошел туда первым, до того как милиционеры увели Григория. Увидев ее, он кивнул:

— Сейчас согласуем, подождите минутку.

Утром ей не разрешили поговорить с мужем, только приняли передачу. Могли и теперь отказать. Она стояла готовая ко всему: просить и спорить, повернуться и сесть на диван, молча дожидаясь конца суда. И когда открылась дверь, позвали ее, Татьяна вошла усталая, молча опустила на стул.

Григорий изменился за два месяца, это сразу бросилось в глаза. Стриженная под машинку голова казалась

непомерно большой, загар с лица сошел, и кожа — желтая, мятая, — была как у человека долго купавшегося в реке. Он хотел было протянуть ей навстречу руку, но остановился, косо взглянул на дежурного.

— Здравствуй!.. Что же ты... — с болью проговорила Татьяна, и глаза застлали неудержимые слезы.

— Как дочь? — торопливо спросил он. — Не надо, держи себя...

— Что же ты с ним связался... с Кузьмой...

— Ладно, потом расскажу. Лену дома оставила?

— Дома. Я вчера приехала. У тетки Дарьи ночевала.

— Утри слезы... вот. Написать тебе хотел... Слушай, если что... ну, может, суд меня... в общем смотри, переезжай к тетке Дарье. Спокойнее будет. И Лене тоже.

Метелкин сидел в углу, занимая грузным телом почти два стула. Тяжело дыша, потный, вблизи он походил на старую птицу с выщипанными перьями, которая теперь уже никогда не сможет подняться в воздух.

— Так как же это случилось? Неужели ты...

— Так и случилось, — тихо ответил Григорий. — Поверил поначалу, потом посомневался, сказать хотел Афанасию Петровичу, да поздно, не успел... Шаль он тебе отдал?

— Кто?

— Кузьма Миронович.

— Не-ет. Какую шаль?

— Купил я тебе... пуховую, серую. В тот день, как ночью арестовали.

— Нет.

— Паразит! Ну, найдут его, встретимся. Припомню. Она наклонилась, зашептала:

— Вчера видела его, в магазине был. Смотрю, вроде он. Потом в машине укатил.

— Не ошиблась? — насторожился Григорий.

— Что ты! Говорила с ним. Будто и не в побегах. В шляпе...

— Молчи!.. Черт с ним. Поймают. Ты бы мне телогрейку привезла, в полушубке жарко. Не сообразила.

Метелкин в углу задвигался, хрипло спросил:

— Где же вода? Умереть можно.

— Сейчас принесут, — ответил милиционер.

Григорий вздохнул. Так хотелось повидать жену, по-

говорить, а встретились — и говорить не о чем. Вошел второй милиционер, принес графин с водой. Метелкин поднялся, протянул трясущуюся руку. Пил он, как автомат, опрокидывая в рот стакан за стаканом.

— Хватит, пожалуй, — сказал милиционер. — После наговоритесь. Скоро уже и приговор будет.

Солнце успело обогнуть угол здания народного суда, когда Татьяна вышла во двор. Яркие блики барахтались в лужах талой воды. На голых ветвях сурового карагача надрывно спорила стая воробьев. Трепет ликующей весны вызывал умиление, а внутри саднило, как от старой, долго не заживающей раны. Она остановилась у стены, сжимая ручку пустой сумки, в которой приносила мужу передачу. Дождалась, когда дежурные милиционеры вывели Григория и Метелкина. Почти у самых дверей их поглотила глухая синяя машина с красной полосой вдоль кузова.

Дорога к дому Дарьи Ивановны показалась Татьяне длиной в несколько месяцев. Автобус кряхтел на поворотах, сердился, пробовал показать прыть, но тут же сбавлял бег перед табличками на остановках, как большое дрессированное животное перед кнутом укротителя. Разноголосый говор — о погоде и предстоящем футбольном матче, запуске спутника и ценах на свежие овощи, — плавал по чреву машины мусором в половодье.

«Слушается уголовное дело по обвинению Григория Павловича Высотина...» Кто это сказал? Рыжая женщина в серой шляпке, с ярко покрашенным куриным пером? Или ее спутница, коротышка со вздернутым носиком?..

— Надоело уже, — проговорила коротышка певуче. — Только и слышишь: Высокин да Высокин! Неужели он сильнее всех?

— Центр нападения, дорогуша. Бьет — как бог! Прошлый год...

— ...мозоль была, я ее срезал — и вот...

— ...мне сходить в Черемушках, простите...

— ...дуплом, сразу двух...

— ...пять копеек сдачи получите, товарищ!..

На площади перед магазином автобус сделал круг, поворчал, стал у таблички. Говор вместе с людьми потек в дверку, рассеялся в улице. Стрелки на больших электрических часах у остановки столкнулись и задремали

на цифре «3». Они словно напомнили Татьяне о приговоре суда: три года лишения свободы. «Как же мне жить одной столько лет? — в который раз повторила она. — Целый век, если разделить годы на дни и ночи...»

4

Ильяс выскочил из мастерских навстречу — веселый, сияющий.

— Здравствуйте, Татьяна Ефимовна! Думал, не дождусь. Вот это вчера было собрание: пожар, извержение вулкана! До двух часов ночи. Афанасий Петрович к концу охрип, только руками махал. Все переделили! Вместо овса горох будет, опытный участок под кормовую свеклу отвели и вообще... А меня к вам, в новую бригаду. Принимайте, Татьяна Ефимовна, не подведу.

— К нам?

— Личное согласие председателя правления! Да не только согласие, еще почище! Пойдемте, покажу.

Он зашагал прямо по лужам к крытому навесу в глубине двора. Проворно распахнул дверь и, улыбаясь, показал рукой: проходите, пожалуйста! Под навесом стоял новенький трактор «ДТ-54».

— Вчера пригнал. Хотите, заведу?

— Зачем же.

— Песня, а не работа!

Темные жесткие волосы его торчали из-под козырька кепки. Руки без дела не находили места.

— Восемь прицепных механизмов берет. Хоть плуг, или борону, культиватор, сеялку... — Подошел ближе, остановился, понимающе проговорил: — Вы не горюйте, Татьяна Ефимовна, все будет хорошо. Тяжело, конечно, известное дело, только ничего не изменишь. Может, областной суд перерешит по-другому.

— Да я ничего, Ильяс, спасибо, — ответила она. — Что поделаешь.

— Мы вам поможем, Татьяна Ефимовна, если что потребуется. Вы-то ни при чем, ясно. Муж сам по себе, а вы сами.

Ей на минуту стало душно, словно Ильяс подсмотрел ее мысли. Татьяна догадывалась, что в колхозе уже знают о решении суда. За пять дней, что пробыла она

в городе, Афанасий Петрович определенно рассказал кому-то все подробности. Тот другому, третьему.

И ждала, как люди встретят ее.

Афанасия Петровича она не застала в правлении. Бухгалтер сказал, что председатель в районе и вряд ли к ночи вернется.

— Что же, дочка, от кукурузы решила отказаться? На овощах тебе не будет лучше,— подслеповато глядя, спросил он.

— Я не отказывалась,— недоуменно ответила Татьяна.

— Как же так? Говорят, отказалась. На правлении должно.

— Когда это?

— А третьего дня заседали.

Новость ошарашила. Она выпросила все, о чем говорили на правлении, пообещав не выдавать бухгалтера. Вместо звена будет бригада, это она раньше слышала. Бригадир пока не подобран. А ее в овощную бригаду. Никем, рядовой огородницей. Почему, в чем она провинилась перед колхозом?

Вечером к Татьяне зашла Мария Звягинцева. Начала исподволь рассказывать о заседании правления. Татьяна перебила ее, сказала, что все знает. Мария возмущенно выложила подробности, которые, возможно, не были известны бухгалтеру.

— Я бы на твоём месте, Танька, сроду не согласилась! Таковую землю нам прирезали, красота одна.

Татьяна не собиралась к овощеводам.

Попасть к председателю удалось лишь вечером следующего дня. Он встретил ее отягощенный бременем забот, меланхолически задумчивый от понимания стоящих перед ним задач.

— Не пойду я к овощеводам,— ворвавшись в просвет между заботами Афанасия Петровича, сказала она.

— Я предвидел,— устало ответил он,— что нам не миновать очной беседы.

— Как хотите, а я не пойду.

— Не лезьте в бутылку, товарищ Высотинна. Я желаю вам добра, примерно сказать. При вашей семейной ситуации...

— Все равно вы меня не уговорите!

— И не надо! Правление уже приняло решение, я ис-

поднитель воли коллегиального большинства. Бригадиром кукурузоводов будет Валув, опытный организатор производства.

— Ваш любимый травопольщик!

— Ах, товарищ Высотина! Смотрите в корень. Вчера травопольщиков хвалили, сегодня ругают. Завтра, примерно сказать, будем опять их разыскивать, ручку им жать. Наше бурное время — эпоха поисков. Все течет и переменяется в своих исторических фазах.

Она терпеливо выслушала председателя и неожиданно для себя спросила:

— Я могу остаться в бригаде Валувца?

Это пришло ей в голову в последний момент, когда речь председателя, подобно ручью, разыскивающему дорогу между камней, еще петляла вокруг основного разговора. Столько лет она выращивала кукурузу — и вдруг уйти!

— Нет, — на этот раз слишком коротко ответил Афанасий Петрович. — На одном поле два хозяина неприемлемы.

— Хозяином будет Валув.

— А вы?

— Просто стану работать. Хоть кем.

— Замечать недостатки, реагировать и создавать трения?

— Зачем?

— Так оно по идее предсказывается.

— Это вам только так предсказывается, — готовая вспылить, не удержалась Татьяна. — Запомните, я буду жаловаться. Поеду в райком.

Афанасий Петрович откинулся на спинку стула, согласно кивнул головой, словно давно ожидал именно эти слова. Ожидал, чтобы покончить с разговором одним махом, как останавливают на пороге запоздалого покупателя магазина, перевернув перед его лицом табличку, на которой значится: «закрыто».

— В райкоме вопрос согласован.

Он видел, что слова произвели впечатление и поясняяще добавил:

— Товарищ Валув член партии.

Лучше бы председатель закричал, оскорбил ее, чем этот обезоруживающий спокойный тон с легким оттенком внутренней силы. Татьяна не нашла сразу что отве-

тить. Она видела, как Афанасий Петрович встал, словно не замечая ее, прошел к вешалке, надел фуражку.

Намерение о переезде в город пришло неожиданно.

— Расскажи мне, где папа, — прижимаясь к матери в постели, попросила Лена. — Опять забудешь.

— В городе он. Далеко отсюда.

— Большой этот город?

— Большой, — вздохнула Татьяна. — Ты же помнишь, прошлый год мы туда ездили к тетке Дарье.

— Это тот самый город?

— Да.

— Давай поедem туда жить.

Татьяна промолчала. Вспомнила совет Григория: «Смотри, — говорил он, — переезжай к тетке Дарье, если что. Спокойнее будет. И Лене тоже». В голове не укладывалось, как можно уехать куда-то из родной деревни. Кто ждет?.. «Хозяином будет Валуев», — час назад сказал Афанасий Петрович. Видать, давно все было обговорено.

— Не хочешь в город, мам?

«Это правда, на одном поле двум хозяевам не работать. Кирилл не любит поучений, а к делу не так уж охоч, как расписывают о нем на собраниях. Сроду кетменя в руки не возьмет, хоть тонуть в сорняках будет. Только руководящие указания...»

— Опять забудешь сказать, мам?

— О чем?

— Про город. Хочешь туда?

— Не знаю, доченька.

Но решение уже росло, бередило душу.

Глава третья

1

— Мурыгинны дом продали. Куда-то в Сибирь холера понесла.

— Давно?

— Третьего дня. — Дарья Ивановна дула на чай с удовольствием, вздымая в блюде барашки ленивых волн.

- Кто купил? — спросила Татьяна.
- Какая-то шмакодявка... Ни кожи, ни рожи.
- Нездешняя?

— Пес ее знает? Город-то теперь стал — что Москва. Только трубы пониже да дым пожже. Людей — тыщи.

Лена смотрела на Дарью Ивановну с восхищением. Она была не похожа на бабушку Герасимиху ровно на столько, сколько город на деревню.

За окном шел дождь. Плотная завеса водяных нитей висела колеблющейся живой пряхей.

— Она какая, эта шмакодявка, тетя Дарья? — спросила Лена.

— Как твоя кукла. Тоже общипанная. На ворону похожа.

— На живую?

— Понятно, раз дом купила. Дохлой вороне жилье, что зайцу на зиму рукавицы. К чему?

Она была полновластным командиром над этим маленьким семейным ковчегом, с одним матросом и большим юнгой. Годы состарили только ее тело, как старит время древние рукописи, оставляя нетронутым их смысл. Пополнение экипажа оказалось для Дарьи Ивановны лекарством, без которого одиночество еще заживо кладет на человека тень каменного идола.

— Сегодня идешь с обеда?

— С двух, — ответила Татьяна.

— Часов в десять вернешься, не раньше. Если бы не дождь, мы могли с Леной встретить тебя.

— Зачем же?

— Ты у нас человек рабочий. А мы — что суп без соли. Завтра пойдем тебе платье покупать.

— Вот с такими цветами! — развела руками Лена, выдав себя с головой. В сообщники она еще мало годилась.

— Так вы уже сговорились? — улынулась Татьяна. — То-то, смотрю, с самого утра во двор поглядываете. А дождь вам носа высунуть не дает.

— Мам, ты будешь в новом платье красивая-прекрасная!

— Тебе хочется, чтобы я была красивая?

— Да.

— Будет красивая, — твердо проговорила Дарья Ивановна. Ее авторитет был неколебим и принимался без-

апелляционно. Она встретила Татьяну с участием и радостью, ни расспросов, ни упреков; пусть отойдет душа, встанет на место, слова сами увидят дорогу. Подыскала работу, посудницей в закусочной. Неважную — на первый случай, — зато рядом, десять минут ходьбы. У Лены появилась бабушка, собственность чрезвычайно ценная для больного ребенка. И Татьяна все больше возвращалась в жизнь, к которой, как ей еще недавно казалось, дорога шла по слишком крутым склонам и глухим тропам. Она была в этом доме своя, не меньше чем родимое пятно на теле.

Дождь все еще барабанил по крыше, словно подрядился замесить из земли тесто на огромный каравай. По луже у окна плавали прозрачные зонтики пузырей.

— Как же ты пойдешь? — сокрушалась Дарья Ивановна.

— Не размокну, — смеялась Татьяна.

— Стой-ка! Достану я Володиный плащ.

Это была жертва: к вещам сына она никогда не прикасалась. Вернется из армии, увидит все в полной сохранности.

Татьяна отказывалась, не помогло. В просторном мужском плаще, с огромным капюшоном, она выглядела сорокой, забравшейся в гнездо орла.

— Ты поцелуешь меня на дорогу? — спросила Лена. Она с любопытством разглядывала мать в незнакомом наряде.

Стук костыля торопливо проследовал от стола к порогу.

— Принеси мне письмо от папы, — шепнула Лена, дотягиваясь к губам.

— Принесу, — пообещала Татьяна.

Два месяца шла эта выдуманная игра в письма. Мать почти ежедневно приносила ей письма — выданные листки из старых ученических тетрадей, постоянно в одном и том же конверте. Она сама и читала их, придумав рассказ о его отсутствии. Ведь ехали они в город к отцу, так говорила мать, а отец все еще не вернулся к ним. За два месяца они почти наизусть выучили этот несуществующий текст и, когда Татьяна ошибалась, Лена немедленно поправляла ее, не догадываясь, почему письма похожи одно на другое.

— Мам, а когда он пришлет большое письмо?

- Скоро, моя милая. Очень скоро.
- Ты мне прочтешь его два раза. Обещала ведь!
- Обязательно.

Татьяна больше Лены ждала «большое» письмо, не выдуманное, а в самом деле посланное Григорием. Но муж молчал. Возможно он писал на колхоз, она там ни разу не была со дня отъезда, или еще не имел постоянного места, ждал.

Она увидела это «большое» письмо, выходя из дому. Оно лежало в почтовом ящике, прибитом к калитке. Дождь проник в ящик, намочил конверт, адрес оказалось невозможно разобрать. Но «Татьяне Высотиной» виделось отчетливо. Она тут же разорвала конверт, прочла: «Здравствуй моя...» — на листок упало несколько капель дождя, оставив расплывчатые пятна. Она прочла письмо, лишь только вошла в закусочную, в свою маленькую комнатушку с большим эмалированным тазом для мытья посуды. Прочла торопясь, как голодный спешит съесть добытый кусок хлеба, даже не замечая, что это сдоба. Конечно, ничего особенного: здоров, находится в пересыльной тюрьме, скоро отправят в лагерь. Там будет работать. После прочту подробно, подумала она и сунула конверт в карман кофты. Но и во второй раз, выскочив на минутку во двор, она не нашла в письме того, что оставило бы след, словно письмо равно предназначалось и ей и кому-то другому. Общее, как небо над головой. Татьяна даже не сразу ответила, когда женщина с кухни спросила:

- Как он там?
- Да... помаленьку.

В доме Дарьи Ивановны она нашла только человеческий покой. Но все время со дня ареста Григория Татьяне так не доставало покоя душевного. Если муж не виновен, — это одно. Хуже, если он действительно участвовал в преступлении, скрывал, лгал ей. В любом разе он должен был когда-то сказать жене правду. Близкий человек не имеет права обманывать. Он мог признаться ей во время суда, когда дежурный милиционер разрешил свидание. Может, Григорий боялся, что его слова услышит кто-то третий, потому слишком коротко буркнул: «Поверил сначала, потом сказать хотел, да не успел». Почему же не написать в письме, когда суд уже совершился?

— Ты не показывай девочке письмо,— посоветовала Дарья Ивановна, когда Татьяна вернулась домой.

— Я обещала.

— К чему ей знать такие слова: суд, тюрьма! Не дай бог их слышать и взрослым.

— Да, пожалуй.

— И гадать нечего. Убери подальше.

— Она так ждет весточки от него.

— Сядь да напиши. Придумай что-нибудь.

Лена спала. Татьяна долго сидела над листком, которому суждено будет стать «большим» письмом.

«Здравствуйте мама и Лена! Я все еще работаю и не скоро буду дома, хотя очень хочется...»

Дождь перестал, в раскрытое окно кухни шла упругая прохлада. В луже под окном одиноко всхлипывали в темноте падающие с крыши капли.

— Не скоро... Да, конечно,— кивнула себе, соглашаясь. И, проговорив, отчетливо вспомнила следователя, допрос в колхозном правлении, в кабинете у Афанасия Петровича: добрые голубые глаза, вздыбленный светлый чубик над листом протокола. Как недавно и давно это было!.. На полях лежал снег, и проталины дымилась паром, словно незамерзающие зимою родники. Теперь там... конечно, лето: все вспахано, засеяно, зелень кругом,— натуженно нанизывало воображение, что могло там быть, на полях. Но представить поля во всей их первородной красе не удавалось. Все расплывалось, теряло контуры, крутилось в сознании зелеными, голубыми и лиловыми пятнами, как в очках, подобранных не по зрению.

2

Два парня заслонили выход из закуской. Нетрезво улыбаясь, они ждали, чтобы Татьяна попросила отойти в сторону.

— Ну,— наконец, сказал один,— два слова, дорогая.

— Она онемела от радости, увидев нас,— ответил второй.

— Неужели так трудно: два слова!

— Только два,— угодливо подтвердил второй.

Ее не смутила наглость парней. Наоборот, Татьяна

с любопытством разглядывала их, частых посетителей этого заведения. Обычно они приходили вечером, после работы. Всегда вдвоем. Заказывали ужин, по паре бутылок пива и уходили неизменно пьяные. Иногда с ними появлялся третий, совсем молодой, лет девятнадцати, может, двадцати. Он не пил, не ел, но всегда расплачивался за друзей. За несколько месяцев они не только запомнились, но стали как бы собственностью закуской — с восьми до десяти, — как табачный дым и посуда из-под вина, тайком оставленная под столиками.

Не выиграв сражения, парни пропустили Татьяну, пошли следом. Потом обогнали ее, снова загородили путь.

— Понимаю, вы торопитесь домой, — навязчиво заговорил один.

— Мы проводим, — добавил второй.

— Я вас давно приметил, — признался первый. — Каждый день вижу, как фотографию в рамке — в окошечке посудной.

На окраине города, где не столько милицейских постов, как в центре, любое дело лучше решать миром, не обращаясь к представителям власти. Пять минут переговоров, пустых и бессмысленных, как мыльные пузыри, ни к чему не привели. Прохожие не останавливались, их это не касалось. Наглея, один из парней взял Татьяну под руку. Она оттолкнула его. Спор стал громким и неизвестно чем бы окончился, если бы его не прервал грубоватый голос:

— Что вы пристали к женщине!

Парни не стали затевать скандала, отошли.

— Извините, что вмешался, — сказал мужчина. — Я жду... это неважно. Вижу, липнут к человеку, вот и...

— Спасибо вам, — ответила Татьяна.

— Пожалуйста. Идите спокойно.

Свет от электрической лампочки на столбе, прикрытый грибком абажура, выхватывал из сумерек только ноги, но человек успел рассмотреть Татьяну. Откуда он знал ее? Где он видел ее раньше?

— До свиданья, — сказала Татьяна.

Он вспомнил, когда она отошла шагов на десять: зима, дорога, человек на обочине... И крикнул:

— Подождите!..

Да, это была она.

— Здравствуйте! Вспомнил вас. Татьяной зовут, да?

— Откуда вы меня знаете?

Он рассказал ей о дороге, о Варваре Петровне, когда они подвезли Татьяну до города.

— Что же у вас с мужем? Чем кончилось дело?

— Осудили его. Три года дали.

Она обрадовалась этой встрече и говорила доверчиво, как со старым знакомым.

— В город перебралась. Живу недалеко отсюда... Вот ведь как бывает! Думала, ни одна живая душа меня здесь не узнает, только тетка Дарья... Где же та женщина, Варвара Петровна?

— Работает.

— Добрая она!

— Это почему же?

— Человека сразу видно.

— Да, она очень хорошая.

— Не родня вам?

— Не-ет! — улыбнулся он. — Просто так, работаем вместе. — И спохватился: — Что же мы стоим! Пойдемте, провожу вас. Можно?

— Отчего же нельзя, проводите. — Татьяна даже удивилась поспешному ответу.

— Она вас несколько раз вспоминала, Варвара Петровна. Всякую людскую беду близко к сердцу принимает. Не каждый на такое способен. Сама настрадалась, вот и...

Часы у магазина показывали половину одиннадцатого. Глухо доносилась песня. По невидимой небесной дороге поднималась переспелая луна — тяжело, словно страдая одышкой. Они пересекли площадь, вошли в укрытие полутемной улицы.

— Вот и все, — сказала она, давая понять, что путь окончен. — Вон в том доме я живу, четвертый справа.

— Здесь так темно, — ответил он, трудно разглядеть этот четвертый дом.

— Я привыкла. Даже без света найду.

— Все-таки я провожу вас. Можно?

— Стоит ли?.. Вам еще до дому сколько добираться.

— О, это недалеко! — воскликнул он. — От магазина направо, через линию железной дороги, и все. Там наш поселок. Почти одни текстильщики живут.

— Так вы с комбината?

— Да. У нас там хорошо! Настоящий городок. И люди хорошие.

— Дарья Ивановна говорила, что там хорошо. Ладно, до свиданья. Спасибо, что проводили.

Ее рука была теплой и мягкой, как у ребенка.

— Вы завтра опять в это же время кончаете работу? — спросил он.

— Да. Неделю в первой смене, неделю во второй. А к чему вам?

— Так, — пожал плечами. — Может, случится зайти...

Она быстро подняла руку на уровень лица, как бы отстраняясь от него:

— Не надо, не заходите!.. Не надо, — добавила просяще.

Он помолчал. Потом проговорил с заметным сожалением:

— Хорошо, не зайду. Спокойной ночи, — и ушел не оглядываясь, словно по ошибке оказался на этой улице с тусклыми огнями на шеренге телеграфных столбов. Она видела, как он свернул за угол магазина и неизвестно чему рассмеялась. Над детской ли покорностью этого большого человека, так похожего на Григория, над собственной ли смелостью в споре с двумя подвыпившими парнями. Ведь она всегда считала себя трусихой. Но он появился вовремя. Спор с парнями мог затянуться, и Татьяне пришлось бы вернуться в закусочную.

Открывая калитку, Татьяна еще раз посмотрела в сторону площади, но кроме пустоты, серой и безликой, ничего не увидела. Интересно, подумала она, придет он завтра или нет? Скорее всего нет. Она так торопливо и откровенно остановила его: не надо, не заходите!.. Собственно, какая разница? И снова рассмеялась. Вечер оказался не похожим на десятки прошедших: случилось маленькое происшествие, встретился неожиданный знакомый.

В доме через улицу горел свет. Он горел там круглыми сутками у кровати больной женщины. Татьяна привыкла к пятну света, но сегодня он показался ей более ярким, чем всегда, хотя тонкая глухая занавеска скрывала, что было в доме. Потом она услышала песню. Тихая, мелодичная, полная взволнованной грусти и покорной отрешенности, песня струилась, похоже, с неба, от самых звезд. Татьяна никогда не слышала ничего по-

добного. Когда-то ее мать была мастерица петь песни. Но это осталось в памяти слишком туманно, как сон, не имеющий начала и конца. Из соседней калитки вышли женщины, мужчины, три девчонки, лет по двенадцати. Их провожала хозяйка, та самая, которую Дарья Ивановна называла шмакодявкой. Татьяна успела познакомиться с ней, раза два заходила в дом и ничего плохого о соседке сказать не могла. Тихая, спокойная, приветливая женщина.

— Подышать захотелось? — увидев Татьяну, соседка подошла, остановилась рядом.

— Песню слушала, — призналась Татьяна.

— У нас пели, — с удовольствием сказала она. — Понравилась?

— Да. Только странная песня, первый раз такую слышала.

— Очень хорошая. Пришла бы как-нибудь, посидела. Мы часто собираемся. Песня, она не во вред душе. Усташь за день, набегашься, а вечером отдохнешь. Приходи в субботу.

— Ладно, приду.

— Не забудь!

— Не-ет!

— Можешь и дочку взять. Смирная она у тебя, послушная.

Впервые этой ночью видела она во сне родную Каменку. Как наяву. Ходила с Леной по полям, собирала цветы. Видела Марию Звягинцеву, всех своих подружек. Потом услышала песню. Пело небо, пела трава, пело солнце, и охваченный песней мир казался сказочно светлым и просторным.

Весь день у нее было хорошее настроение. Собираясь на работу, Татьяна дольше обычного просидела у зеркала. Лицо ее заметно побелело после деревни, кожа стала мягкой, бархатистой.

— Прямо невеста, хоть сватов засылай.

— Что ты, тетка Дарья! На поле уж как кочерыжка загорела бы. А здесь все в тени, под крышей.

— Не от солнца, от горя чернеют. Гони его от себя, пусть враги горюют, — наставительно сказала она.

— Какие у меня враги?

— А председатель твой! Не по нраву он мне, пустоцвет — и только. Видимость одна.

— Откуда ты его знаешь?

— Как же, бывал у меня с Гришей раза два. А то и три. Повидала. Налюбовалась. Поди рад, что ты не стала на него жаловаться.

— Кто его знает!

— Хоть бы интерес поймел, куда, мол, колхозный человек девался, как он пристроился на другом месте. Чего не хватает, так уж не хватает у наших начальников, насчет интереса к человеку. Спихнули — и со счета долой.

— Ладно,— смеясь, сказала Татьяна.— Проживем и без ихнего интересу.

— Не прокиснем,— согласилась Дарья Ивановна.

Днем закусочная почти пустовала, самая работа начиналась после пяти вечера. Сначала появлялись ремесленники, народ торопливый и безденежный: брали по паре бутербродов на человека, по бутылке лимонада. Тихо, вроде по условной команде, рассаживались за столиками грачами на перелете в своих черных форменках. Потом их место занимали шоферы, механики, кондукторы с соседней автобазы. Люди большей частью степенные, малоразговорчивые, знающие цену времени. Около семи налетала следующая стая: ученицы из швейной мастерской, веселые разбитные девчата — яркий букет тканевых цветов, пахнувший туалетным мылом и пробными духами. Только после восьми приходил посетитель, дающий не менее половины удельного веса в финансовом плане: заготовители фруктов и овощей из двух контор, выходящих фасадом на площадь; животноводы и лепщики из мастерской; молодые люди неопределенных занятий с такими же подружками; отцы семейств; жильцы заезжего дома и просто люди, о которых даже опытный психолог не составил бы определенного мнения. Этот посетитель не довольствовался бутербродами и лимонадом и хотя официально закусочная не держала спиртных напитков, многие покидали ее явно в нетрезвом состоянии.

До восьми Татьяна чувствовала себя удивительно спокойно. Раза два ей приходила на память вчерашняя встреча, но думать об этом не хотелось. Она даже не знала его имени. Когда зал уже был полон людей, она вдруг поймала себя, что более пристально вглядывается в лица мужчин. Это открытие развеселило ее, однако тут же вызвало легкую грусть: нет, не придет. Ну и пусть,

подумала она, он и раньше никогда не приходил. Во всяком случае, она ни разу не видела его в закускойной. Это снова потянуло нить мыслей. Может, и не замечала. А он заметил ее, потому и оказался рядом, когда пристали парни... Да ну, чепуха! Так можно целую историю сочинить.

Она вздрогнула от звона разбитой тарелки.

— Вздремнула, Танюша? — крикнул повар.

— Из рук выскользнула, — ответила смущенно.

— Бывает. Дома, когда посуда бьется, говорят, к счастью.

— А здесь? — машинально спросила она.

— Тоже. Вместо старой купишь новую!

— Что ж, куплю...

Светлая рубашка в крупную клетку не дала договорить. Она появилась слишком неожиданно.

Мест за столиками свободных не было, и могло случиться, что он не станет ждать, повернется и уйдет. Татьяне так захотелось крикнуть, может быть: я принесу вам стул! — она еще не решила что и, пригибаясь над нагромождением тарелок, увидела большую рыжеволосую голову. Это был совсем другой человек, не тот, которого она ждала, хотя ей и казалось, что никого не ждет.

Остаток смены прошел в тягучей, неувлекательной игре: придет или не придет? Если придет, думала она, не покажу вида, что ждала. Так, выгляну разок. Как для всех. Пусть думает что угодно. И не разрешу провожать. Сама знаю дорогу... Но храбрости хватало на несколько минут. Захочет — пусть проводит, чужих ног не жалко... Если попросит разрешения проводить. Не то, чтобы сам взял и пошел. И опять: Не явится, пусть больше никогда не приходит. Невелика потеря. К чему эти провожания?

Игра окончилась полным поражением: он не пришел. Напрасно Татьяна уговаривала себя, торопливо шагая к дому, что все делается к лучшему. На углу у магазина ей показалось, что он стоит у крайнего дома. Но это был тоже другой человек.

Как и прошлый вечер, из соседнего дома доносилась песня. Ни слов, ни тактов Татьяна разобрать не могла, только отдельные аккорды плыли в густом сумраке наступающей ночи. Ровные, торжественные, они говорили о чем-то прекрасном, быть может, не существующем в жизни, специально придуманном для мечтаний и забве-

ния. Псалмы кротости и посвящения в бытие вечного душевного покоя; гимн праведности и великой любви ко всему живому; моря блаженства, омывающие хрустально прозрачными водами невидимый берег надежд и желаний. Она остановилась у калитки, силясь понять, что вызывало в ней это пение, почему оно удерживало, отодвигало все окружающее, даже останавливало думы. Но ничего не пришло в голову.

Я просто устала, подумала она, открывая калитку.

— Ты что такая невеселая? — встретила ее Дарья Ивановна. — Лена приболела, — добавила тише, показывая на закрытую дверь.

— Температурит?

— Немножко. Ждала тебя, да заснула.

— Врача надо вызвать, — сказала Татьяна.

— Надо ли! Подождем утра, если температура будет, вызовем. Куда по ночи за врачом мотаться.

— Позвонить можно. У сторожа магазина телефон есть.

— Пусть спит на диване, не тревожь. Чай будешь пить?

— Не хочу.

Она не стала зажигать в комнате электричества, боясь разбудить Лену. Прикоснулась губами к лобику, поправила подушку, подставила к дивану второй стул. Чиркнула спичку, чтобы убрать со своей кровати игрушки и, невольно подняв голову, увидела икону. Святой — она не знала кто: Николай-угодник или Илья-чудотворец.

Он смотрел на нее со вниманием всезнающего и всепонимающего человека. Казалось, он осуждал ее за что-то, но в его глазах, задумчивых и усталых, была любовь и кротость.

«А вдруг он женат? — внезапно мелькнула мысль, когда Татьяна легла в постель. — Потому и не пришел. Зачем ему, женатому, идти к какой-то женщине, которая сказала: нет, не приходите, не надо!.. Дура, дура, мужик в тюрьме, а я кто знает о чем думаю. Нет, пусть он никогда не приходит».

Лена что-то выкрикнула во сне. Татьяна встала, присела на стул рядом с диваном. Потом снова легла. Но сна не было. Опять подумалось о нем. Словно он был где-то рядом, невидимый в темноте, как бог, нарисованный рукой человека, с задумчиво усталым взглядом. Что-

бы отогнать *его*, она стала думать о деревне, о Марии Звягинцевой, но все это проплывало бессвязно, слишком расплывчато, как ночная степь за окном пассажирского вагона.

— В воскресенье бабушка пойдет боженьке молиться. И я хочу с ней. Можно, мам?

Татьяна не сразу поняла, что к чему. Уснула она поздно, часа в три-четыре, не выспалась.

— Иди ко мне, девочка, — позвала Лена в постель. — Что ты хочешь?

— С бабушкой. Можно?

— Зачем?

— Так, посмотреть.

— Пойдем-ка лучше гулять завтра. Я тебе покажу железную дорогу. По ней ходят большие паровозы. И вагоны.

— Вот такие? — развела Лена руками.

— Еще больше.

— Пойдем, пойдем! — радостно закричала она.

Татьяна хотела встать, сказать тетке Дарье, что зачем ребенку морочить голову религией, но Лена не дала ей подняться. Продолжая свой разговор, она словно по секрету сообщила:

— А боженьки-то нет!

— Как нет?

— Нет — и все! — и хитро улыбнулась, мол, такая большая, а не знает.

— Кто тебе сказал, Лена, что нет боженьки?

— Бабушка!

— Так куда же вы собирались идти?

Лена подумала и, вероятно, повторила слова Дарьи Ивановны:

— Полюбопытствовать, мам.

— Любопытной Варваре нос отодрали, понятно? — улыбнулась Татьяна.

Дарья Ивановна приоткрыла дверь, заглянула и запахнула настежь. Из кухни донесся запах чего-то вкусного. Завертывая фартук и подтыкая его за пояс юбки, она вошла в комнату, отодвинула на окне занавеску.

— Что вы тут секретничаете?

— Мы с мамой в воскресенье гулять пойдем! — немедленно сообщила Лена. — К боженьке твоему не хочу.

— И не надо, — равнодушно ответила Дарья Ивановна.

— Иди одна!

— И пойду.

— Вот и иди!

— Вот и пойду! — упрямо, в тон Лене, ответила она, пряча улыбку.

— Все равно его нет, сама же вчера говорила.

— Кто знает, есть он или нет.

— Что же ты говорила тогда, что никто его не видел? Говорила, скажи, не отпирайся.

— Говорила. Вставайте-ка чай пить, блинов вам напекла, безбожникам. А то одна все поем, останетесь голодными.

— Пойдем, мам!

За столом Татьяна молчала. Она не могла даже думать, столь тяжела была голова. Слова Дарьи Ивановны воспринимались как текст служебного, к тому же далеко не интересного отчета, который приходится слушать только ради должностного порядка. Баранины нет в магазине уже неделю. Только говядина. И что же?.. Соседка пристройку затеяла. Вроде флигеля, только, вплотную к дому. И что же?.. Говорят, новый завод будут строить где-то поблизости, чуть ли не в конце улицы. Как бы не вздумали снести дом Перфильевых, он самый крайний. Не в доме суть, огород у них — загляденье, десять соток. И вода рядом, хоть день и ночь поливай. И что же?.. Бабка Кондратьевна ночью скончалась, что жила в доме напротив. Парнишка соседский прибежал, сказывал. После обеда похороны. И что же? Восемьдесят два года прожила, хватит, пожалуй...

— Чего у тебя глаза припухшие?

— Не знаю, — ответила Татьяна.

— Жара начинается, — недовольно сказала Дарья Ивановна. — Месяца на два зарядит... Эта самая к тебе заходила утром, — кивнула в сторону соседнего дома. — Ни свет ни заря, а ее уже черти таскают.

— Шмакодявка? — спросила Лена.

— Она самая.

— Что она говорила? — посмотрела Татьяна.

— Ничего, спросила тебя и смоталась. Секрет, ви-

дать, какой-то. Все вечера напролет поют, ровно делать больше нечего. Хоть бы бабы одни, а то и мужики у них ненормальные, вместе с бабами сидят, песенки распевают.

— Пусть поют,— ответила Татьяна. И вспомнила: суббота сегодня, она обещала соседке прийти послушать их песни. За этим, видно, та и заходила, чтобы напомнить Татьяне. Сказать тетке Дарье? Нет, не надо. Она недолюбливает соседку. Можно будет зайти, не предупреждая Дарью Ивановну. Работа до восьми, времени хватит к сроку вернуться домой.

Несколько вечеров преследовала ее песня, Татьяне хотелось сесть рядом с женщинами и слушать, уносясь куда-то в непонятный мир придуманного; плыть, словно по безбрежному морю, опустив весла, не шевелясь, затаив дыхание, восторгаясь разливом солнца и голубого простора.

Она помогла Дарье Ивановне полить грядки с зеленью, прополоть траву в цветах, подмела двор, выстирала платье Лене, чтобы на завтра осталось меньше домашних дел.

Снова у окошечка посудной видна была стоя ремесленников, спины и профили кондукторов, шоферов и механиков. После них появился букет девчат из швейной мастерской. Но для Татьяны они были такими, как неделю, месяц назад — на один фасон и размер. Она не стала бы утверждать, что не думала о нем, но он уже не занимал в ее мыслях столько места, как день назад. Он вспоминался, словно они не виделись по меньшей мере года два. Так смотрится портрет, который долго висел на открытом воздухе: холст покореблен, краски выцвели, потеряли первоначальные тона, только общий рисунок лица остается прежним.

— Завтра свадьба, сына женю,— подошел повар, добродушный толстяк армянин. Колпак на его голове, накрахмаленный до деревянного стука, красовался превосходным белым грибом на толстой ножке.— Приходи, Танюша!

— Не знаю, как дела будут,— ответила она. Прогулка с дочерью определенно выглядела бы несолидной отговоркой.

— Слушай, приходи-ка сегодня вечером! Примерно, через часок. Я сейчас уйду, помощника оставляю. Сегодня

будет это самое... ну, как оно называется... словом, пропивание.— И рассмеялся: — Начало пьянки.

— Спасибо, Акоп Иванович! Может, приду.

— Ты уж без «может», а твердо. Работаем вместе.

— Приду,— рассмеялась Татьяна, видя, как на его рыхлое лицо набежала тень обиды. К соседям успею в другой раз, подумала она.— Приду, Акоп Иванович. Сейчас подойдет сменщица, ебегаю переоденусь.

В субботу работа оканчивалась на два часа раньше. Подошла вторая посудница. Татьяна стала снимать халат, как увидела в проеме окна посудной лицо своего знакомого провожатого. Он смотрел на нее с радостью и надеждой. Татьяна почувствовала, как вспыхнули щеки, задрожали руки, путаясь в завязках халата. Неужели он пришел только ради нее? Как же теперь быть? Сделать вид, что она его не видела, не узнала, и бежать домой переодеваться или... Но ведь он, возможно, никогда больше не придет, если она сбежит, не сказав ни слова!

Он, кажется, понял ее замешательство и участливо, ободряюще кивнул головой. Это окончательно отодвинуло все, что думалось и намечалось. Он пришел ко мне, только ради меня, повторяла Татьяна. Я должна выйти к нему, на несколько минут... всего на несколько минут.

— Не забудь, Танюша! — проговорил повар.

Она остановилась и с удивлением переспросила:

— О чем вы, Акоп Иванович?

— Об этом,— приподнял толстую потную руку и показал пальцем на часы.— В девять!

— Ах, в девять!

— Без опоздания!

После духоты кухни на улице было прохладно, но у нее горели щеки. Когда-то еще в девушках они с подружкой натерли щеки перцем, чтобы вызвать румянец. Глупую затею подсказала бабка Герасимиha. Опыт обошелся дорого. Весь вечер Татьяна ходила с огненной болью на лице, а через пару дней кожа на щеках стала шелушиться от ожога. Что-то подобное испытывала она и теперь, не замечая, с какой смелостью, так не свойственной ее характеру, разговаривала с ним:

— Боялся, что не застану вас,— сказал он.

— А очень хотелось?

— Больше чем очень!

— Плохо верится.

- Нельзя было. Все складывалось так...
- Жена не пускала?
- Что вы! Я не женат. Только собираюсь.
- Поздновато! В тридцать лет пора детей иметь.
- Так мне еще нет тридцати! Значит, успею.
- А сколько? Двадцать девять с половиной?

Ему казалось, что у Татьяны просто-напросто превосходное настроение, и задиристый тон ее вызывал улыбку.

— Сегодня я вроде именинника, — сказал он, чтобы посвятить в свою радость. — Если бы вы были женщиной, то мы выпили бы по стакану вина.

— Как это: вроде? По облигации выиграла? Или сон хороший видели?

— Москвича купил! — с гордостью ответил он.

— Живого? — смеясь, переспросила Татьяна.

— Живого!

— Лучше бы москвичку, вы же, говорите, человек холостой.

— Москвичек не продают.

— Напрасно вы так думаете. Кому надо, приобретают. Вы просто не интересовались.

— Возможно.

— Тут и гадать нечего. Как говорят, дали маху. Но дело поправимое, не убивайтесь. Все легко исправить, было бы желание. Могу даже помочь, если хотите, — и расхохоталась неестественно громко, обратив внимание нескольких женщин, шедших впереди. — Соглашайтесь скорее, пока не передумала!

В углу площади, против конторы по заготовке овощей и фруктов, был маленький скверик с аляповатой клумбой среди молодых кленов. Он предложил посидеть немного, чтобы побыть вместе. Ему так не хотелось расставаться, тем более, что у Татьяны хорошее настроение. Но она отказалась. Сказала: не хочу, и все. Она побаивалась, что может появиться Дарья Ивановна, увидеть их. После начнет расспрашивать. К чему это? Но и немедленно идти домой ей тоже не хотелось. Что толку, если еще вчера она давала себе слово не видаться, не разговаривать с этим человеком; сегодня она была готова нарушить любую клятву.

— Давайте так, — предложила Татьяна. — Прошлый раз вы меня провожали, сегодня я вас провожу. Никогда

не была на той улице, что выходит к железной дороге. Посмотрю, хоть.

— Это совсем близко!

— Тем лучше.

Они перешли площадь, миновали магазин на углу. Улица, в которую они вошли, ничем не отличалась от той, где жила Татьяна. Такие же маленькие частные домики, хмурый строй потемневших от времени телеграфных столбов. Ночью здесь, по всему видно, было так же сумрачно, как и на всех окраинных улицах. Она тянулась метров на триста и упиралась в полотно железной дороги. Похоже было, что улица остановилась в раздумье перед полотном: идти ей дальше? Но так и не решилась. За железной дорогой ее место уже занял глухой забор, сооруженный из бетонных плит. Слева за переездом виднелся корпус текстильного комбината. Справа — поле.

— Пойдемте туда! — почти выкрикнула она; глаза ее светились робкой радостью.

Словно дети, они пошли по шпалам, шаг за шагом, вперед и вперед.

— Как хорошо, взгляните-ка! — показала рукой на поле, которое открывалось все шире справа и слева. Забор вдоль линии и огороды с другой стороны окончились почти разом. Их обступила бугристая даль, залитая мягким светом заходящего солнца. И когда они сошли с насыпи, чтобы пропустить поезд, в траве отчетливо слышался треск кузнечиков.

— Боже мой, — глядя вокруг, словно она впервые в жизни видела раздолье степи, говорила Татьяна: — Куда вы меня привели? Откуда здесь появилась такая красота. Посмотрите, трава-то какая! Пощупайте: она мягкая, как шелковая. А вон васильки! Погодите, я нарву вам, хотите? Подождите здесь... сядьте, я быстро. Ее руки проворно замелькали в траве. — Идите сюда, Вася! Помогите мне.

Он подошел, удивленно спросил:

— Откуда вы знаете мое имя?

— Как же! — певуче ответила она. — Все думала, думала, никак вспомнить не могла. А здесь вспомнила. Здесь, как в деревне, все по-настоящему, неподдельное. Вот и пришло на память: стояла я у дороги, тогда, зимою. Помните, Варвара Петровна сказала: «Возьмем, Вася, пассажирку?..»

— А я уже забыл, какой был разговор. Только вас запомнил. И что Татьяной звать, тоже. Все время так хотелось повидать, спросить, как живете. Когда вы вылезли из машины, уже в городе, Варвара Петровна посмотрела вслед и сказала: «Хорошая, кажется, баба. Как бы не свихнулась с пути». Ну, мол, как бы... не то, что плохое там стала делать, а вообще. Женщине тяжелее все переживать, чем мужчине. А то, что Варвара Петровна назвала вас бабой, не обижайтесь, Таня. Она почти всех так зовет, привычка у нее такая. Завтра придет, расскажу ей о вас.

— Где она?

— В подшефном колхозе. Далеко. Неделю уже с бригадой из своего цеха на прополке овощей. И я с ними был, потому вот только сегодня вернулся. Говорю, отпусти, Варвара Петровна, а то сбегу.

— А она?

— Отпустила. Сказала только: «Вижу, тут дела душевные, держать не имею права».

— Откуда она узнала?

— По виду, наверно. Она все знает!

Татьяна помолчала, срывая цветы, искоса взглянула и осторожно спросила:

— А с кем душевные дела, не догадывается?

— Не-ет! Это полный секрет.

Солнце садилось быстро, и бугристая даль меркла, теряла краски. С охапкой васильков они вернулись на полотно железной дороги. Возвращаться в город не хотелось. И они пошли по дороге, не договариваясь, словно это было давно решено.

— Лена обрадуется! — думая вслух, сказала Татьяна. — Она очень любит цветы.

— Дочь?

— Да. — Ответила и испугалась, надо ли было об этом говорить? Может, он считает, что она одинокая.

— Сколько ей лет?

— Пять скоро.

К чему она разоткровенничалась?.. Вместе с наступающими сумерками стала меркнуть и ее радость, с какой она так внезапно вырвалась из города в этот простор земли и неба. Зачем она сказала о Лене? Завтра они пойдут с нею гулять, а сегодня... Если захочет, он все равно узнает о ней. Надо ли скрывать? Даже хорошо:

пусть узнает сейчас, чем позже. И проверяя его, как он относится к тому, что у нее есть дочь, сказала:

— Завтра мы с нею пойдем гулять.

— Когда?

— Часов в двенадцать.

Ей так хотелось уловить оттенок радости или недовольства в его голосе. И она услышала, скорее почувствовала его — просительный, теплый:

— Разрешите мне погулять вместе с вами?

Татьяна ответила не сразу. Потому он успел еще сказать:

— Хотите, я подъеду на машине. Можно будет...

— Нет, на машине не надо. Мы просто опять придем сюда. За этими цветами.

— Давайте так.

Снова стала возвращаться к ней радость.

Солнце уже село, и по степи плыла слабая фиолетовая дымка. Обочь железнодорожного полотна молчаливо тянулись заросли мелкого кустарника. Только теперь она вспомнила, что ей надо было пойти к Акопу Ивановичу, и рассмеялась без сожаления. Не обидится повар, он добрый дядька. Удивительно добрый. Завтра выкрою чашок, поздравлю молодых.

Шла она домой, испытывая необычайную легкость во всем теле. Ей не хотелось думать, отчего так легко, что может быть дальше и как оно может быть, если станет развиваться столь стремительно. Было просто хорошо. Только одно обстоятельство на короткий миг напомнило о бренности бытия: окно в противоположном доме было мертво. Темный квадрат под массивным наличником выглядел пустой бойницей, навсегда оставленной погибшими солдатами.

4

Негромкий стук в окно нарушил смех в доме. Дарья Ивановна ушла в церковь, по радио передавалась танцевальная музыка, и Татьяна показывала Лене, как танцуют вальс и краковяк. Получалось у нее не особенно складно, вместе с Леной она от души смеялась.

Стучала соседка. Татьяна выскочила навстречу:

— Заходи, Поля. Здравствуй...

— На минутку я, соли занять стаканчик,— ответила та, заглядывая в сени.

— Пожалуйста.

— Твоя дома старая? — Услышав, что ее нет, обрадовалась.— Что же не пришла вчера? Ох и хорошо было! К нам теперь старший приехал, брат Кондратий. Умный человек!

— Твой брат, что ли?

— Нет, наш общий брат. Пресвитер.

Татьяна недоуменно вскинула брови.

— Приходи. Посмотришь, послушаешь.

— Да я сегодня... нам с Леной нужно пойти... Никак не смогу,— сбивчиво проговорила Татьяна.— Вчера еще договорились. Никак...

— Отложи свои дела, не убегут,— Полина смотрела взглядом преданной собаки, которую трудно обидеть, если и провинилась. Она чем-то напоминала Марию Звягинцеву. Можёт, лицом. Может, ростом. Может, тем и другим, если бы она была живее, веселее, как Мария, не повязывала платок по-старушки, под подбородок, не смотрела так навязчиво жалостливо.

Татьяна снова отказалась, но та, кажется, решила уговорить во что бы то ни стало. Ее голос, голос сестры милосердия над изголовьем больного, был сколь кроток, столь и настойчив. На него нельзя было ответить общей фразой, его надо было принимать молча или же вступать с ним в спор.

— Приходи.

— Не смогу. Лена уже собирается.

— Вместе с ней.

— Нет, в другой раз.

— И в другой раз придешь. Не помешает.

— Сегодня никак... нет, просто... немыслимо даже,— ее начал злить навязчивый тон. Она сходила в кухню, вынесла пачку соли, стараясь поскорее отвязаться, окончить разговор. Но и после того как насыпала стакан, соседка еще стояла, надеясь уговорить Татьяну.

— Лена! Живо собирайся,— крикнула Татьяна,— а то я одна уйду!

— Сейчас, мам!

— В другой раз, Поля, хорошо?

— Сегодня у нас праздник, красиво будет.

— Не могу я, понимаешь? — с болью выкрикнула она.

— Ладно, — согласилась Полина. — Не сердись только.

— Что мне сердиться?

Но настроение оказалось испорченным. Татьяна придирчиво осмотрела Лenu и велела ей надеть чулки.

— Жарко, мам!

— Не твое дело, — неожиданно прикрикнула Татьяна. По отношению к дочери это случалось слишком редко. — Можешь вообще не ходить, если не хочешь. — Она видела, как на глазах Лены сверкнули слезы обиды. — Перестань хныкать, не хватало еще идти по улице с красными глазами. Слышишь? Вытри нос... иди умойся! Коса растрепалась, опять переплетать надо, неряха.

Лена уронила чулок, отвернулась к стене. С громким стуком упал на пол костыль.

— Иди одна, мам...

— Еще что выдумала! Прокружились с тобой целое утро, теперь фокусы начинаются? Живо надень чулки!

Она не смогла бы объяснить, что с нею случилось, чем вызвана такая перемена. Не только соседка испортила настроение, но было что-то и другое.

Она резко шагнула к дочери, готовая силой собрать ее, вытащить за руку на улицу, если та станет сопротивляться. Но острая боль где-то под сердцем остановила, и горло сжала тугая спазма. Еле сдерживая себя, чтобы не заплакать, не зареветь во весь голос, Татьяна повернулась, торопливо вышла во двор. Но слез не сдержала. Они хлынули неудержимо, как талая вода под вешним солнцем, беспорядочно капая на щеки. Они стекали на подбородок, мочили новое платье, словно хотели полить крупные яркие цветы, разбросанные по ткани, заставить их цвести еще ярче.

И она поняла, что происходит с нею. Сегодня она не могла идти одна. Она *должна* была показать *ему* свою дочь, калеку, маленького инвалида с сохнувшей ножкой. Показать ее бледное болезненное лицо, показать костыль, показать все, чтобы *он* знал, с кем имеет дело. Она специально надела новое платье, чтобы контраст между нею — молодой, приятной женщиной — и больным ребенком был еще резче. Пусть *он* подумает что угодно, она должна так сделать. Пусть *он* отвернется и уйдет, или скажет что-то, потом уйдет, или побудет с ними — все

равно: она не может вести себя как фальшивомонетчик, сбывающий поддельные деньги за чистую монету. Это было решено еще вчера, сегодня решение приняло чрезвычайную форму. Утром ей казалось, что все обстоит очень просто: они пойдут гулять, встретятся с Василнем, она увидит, как себя вести. Не только сегодня, но и в будущем. Червь сомнения притаился под наплывом утреннего веселья, может, так и засох бы, но его разбудила встреча с соседкой, ее навязчивость, которая вызвала раздражение, затем и ссору с дочерью.

Оставалось полчаса до двенадцати. Татьяна вытащила из колодца ведро воды, умыла лицо, поправила волосы.

— Одевайся, доченька,— сказала миролюбиво.— Не сердись, погорячилась я.

— Чулки не хочу,— косо взглянула Лена.

— И не надо! — согласилась Татьяна.— Дай я переплету тебе коску.

Вспышка гнева проходила, ей было стыдно, что не сдержалась. Что поделаешь, коли ребенок болен, куда его денешь, если он твой, родной, живая часть самого тебя. Мало ли что подумают, увидев ее; в конце концов Татьяна наплевать на любые разговоры. Ведь у нее с Василнем совершенно ничего нет близкого. Вот выйдут они...

— А там цветы растут? — все еще сдержанно спросила Лена.

— Растут! Много цветов.

Лена помолчала, снова спросила:

— А там — поле?

— Да. Большое поле.

— Как в деревне?

— Почти такое.

Мир постепенно восстанавливался. Но радость утра невозможно было вернуть. Татьяна попробовала рассказать, какая там интересная железная дорога, а по сторонам кусты, целый лес! — рассказ вышел неубедительным: Виновато улыбаясь, она положила в карманчик платья Лены несколько конфет.

Вышли они из дому, равно чувствуя усталость. Татьяна даже подумала, стоит ли идти, не остаться ли дома.

— Мам, ежик! — неожиданно звонко воскликнула

Лена.— Вон он, в траву спрятался. Мам, поймай, скорее!

В самом деле, в траве у соседнего забора копошился ежик. Его выдавала куча серых иголок.

Почти следом за ежиком в дыре под забором показалась голова мальчугана.

— Это мой! — сурово проговорил он, выползая на улицу.

— Мам, пусть он даст его погладить!

— Руки наколешь, — назидательно ответил мальчуган, становясь около своего богатства.

— А ты?

— Я ничего, привык. Вот, смотри, — взял ежика, приподнял, опять опустил в траву и гордо протянул ладони для осмотра.

— Ты смелый?

Этот вопрос смутил мальчугана: смелый ли он в самом деле? Пожалуй, да. Не совсем, понятно, но смелее кое-кого из друзей с его улицы. И кивнул с достоинством.

— Пойдем, Лена, — сказала Татьяна. — Это его ежик. Видишь, он не дает и погладить.

— Жадина! — с укором посмотрела на него Лена, собираясь уходить.

Кажется, мальчуган лишь сейчас заметил, что девочка на костыле. И ответил: он совсем не жадина, нечего зря говорить.

— Хочешь, тебе отдам?

Чрезвычайная щедрость на минуту захватила дыхание.

— Насовсем? — не веря счастью, переспросила Лена.

— Понятно: насовсем! Бери, если нравится.

— Мам, возьмем? — в голосе прозвучала почти мольба.

Все внимание было обращено на ежика, никто из троих не заметил, как подошел четвертый: рослый мужчина с рыжим баульчиком и доброй человеческой улыбкой. Он помог разрешить вопрос незамедлительно:

— Надо взять! Такой замечательный зверь, лучше не придумаешь.

Татьяна вздрогнула, обернулась.

— Молодец парень! — похвалил он. — Как тебя звать?

— Степан.

— О! У меня уже есть один друг, такой же, как ты,

только того еще Степкой зовут.— И снова похвалил: — Молодец, не пожалел ежика. Пусть у Лены поживет. Я тебе за это подарю хорошую штуку.— Полез в карман, достал перочинный ножик с тремя лезвиями, с отверткой, шилом и еще какими-то премудростями. Глаза мальчика засверкали.— Хочешь?

— А ты вправду отдашь?

— Конечно! Держи. Только осторожно обращайся; ножи острые. На сто лет хватит.

Обмен ценностями состоялся с явным преимуществом для мальчугана. Он держал ножик, что-то раздумывая. Потом быстро сунул руку в карман брюк, пошарил там и достал большую медную пуговицу с якорем в центре. Чувствовалось, что это у него реликвия, но он протянул ее:

— Возьми, дядя. Ежик дешевле ножика.

— Спасибо, пригодится... Ну, вот что, Степан, ты живешь в этом доме? Хорошо. Давай так договоримся: мы собрались погулять, куда же ежика деть? Унеси его пока с собою, а вечером отдашь Лене. Она живет рядом. Хорошо? Вот и ладно. Я сразу заметил, что ты дельный парень. А к ножику, вот сюда, к петле, привяжи шпагатину, чтобы не потерять.— Потом позвал Лену: — Когда будешь брать, то вот так: руку ему под животик просунь и поднимай. Смотри,— поднял и воскликнул: — Он совсем ручной! Даже не думает сворачиваться. Ну и ежик, ну и красавец! На, поддержи!.. Не бойся, он добрый! И иголки не колются; понимает зверь, что ты теперь его хозяйка.

Ежик спас радость. Татьяне даже казалось, что ничего не произошло полчаса назад и вспышка гнева не была столь острой, чтобы помнить о ней. Но главное заключалось в другом. Вся ее подготовка к встрече с Василием оказалась ненужной. Он появился и вошел в жизнь так, словно все они, втроем, вместе вышли из дому. Потому само собою разумелось, что и гулять они идут вместе. Когда вопрос с ежиком оказался решенным, Василий протянул Лене руку и она доверчиво зашагала с ним рядом. Эмоции улеглись не сразу, несколько минут разговор шел вокруг редкого приобретения: «Красавец!.. Ни у кого такого нет!.. Иголки совсем мягкие, это потому, что ежик понимает людей: для добрых — он добрый, для злых — колючий». Затем внимание привлекла железная

дорога. Рельсы блестели под солнцем так весело, словно их специально почистили к воскресенью. Василий предложил Лене сесть к нему на шею, а костыль и баульчик пусть несет мать. Это доставило удовольствие им обоим. Лена могла свободно смотреть по сторонам — на кустарник, обочь железнодорожного полотна, на дымок, словно из земли поднимавшийся из-за недалекого косогора, на стаю воробьев, кем-то напуганную в кустах и стремительно пронесившуюся мимо нестройной, шумно чиррикающей оравой. Василий был доволен не меньше Лены. Есть грузы, которые никогда не в тягость человеку. Он тоже думал о предстоящей встрече с девочкой, готовился к ней, удивился, увидев ее костыль, но не подал виду. Он нес ее на плечах с удивительной осторожностью.

— Не пора нам отдохнуть, дядя Вася, — Татьяна специально назвала его по имени — пусть услышит Лена! — когда они прошли не меньше километра.

— Сегодня у нас главный начальник Лена, — ответил он. — Где она скажет, там и остановимся.

— А что у вас в чемодане, дядя... Вася? — спросила Лена.

— Кое-какие инструменты, — ответил он.

— Красивые?

— Есть и красивые.

— Зачем вы их носите с собою?

— Пригодятся.

Остановились они на самом приветливом месте. Кустарник справа немного расступился, образовал полянку, усыпанную васильками. По краю посадок бежал торопливый ручей. Железная дорога сворачивала влево, и похоже было, что она исчезает прямо в зелени деревьев. Снова Татьяна вслушивалась в его голос, стараясь уловить оттенки недовольства или искусственного веселья, определить, как он относится к Лене. Вслушивалась не так напряженно, как прошлый вечер, и все больше успокаивалась: вроде, он доволен и прогулкой и присутствием девочки.

— В шесть часов поеду за ними, — говорил Василий. — Варвара Петровна уже ждет...

Слушала она не совсем внимательно. Еще вчера он говорил, что завтра поедет в подшефный колхоз за текстильщиками.

«Вот он увидел теперь нас обонх, — думала она. — Что

же дальше? Будет приходить еще и еще, пока...— Ей стало немного страшно, в то же время томительно приятно от той неизвестности, которая ее ожидает, если она и дальше станет встречаться с Василием.— Боже мой, неужели я смогу... так же, как с Григорием?..»

— Там председатель чудной, в этом колхозе.

— Что? — отгоняя мысли, переспросила она.

— Кажется, тронутый малость.

— Больной.

— Нет, просто замысловатый. С такими выкрутасами говорит, что не сразу догадаешься что к чему. Однажды Варвара Петровна сцепилась с ним.

— Ваши что, каждый год ездят в колхоз?

— Да. Только не пойму эту нужду. Свое дело бросаем, едем к подшефным работать. А колхозники дома или на базаре. Вот мы им киноустановку подарили от цеха — другое дело. Лектора послали, тоже правильно. Тарную ткань в неурочное время изготовили — помощь. Но полеводы из нас неважные.

— Кто там председателем?

— Забыл фамилию... этот... Кривошеин. Афанасий Петрович.

Она отвернулась, сорвала дикий цветок, похожий на щетку для чистки ламповых стекол. Смутная тревога охватила ее: Василий, наверное, слышал что-нибудь и о ней, о Татьяне? Вряд ли ее уже забыли в колхозе. Но он перевел разговор на другое. Новый цех будет строиться, комбинат станет выпускать панбархат, какие-то еще хорошие материи.

— Куда это Лена ушла? — спохватилась Татьяна.

— Вон она, в кустах,— показал Василий.— Сейчас я ее обрадую.— Он открыл баул, вынул большую бархатистую розу.— Специально принес! — Поднялся, отошел в сторону, крикнул: — Лена! Иди сюда! Что я нашел!..— и подал, радуясь не меньше нее чудесному цветку.

Часы показывали половину второго. Василий предложил перейти с поляны в тень кустарника. Там он открыл баул, достал газету, расстелил и выложил целый ворох еды: холодное мясо, огурцы, помидоры, кусок жареной рыбы, пару французских булочек, пачку печенья. За каждым движением руки, голова Лены склонялась к баулу, провожала глазами содержимое, пока не появилась плитка шоколада, конечно, предназначенная только ей.

— А вы сказали: здесь инструменты!

— Да, Лена. Особые, для ремонта желудка.

— Зачем это! — проговорила Татьяна. — Есть еще не хочется.

— Как на полевом стане, — сказал Василий. — Будьте хозяйкой, Таня. Извините, я просто по имени называю вас.

— Зовите как вам хочется.

За едой ей с особой отчетливостью вспомнилась деревня: летний полдень, поле, треск кузнечиков, полынная горечь во рту. Торопливый обед. Бывало, вот так же, заскочит Григорий, сядет рядом... Деревня помнилась всегда, как первая любовь, стоило лишь о ней подумать. Только сегодня память была не так грустна, как прежде. Вот еще встретимся раза два-три, подумала она. Просто так, как вчера, как сегодня. Договорим остатки разговоров — о погоде и Варваре Петровне, может, о ежике: как он живет у Лены, не убегает ли, — и Василий скажет: я люблю тебя, Таня! Или: ты мне очень нравишься. Но разговор непременно подойдет к этому.

В термосе нашлось несколько стаканов чаю, и обед завершился блестящим образом. Прохлада и чистый воздух потянули Лену ко сну. Сначала она прижалась к плечу Василия, затем склонила голову. Веки ее отяжелели и поднимались с трудом. Он высвободил руку, положил голову Лены к себе на колени. Она уснула тотчас.

Татьяна вздохнула. «Если что-то между нами произойдет большее, — подумала она, — то произойдет это скоро. — И устыдилась собственной откровенности. — Нет, нет, нельзя, к чему все?..» — «Тогда надо расстаться, — отвечал ей внутренний голос, — не тянуть канитель». — «Но как расстаться? Обречь себя на одиночество? На общество Дарьи Ивановны или утомительно надоедливой соседки?» — «Решай сама, — отвечал голос. — У тебя есть муж. Он верит тебе». — «Мужа не будет три года! — возражала она. — Три года, день в день. Это слишком долго, когда человеку двадцать пять лет. К тому же был ли он честен по отношению ко мне? Ни в одном письме не набрался смелости признаться: виновен или осужден безвинно. Люди думают, что это ей безразлично. Совсем нет. Далеко не так, как кажется со стороны». Она не замечала, что спором с самой собою готовит себя к чему-

то иному. К хорошему или плохому, пожалуй, станет ясно позднее.

И Лена. Вот она спит на коленях у Василия. Ей хорошо. Она сразу же привязалась к нему, еще на улице. Ежик помог тому, — даже определенно! — но ребенка не обманешь, особенно Лену. Ее не заставишь смотреть на кого-либо влюбленными глазами. Пусть ей будет хорошо.

Это опять было оправдание самой себя. Она взглянула на Василия. Большая голова его со вьющимися волосами склонилась над Леной, словно он прислушивался к ее дыханию. Вынырнув из-за поворота, с шумом пронесся пассажирский поезд. Но ни Василий, ни Лена, казалось, не слышали его грохота.

— Как вы хорошо устроились!

— Садитесь рядом, Таня, — шепотом ответил он.

— Нет, не хочу мешать.

Все же она подвинулась к ним. И подумала, что с удовольствием сама легла бы вот так, головою на колени.

Тень кустарника защищала их от солнца. Треск кузнечиков в траве, бестолковое чириканье и посвист напоминали о чем-то далеком и безмятежном. О чем думает сейчас Василий? — пришло ей в голову. — Что бы он сказал о ней, о Лене, если бы он мог открыто сказать все, что думает?

— Давно она болеет? — спросил он, имея в виду Лену.

Татьяна рассказала, когда и как это случилось.

— Вы советовались с докторами?.. Может, следует положить ее в больницу. — Ей показалось, что в словах его тайный намек: мол, если бы Лена была в больнице, то они могли встречаться свободнее, не связанные ее присутствием. Она снова напрягла внимание, что он еще скажет? — Надо подумать о ее будущем, — проговорил Василий. — Вырастет, станет девушкой...

Да, конечно. О будущем нельзя не думать. Лена лечилась, но теперь Татьяна не знает, с какого конца хлопотать об устройстве в санаторий. Больница ей не нужна, у нее не просто травма, а очень затяжная болезнь. Только санаторий: на год, а то и на два. Некоторые дети там по пять лет лежат.

— Давайте посоветуемся с Варварой Петровной, — сказал он. — Варвара Петровна все ходы и выходы знает. Она у нас в цехе главная по профсоюзным делам.

- Я у вас не работаю.
- И что же?
- Значит, ей не к чему моя беда.
- Вы еще не знаете Варвару Петровну!

Тяжелый хрип товарного поезда оборвал разговор. Им не видно было ни паровоза, ни состава, только слышался беспорядочный лязг и стук, не меньше минуты, словно вагоны не бежали, а прыгали на одном месте. Вероятно, состав был длинным. Шум поезда разбудил Лену. Не открывая глаз, она протянула руку и попыталась обнять Василия за шею. Потом открыла глаза, удивленно посмотрела на него и рассмеялась.

- Пора домой,— сказала Татьяна.
- Давай еще побудем здесь,— попросила Лена.
- Мы и так долго гуляем.
- Дядя Вася тоже пойдет с нами?

Татьяну поразил вопрос. Как быстро она привыкла к нему. Такая нелюдимка и вдруг привязалась словно к отцу.

- Дядя Вася пойдет на работу.
- А ты, мам?
- Я буду дома, с тобой.
- А он придет к нам после работы?

Татьяна рассмеялась от такой настойчивости:

- После работы он ляжет спать. Будет уже ночь.
- А завтра?

Вмешался Василий. Ему не хотелось огорчать девочку и он сказал, что завтра придет, если Лена так хочет. Только придет поздно, после работы, часов в шесть вечера. Это еще не совсем поздно, будет светло и они успеют погулять. Захочется — сюда придут, или в кино отправятся. А в следующее воскресенье хорошо было бы поехать к реке. Вода прохладная, чистая, как воздух, в воде рыба плавает. Удастся поймать несколько штук, тогда они уху сварят, настоящую полевую! Такой ухи дома никогда не сделаешь.

— Все, уговорили! — смеялась Татьяна. — По глазам вижу.

- А где ежик? — вспомнила Лена.
- У Степана. Вернемся, он принесет его.
- Он добрый, мальчик Степан?
- Добрый, — кивнул Василий.

Он нес ее на плечах почти до площади, испытывая

радость от того, что день прошел хорошо, что знаком теперь с дочерью Татьяны. Он тоже думал, к чему все приведет, если они станут и дальше встречаться. Татьяна не знает, что у него есть невеста, что на новый год намечена свадьба, и он готовился к ней, пока не встретила Татьяна. Теперь трудно гадать, что будет дальше. Он уже дважды солгал невесте, вчера и сегодня, будто бы занят срочными делами, а сам уходил повидать Татьяну. И снова будет лгать, завтра и послезавтра, в среду и четверг, в пятницу и субботу, если Татьяна позволит приходить к ней каждый день. А в воскресенье придумает новую увертку, раз договорились поехать к реке.

Он не любил лжи, даже самой маленькой, и теперь не узнавал себя. Шагая с Леной на плечах, Василий думал: любил ли он свою невесту так беспокоило, с таким глубоким уважением, с каким идет на свидание с Татьяной? И любовь ли это, что ведет его к Татьяне? Может, увлечение? Но ведь он думал о ней несколько раз после того как она оказалась неожиданной попутницей в машине. Особенно когда Варвара Петровна как-то сказала: «Интересно, как у этой бабы жизнь повернулась, что ехала зимой с нами». Он сразу понял, кого имела в виду Варвара Петровна. Теперь он знал, как повернулась жизнь. Эта женщина шла рядом с ним, немного усталая.

Да, какое-то время он еще и еще будет лгать невесте, что подвернулись новые срочные дела, а сам спешить на свидание. Пока не станет нужным лгать. Пока не скажет ей обо всем прямо и честно. Или пока не расстанется с Татьяной. Он уже преступник, еще не уличенный, пользующийся доверием, но преступник передобен.

— Вот мы и нагулялись,— проговорила Татьяна, когда Василий снял Лену с плеч.— Скажи дяде спасибо.

— Завтра встретимся.

— Я до двух работаю. К шести мы с Леной выйдем к магазину. Будем ждать.

День тревог и радостей подошел к концу. Новый жилец в доме Дарьи Ивановны чувствовал себя превосходно. Ежик выбрал место под столом, в кухне, в самом углу, на куче старых тряпок.

Уснула и Лена, прижимая к груди увядающую розу.

Что же будет дальше?— снова подумала Татьяна.

Дарья Ивановна не затрудняла себя подыскиванием подходящих выражений:

— Гришку Безрукова попом к нам назначили. Прихожу в церковь, смотрю: батюшки Михаила нет. Вместо него этот недоносок чахоточный — Гришка!.. Отец Григорий! Тьфу, — сплюнула сердито, — чтоб ты сдох! На нет пошла православная вера, раз уж гришки в попы поопределились.

— Что ты на него так осердилась? — спросила Татьяна.

— На Гришку-то? Господи помилуй, да я бы его поганой метлой из божьего храма поперла, будь моя воля! Я его, сопляка, с пеленок презираю. Другие в школах учились, а он курей по соседям воровал. С виду чистый тухля, не подумаешь. А как ночь — шнырь по дворам. Такую штуку отчебучил, собака, любой какой ученый не сообразит. Возьмет удочку, на крючок червяка или кусочек мяса, просунет крючок в забор и ждет. Куры-то дурные: цап приманку. А Гришке это и надо. Подтянет на шпагатине курицу к забору, свернет шею и за пазуху.

— А она пусть бы клюнула его! — вставила Лена.

— Ого, клюнь! Во рту-то крючок! Не больно расклевешься.

Татьяна хохотала. Неплохая житейская практика была у новоявленного священника. Чего доброго, он и для верующих приспособит что-нибудь, вроде крючков. Пришла старуха, бац! — и попалась.

— Смешно тебе! — ворчала Дарья Ивановна. — Ноги моей не будет в церкви, пока этот недоносок там командует. — Прошла к плите, передвинула с огня чайник, закрыла кружками отверстие. — Гришка — поп! — холера ему на голову. Что в торговлю, что в церковь подбирают: редко дельный человек попадет.

Она налила в большую эмалированную чашку кипятку, разбавила его холодной водой, пододвинула посуду.

— Тебе мыть блюда, — сказала Лене, — а мне тарелки. Привыкай.

Дарья Ивановна специально тянула время, чтобы Лена закончила работу вместе с ней. За работой они постоянно разговаривали, как равные, занятые общим делом.

— Бабушка, а какой он бывает поп?
— Известно,— знающе ответила Дарья Ивановна,— волосатый.

— Весь?

— Чего же весь: на голове, да на бороде. Косы, как у тебя.

— С бантиками?

— Бантиков нет. Просто космами.

— Заплел бы!

— Нельзя ему заплетать... Держи блюдо вот так, а то выскользнет из рук. С нижней стороны тоже хорошо промывай. Ставь, пусть вода стечет, потом вытрешь.

Татьяна обратила внимание, что Лена, делая два, три шага, не берет костыль. Прихрамывает на ножку, но держится на ней. Конечно, это были заботы Дарьи Ивановны. В отличие от малоподвижной бабки Герасимихи Дарья Ивановна постоянно водила Лену за собою. Вместе поливали во дворе цветы, копошились на грядках, подметали двор, мыли посуду. Лена уже знала, какие огурцы рвать рано — если на них еще есть пушок, какие могут переспеть, стать жесткими, невкусными — гладкие, с желтизной и засохшим цветком на кончике. Знала, как подвязывать на палочки ветви помидор, как протереть посуду, чтобы она сверкала как новая. Все чаще она вступала в разговор, не отмалчивалась, как раньше, и если бы ей опять пришлось оставаться дома одной, она, вероятно, скучала бы.

— Так с кем вы опять сегодня ходили?

— С дядей Васей, бабушка.

— И вчера с дядей Васей и сегодня!

— Он хороший!

— Наверно так, что вас обоих тянет к этому дяде Васе,— с улыбкой взглянула на Татьяну.— А меня возьмете следующий раз?

— Возьмем! — заявила Лена.

— Когда вы опять к нему пойдете?

— В воскресенье. На речку поедем.

— Не говори глупостей,— остановила Татьяна.— Может, никуда не поедем. До воскресенья еще много дней.

— Все равно поедем. У него своя машина, вот!

— Что он шофер, что ли?

— Нет, водитель. Сам сказал.

— Ага! Водитель, а не шофер. Смотрите, как бы этот водитель не увел вас куда-нибудь.

Тайна раскрывалась. Но Татьяна не боялась. У нее есть добрый знакомый, что же из этого? Она ведет с ним себя так, как со всеми. Как, положим, с добряком поваром Акопом Ивановичем. Могут же быть у нее знакомые?

...Она по-прежнему настойчиво оправдывала себя.

Глава четвертая

1

— Я специально зашел пораньше,— почему-то смущаясь, говорил Василий встретив ее у выхода из закуской.— Вас хочет повидать Варвара Петровна. Я рассказал ей о вас и о Лене тоже. Вот и пропуск в комбинат. Вы же никогда не были в нашем комбинате. Сейчас половина третьего, смена оканчивается в четверть четвертого. Успеем захватить Варвару Петровну на работе.

Накануне они улаживались как-нибудь выбрать время навестить Варвару Петровну и посмотреть комбинат, но Татьяна не ожидала, что это произойдет так скоро.

— Обязательно сегодня?

— Что вы! Когда угодно. Но лучше сегодня.

— Вы что-то скрываете, Василий.

— Что я могу от вас скрывать?

Она пристально посмотрела на него:

— Все же вы что-то скрываете.

— Ничего!.. Впрочем, я завтра должен уехать. Ненадолго. Может быть, всего на несколько дней.

— Далеко?

Он не ответил сразу.

— Не говорите, если это секрет.

— Я скажу вам позже, хорошо? Давайте сначала сходим к Варваре Петровне.

— Давайте сходим,— согласилась Татьяна.

Они вышли на площадь, свернули в улицу, которая упиралась в железнодорожное полотно, подошли к переезду. Солнце высушило траву на насыпи, пятна мазута на рельсах и шпалах покрылись пылью и, казалось, все —

землю, рельсы и шпалы прихватила ржавчина. Дальше путь лежал вдоль забора из бетонных плит, только в другую сторону от места их прогулок. Машины через переезд ходили редко, дорога была в старых выбоинах. Куда же он собирается ехать? — думала Татьяна, шагая следом за Василием по пыльной траве. От бетонных плит несло жаром, словно они только что были сняты со сковородки, на которой их испекли, и поставлены в нескончаемую линию. — И надолго ли? — Этот вопрос показался более важным, чем первый. — На неделю, на две? — Ей почему-то стало страшно: вдруг Василий уедет и не вернется? В жизни все может быть. Нет, она не рассчитывала, что он всегда будет здесь, в городе, но и то, что он может уехать, не приходило в голову.

— Скажите здесь о своем секрете.

— О чем, Таня? — приостановился он.

— Вы же собираетесь в дорогу!

— Да. Уборочная началась, десять машин комбинат направляет в Целинный край.

— Вот как! — проговорила она разочарованно. — Какой же это секрет?

Он не хотел говорить, что командировка выписана на месяц, что по всей вероятности, как было в прошлом и позапрошлом годах, шоферов могут оставить еще на полмесяца, а то и больше. Это же хлеб. Но зачем заранее гадать. Может, удастся вернуться и через две недели.

— Вы меня будете ждать, Таня?

— Конечно! — поспешно ответила она.

Жар от земли и солнца дурманил голову, казалось, что Василий уезжает сейчас, через несколько минут и она идет его провожать. Что же он не скажет, как думает сообщить о приезде, неужели не догадается прислать письмо или телеграмму. Знает ли он ее адрес, помнит ли номер дома?

Если бы не командировка, думал он, мы могли побыть в комбинате позднее. Тем более, что Варвара Петровна сегодня занята после работы и без особого настроения отнеслась к встрече с Татьяной. Но он не мог отложить эту встречу. Он уезжал. И вдруг, возможно, когда он будет где-то возить зерно, Татьяне потребуется помощь. Мало ли что может случиться.

Стена, наконец, окончилась. Василий провел Татьяну в молодой скверик, откуда уже была видна площадь.

фонтан в центре, несколько величественный фасад одного из зданий комбината.

В представлении Татьяны текстильный комбинат должен был походить на завод, может, без высоких закопченных труб, но обязательно с серым асфальтом голого двора, местами заваленного кучами мусора, деталями машин, со специфическим запахом в воздухе. Ее поразили просторный двор с огромным цветником в центре, строй акаций вдоль корпусов, больничная белизна стен, удивительная чистота, словно рабочие специально приходили сюда посменно ради того, чтобы протирать окна, поливать деревья и цветы. Свет неоновых ламп, когда она с Василием вошла в цех, окончательно перечеркнул прошлое представление о комбинате. Она остановилась в дверях, как первоклассница, впервые увидевшая настоящую школу, настоящий класс, учителя — не смея сделать и одного шага. Это чувство не покидало ее долго, как перенесенная болезнь, окончившаяся сложной операцией.

Смена подходила к концу. Татьяна не сразу разглядела среди женщин Варвару Петровну. Скорее узнала ее по голосу — грубоватому, решительному.

Она подошла сразу же, как только увидела Василия и Татьяну. Улыбаясь, крепко пожала руку, спросила:

— Как оно, Танюха?

— Ничего, Варвара Петровна.

— Вижу, не падаешь духом. Давай зайдем, — показала на дверь в перегородке.

Это была, судя по обстановке, конторка мастера цеха. Стол, два стула, лампа под серым металлическим абажуром. Портрет на стене. На столе кучка бумаг, бухгалтерские счета. Телефон.

— Покурить хочу, — кивнула на стул, приглашая садиться. — Неудобно на людях, хотя все знают мою болезнь. Садись, Танюха, в ногах правды нет. Рассказывай, у меня пятнадцать минут в запасе. Потом на партбюро побегу.

— Живу. Устроилась.

— Слышала. В пивнушке где-то? Ненадежная работа.

— В закуской, — сказала Татьяна.

— Все равно. Уважаю только настоящий рабочий класс.

— Кому-то, — вступился Василий, — надо и питанием заниматься. Ты не права, Варвара Петровна.

— Смотри-ка! Защитник объявился. Сходил бы лучше сифончик воды принес, чем в наши разговоры вмешиваться.

Василий вышел.

— Насовсем в город? — спросила она, и в голосе прозвучало участие.

— Не знаю, — призналась Татьяна.

— Деревню бросила, понятно. Надо здесь вставать на ноги. Ну год, два на побегушках, по закусочным, а дальше? Без мужика паршиво жить. Всякий дурак на тебя будет виды строить, хоть он, может, не стоит и пальца твоего. По себе знаю... Во всем у нас для женщин равноправие, а в этом деле так мы и остаемся бабами. — Поднялась, прошла из края в край конторки. Снова села. — Помню, получила похоронную, думала, конец мне: двое детишек на руках, а я слесарем на заводе — пятьсот рублей в месяц. А булка хлеба на базаре — сто пятьдесят рублей: проживи, попробуй! Продавать нечего, вся одежда на себе... — и неожиданно улыбнулась: — Черт знает как вытерпела. Детей вырастила, сама в люди вышла. — Она загасила папироску, поправила на висках волосы, снова стала такой, как видела ее Татьяна первый раз, по-мужски независимой. — Не падай духом!

— Зачем же падать! Проживу.

Василий принес сифон с водой. Варвара налила стакан, отпила несколько глотков. Заторопилась:

— Спасибо, что зашла, теперь знаешь дорогу. И вот что скажу. Бросай к лешему закусочную, иди к нам. — Протянула руку: — Поработаешь, присмотришься, специальность приобретешь. Подумай. Проводи, Василий, гостью, я в партком побегу. Бывай, баба! Жаль, нет времени толком поговорить. Увидимся еще.

— Обязательно, — радостно ответила Татьяна.

Сегодня Варвара Петровна показалась ей другой. Не потому, что она была в серой юбке из тонкой шерсти и белой кофточке, что на кофточке был приколот значок депутата Верховного Совета. Она казалась выше многих других. Не ростом, не общественным положением, не местом в жизни, а своей духовной силой, человеческим достоинством. Было приятно, что Татьяна знакома с таким человеком, может запросто зайти, поговорить. Однако общение требовало, чтобы и другие были выше, если хотели быть с нею рядом. Знала ли она об истинных

отношениях между Татьяной и Василием? Скорее всего — нет. Как бы она отнеслась к этому?.. Собственно, у них нет никаких отношений, так просто...

— Я буду ждать вас в девять. У магазина.

— Хорошо,— машинально ответила Татьяна.

Бетонные плиты упрямо хранили дневной жар и теплелись, словно печь, длиною в полкилометра.

— Шмакодявка к тебе приходила,— сказала Лена, как только Татьяна вошла в комнату.

— Не смей так говорить! — неожиданно вспыхнула она.

— Бабушка так...

— Ты еще не бабушка и не повторяй, что говорят взрослые.

— Хорошо, не буду. Гулять пойдем, мам?

— Нет.

— Ты же обещала!

— Мало ли что я обещала!.. Некогда сегодня.

— Весь вечер будешь дома? Тогда прочитай мне письмо от папы.

— Завтра.

— Завтра на реку поедem! — упрямылась Лена.

— Никуда не поедem.

— Мы договорились с дядей Васей!

— Сказала не поедem — и все!.. И вообще дядя Вася тебе не товариш. Подумаешь, друг нашелся. — Откуда появилось дурное настроение, она не понимала, но сдерживать себя не могла.

Вошла со двора Дарья Ивановна. Кажется, она слышала последние слова. Может, и нет. Но сердитый голос Татьяны определенно слышала. И спросила:

— Ты на работе задержалась?

— Да,— буркнула Татьяна.

— Я заходила в закусочную в половине четвертого. И снова вышла во двор, гремя пустым ведром. Она приходила как бы специально уличить Татьяну во лжи. Одной короткой фразой, ничего не значащим на первый взгляд вопросом.

2

— Ты сегодня вечером куда идешь? — с редким безразличием спросила Дарья Ивановна.

— Не... знаю.— Она хотела ответить: нет, чтобы успо-

контъ ее, но это значило бы отказаться от встречи с Василием. А он завтра уезжает!

— Старуха у Митревых плоха, посидеть у нее хотела. Совсем плоха, сегодня или завтра преставится.— В голо-се было прежнее безразличие, словно разговор шел о дожде или сильных заморозках, прошедших где-то сто-роной и известных по радио.

— Пойди, побуду я,— сказала Татьяна. И подумала: выйду к нему минут на десять, Лена одна посидит. Уедет — все вечера придется дома проводить. Никто не станет придирааться.

— Схожу,— вдруг твердо проговорила Дарья Ива-новна и стала собираться.

Два часа тянулись утомительно долго. Чем ближе подвигалась стрелка к девяти, тем больше ее охватывала тревога: придет ли? Она так хотела увидеть его, словно он был единственным близким человеком на всем свете. Случайно она уловила, что Лена смотрит на нее слишком пристально. Потом увидела, что так же пристально, быть может, осуждая ее, смотрит с иконы неизвестный святой. Но сегодня Татьяну не могли остановить ни люди, ни бог.

Лену уговаривать не пришлось, она согласилась по-быть дома одна. Татьяна торопливо открыла калитку и замерла от неожиданности: на тротуаре стояла Дарья Ивановна. Она не спросила Татьяну ни о чем, ничего сама не сказала; услышав стук калитки, обернулась, про-шла мимо, глухо стукнула запором.

«Пусть, пусть,— с яростью подумала Татьяна,— пусть молчит, пусть думает что угодно, я не обязана отчиты-ваться за каждый шаг...»

Василий заметил в ней эту решительность, когда она подошла и непривычно смело сама взяла его под руку, повернула за угол магазина, к полотну железной дороги. В ней было что-то нервно-веселое, как в тот вечер, когда он возвратился из подшефного колхоза, три дня не видел ее.

— Какой хороший вечер! — сказала Татьяна, хотя ве-чер был похож на десятки прошедших.— Вам нравится?

— Да, очень.

— Что еще нравится вам?

— То, что мы вместе.

— Вы не думали: вдруг я не приду?

— Не думал,— признался он не совсем убежденно.

- Если бы вы не уезжали, я бы не пришла.
- Никогда? — его удивила ее откровенность.
- Не знаю. Но сегодня определенно.
- Я все равно ждал бы вас, хоть до утра.

Вечерняя тишина настороженно прислушивалась к стуку их шагов. Сумерки настойчиво смывали краски дня. Они молча дошли до места, где в зарослях придорожного кустарника пряталась поляна, и мелкий гравий, осыпаясь под подошвами башмаков, помог им спуститься с железнодорожного полотна.

— Будем молчать? — спросила она, садясь на траву.

— Я завтра уеду, Таня, — ответил он. — И стану вам только писать.

— А когда вернетесь, эта поляна уже покроется снегом. И мы не сможем сюда прийти. А может, кому-то из нас просто не захочется приходить, хоть и не будет снега.

— Таня! — он сжал ее руку. — Мы придем сюда, и не раз! Мы будем часто приходить — летом и зимою, когда вздумается... Знали бы вы, как я хочу приходить сюда.

Он еще что-то говорил, она плохо слышала. Слова доносились частицами звуков. Было понятно одно: все говорилось только для нее. Она ждала этих слов, именно этих, вызывавших странное бессилие. Они укачивали, словно волны рыбацью лодку, и когда он стал целовать ее, она приняла это как продолжение сказки о любви — с жадностью и отчаянием. Ей хотелось смеяться, кричать, и удивлялась, что еще хватало сил сдерживать себя... Падая на траву, Татьяна увидела звезды. Они мерцали прямо перед лицом, удивительно далекие и непонятные.

...Вот и все, устало подумала она, закрывая дверь. Еще один станет присылать мне письма.

Постель была помята, словно кто-то спал на ней. Когда она легла, ей стало стыдно и больно от отвращения к самой себе.

3

Духота обволакивала плотной невидимой завесой. Спертый воздух вызывал тошноту. Хотелось встать, сорвать с окон темные тряпки, распахнуть створки, выгнать назойливо липнущих мух.

Голос проповедника доносился до Татьяны глухо, словно он с трудом прорывался сквозь духоту:

— Истинно сказал господь наш, напутствуя грешных детей своих в жизнь земную: бойтесь мирских соблазнов, не поддавайтесь похоти и страсти, любите друг друга как братья и сестры, и благословение снизойдет на вас в мире счастья и радости царствия небесного... Внемлите словам, сказанным богом устами Матфея: «Не всякий, говорящий мне «Господи! Господи!», войдет в царствие небесное». Молитесь и угождайте богу всей земной жизнью. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас...

Глаза проповедника Кондратия — темными пятнами на худом бледном лице,— смотрели не мигая; блуждающий взгляд, казалось, проникал сквозь одежду, стараясь отыскать на душах молящихся пыль скверны. Кто-то всхлипнул и тут же ответно раздался громкий плач.

— ...кто пребывает в любви божьей, тот пребывает в боге, и бог в нем...

Женщина слева от Татьяны резко вскинула голову, метнула вперед руки, словно отталкивая кого-то невидимого, и, внезапно обмякнув, сползла со стула, грузно упала на пол. Керосиновая лампа теплилась жиденьким желтым светом, но Татьяна отчетливо видела мертвенно бледное лицо женщины и полуоткрытый рот. Ей стало страшно от мысли, что женщина умерла, но не было сил подняться, помочь, вынести ее на свежий воздух. И, что еще больше поразило Татьяну,— никто не поднялся, не взглянул, словно ничего не произошло, хотя многие слышали, как она падала. Теперь уже плакало человек пять, не скрывая слез, дергаясь, словно от невыносимой боли.

— Поля!.. Полина,— зашептала Татьяна соседке,— давай вынесем... Посмотри...

Соседка не слышала ее. Она тоже начала вздрагивать, бормотать совершенно непонятные слова. Тогда Татьяна вскочила, но тяжелая мужская рука, протянутая из духоты и полумрака, до боли придавила плечо:

— Сядь, сестра. Авдотья с богом разговаривает.

Татьяна в страхе обернулась. Рука принадлежала полнотелому мужчине с коротко подстриженной густой бородой. Его лицо не было бледным, как у остальных, и в глазах светилась хитрость.

— Умереть может,— попыталась возразить она, чув-

ствуя, что мужчина не даст ей больше встать, пока не окончится моление.

— На все воля божья,— ответил он, как показалось, улыбаясь в усы.

Она плохо понимала, сколько еще продолжалась проповедь; духота окончательно сдавила ее, пот застилал глаза. Все ее внимание сосредоточилось только на женщине, лежащей на полу: жива или нет? «Сумасшедшие... помешанные... совсем одурели. Неужто такая дикая вера в своего бога? Или притворяются?..»

После отъезда Василия Татьяна две недели не выходила из дому. Дарья Ивановна не переставала дивиться: то удержу не было, теперь совсем затворницей стала.

— Делся куда этот водитель, что ли? — спросила она, видя, что Татьяна ни минуты лишней не задерживается на работе, вечерами Лене книжки читает.

— Куда ему деваться,— равнодушно ответила Татьяна.— Сам по себе живет.

— Ссора, выходит, произошла.

— Ничего не было. Зачем он мне нужен?

— Это так, да вот был нужен.

— Выдумки все, разговоры пустые.

— Дай бог, чтоб выдумки остались. Дите у тебя, Таня.

Много раз за эти дни вспоминала она о последней встрече с Василием. То с тоской, то со внезапной злобой на себя: разневестилась, на шею бросилась мужику! Но злоба не держалась долго, таяла, оставляя каждый раз после себя пустоту. И каждый раз предстояло выбирать из этой пустоты, словно из глубокой ямы. Иногда быстро, иногда долго — когда Лена рано ложилась спать, Татьяна вволю терзала себя. Случалось, она думала и о Григории. Стыдилась, что думала редко и мало, но Григорий слишком поспешно исчезал из дум, и нужны были усилия удерживать его в мыслях.

Странно, но именно теперь собралось все, накопленное за несколько лет. Словно волна выбросила на берег то, что раньше, казалось, навсегда уносили дни и месяцы жизни. Вышла она за Григория глупой девчонкой, представляя семейную жизнь чем-то большим, светлым. Ее мечта была слишком скромной: любил бы, берег, жалел.

Она готова была платить мужу всем, на что способна любовь. Но он не рассмотрел девичьей мечты. Смеялся над ее покорностью, не замечал, как она ждала его и, часто видя равнодушие, убегала плакать в пустой сарай... Мало осталось в памяти доброго. Как-то она прочла в книге фразу: «Надо отвлечься, чтобы снова найти себя», — и подумала: прямо о ней написано, слово в слово. Но как, чем отвлечься? Сходить в кино, на прогулку с Леной? И вспомнила: сколько раз приглашала соседка послушать их песни. Так очутилась она в квартире с наглухо завешанными окнами, с бледным светом лампы, не понимая, почему это люди прячутся от света, дивясь их трудной вере.

Задышавшись, пробралась она к выходу, как только проповедник закончил говорить. От свежего воздуха закружилась голова. Пьяно держась за стену, Татьяна с трудом дошла до калитки. Понадобилось время, чтобы отдышаться, осмотреться в комнате. Это не ускользнуло от Дарьи Ивановны.

— Приболела никак? — с прежней заботливостью спросила она, подводя Татьяну к свету.

— У соседей была, — с грубоватой откровенностью ответила она, радуясь, что на этот раз ей нет нужды обманывать.

— У этих!.. — с горечью выкрикнула Дарья Ивановна. — Будь они трижды неладны! Чего тебя понесло?

Она отстранила Дарью Ивановну:

— Постой, дай воды попить... в горле пересохло. Дикари, чистые дикари, — стала рассказывать, с перерывами между глотками. — Как в кино, когда еще люди курами жили, первобытно, без разбору...

4

— Ежик — что! Мне папка обещал скворца привезти, — гордо хвалился Степан. — Пойдем, покажу клетку.

Клетка вызвала восхищение. Лена осторожно потрогала стенки из проволочной сетки, открыла дверку и заглянула внутрь.

— Он будет петь, твой скворец?

— Конечно.

— Дашь послушать?

— Сколько хочешь.

— А моя мама не будет работать в закусочной. Скоро на новую работу пойдет. За железную дорогу. Там есть большой завод.

— Комбинат,— поправил Степан.— Мануфактуру делают.

— Откуда ты знаешь?

— Я все знаю. Через неделю пойду в школу. Хочешь, покажу сумку? И книги. Ручка есть, карандаш и резинка.

— Настоящие? — прищурилась Лена, не совсем доверяя словам Степана.— Покажи!

Через несколько минут они снова вернулись к клетке. Солнце золотило свежеоструганные доски, вплетало искры света в вязь проволоочной сетки. Лена вздохнула. Ей бы такую красивую клетку! — пусть даже без скворца, просто так, пустую. Можно и кукол туда садить, как в дом.

— Куда же дядя тот девался, который ножик мне подарил? — спросил Степан.

— Не знаю,— проговорила она, все еще думая о клетке.

— Не приходит больше?

— Нет.

— А он хороший мужик. Я ему еще одну пуговицу хотел дать, со звездой. Как золотая, если потеряет о штаны. Показать? Вот, поддержи, не бойся. Я не жадный.

— Ты добрый, знаю,— кивнула Лена.— И бабушка Дарья добрая.

— Конечно, не добрее того дяди,— возразил Степан.

— Не знаю.

Заходя домой, Лена увидела, как мать быстрым движением спрятала за спину руку с письмом. Определенно с письмом, потому что в руке был всего один листок.

— Письмо, мам? — спросила она, радостно улыбаясь.

— Письмо,— ответила Татьяна. Но листок не показала. Сложила, спрятала в голубой конверт, совсем в другой, чем те, в которых присылал письма отец.— Где ты была, доченька? — в ее голосе Лена сразу распознала то доброе, которое бывало у матери при хорошем настроении. Только Лена никак не могла понять, почему мать запретила ей говорить о письме бабушке Дарье.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Глава первая

1

Осенние дожди и ветры нахлынули вольно, как солдаты на брошенные противником позиции. В сырость и слякоть погрузилась окрестность города, и хмурая шеренга голых телеграфных столбов на улице Заводской выглядела приговоренными к смертной казни.

Лене запретили выходить на улицу, и дни перед заплаканными от дождя окнами тянулись унылыми тенями из дурной сказки. Степан забегал редко, больше говорил о школе, о новых друзьях и играх, не замечая, что вместо радости доставляет Лене боль. С наступлением слякоти заболела Дарья Ивановна. Она часами лежала молча, с закрытыми глазами, вытянувшись под одеялом. Днем еще было сносно дома, но когда мать работала во вторую смену и сумеречные тени почти с обеда начинали вылезать из углов, Лена забиралась на диван и сидела, вздрагивая от неясных шумов и собственных страхов. Когда ей становилось совсем нестерпимо, она начинала думать о дяде Васе. О том, что, видно, мать виновата, не захотела поехать с ним к реке. Пожалуй, он больше никогда не придет. А река, наверно, очень красивая, и дя-

дя Вася такой большой и сильный. Сколько времени он нес Лену на себе — и хоть бы что! — даже не устал... Но дальше этого мысли не шли. Обычно их путал и уносил с собою сон.

В эти хмурые осенние дни права и обязанности капитана домашнего ковчега перешли к Татьяне. Она кормила Дарью Ивановну и Лену, стирала белье, убирала в доме. Но никогда не уставала, даже шутила:

— Подрастете, поправитесь, будете помогать мне.

У Татьяны постоянно сохранялось завидное настроение. Когда-то, после переезда из деревни в город, она была радехонька работе в закусочной, дружбе с десятком поваров и уборщиц, над которыми возвышался командиром добрейший толстяк Акоп Иванович. Думалось, что лучшего ничего и желать не надо. Теперь закусочная совершенно померкла перед новой работой на текстильном комбинате. Светлое здание, волшебное освещенное лампами дневного света, ровный гул машин, приветливые улыбки женщин — все вызывало глубокое чувство покоя, удивительное душевное равновесие. И Татьяна не скрывала радости, что была частицей этого здания, этих людей, что работала в одном цехе с Варварой Петровной, что сюда должен был возвратиться и Василий. Он слал ей письма каждую неделю. Читая их, она постоянно ловила себя на том, как не хватает ей этого человека. Вероятно, все будет хорошо, даже не столь важно, как это будет. Изредка присылал письма и Григорий. Она со смутным страхом разрывала его большей частью самодельные конверты, словно каждый раз желая узнать что-то такое, что нарушит, перевернет ее нынешнюю жизнь. Но письма постоянно оказывались обычными, даже скучными по отношению к близкому человеку. В них не было теплоты, воспоминаний о прошлом, только сухие сообщения: жив, работает, хотел бы повидать Лену. Иногда ее злили столь обыденные слова: неужели заключенным не разрешается писать о тоске по дому, по воле, по близким, или он не тосковал и чувствовал себя не так уж плохо, как ей казалось? Она не замечала, как сама разжигала в себе смутное зло на Григория; ей надо было злиться на него, чтобы оправдать себя. Раза два Татьяна читала письма мужа вслух, специально для Дарьи Ивановны, наивно надеясь найти в ней если не сообщника, то хоть сочувствующего.

Так проходили дни и недели: сначала в грусти и боли, после в самообмане, который принимался Татьяной с такой же строгостью и аккуратностью, как принимает больной по предписанию врача таблетки от повышенного кровяного давления.

Дождь шел и шел, осыпая продрогшие кусты акаций, полируя жирный от сырости асфальт во дворе текстильного комбината. Цветы в цветнике повяли, и стеклистые ручьи натаскивали сюда тысячи мутных пузырей, издали похожих на головки одуванчиков.

После смены Татьяна задержалась в проходной: переждать дождь, дожждаться короткого просвета, иначе сразу промокнешь насквозь. И пожалела, что в прошлое воскресенье не купила плащ — деньги были, и Клавдия так советовала! Ей даже показалось тогда, что Клавдия обиделась за это на Татьяну.

С Клавдией Нестеровой Татьяна подружилась в первый же день работы и именно ей была обязана тем, что скоро вошла в курс несложного дела сортировщицы, сошлась с другими женщинами. О чем бы они ни говорили, их интересы совпадали. Человеческое родство проявлялось у них само собою, без поисков и натяжек, которые неминуемо где-то проскользнули бы за месяц дружбы.

— Ты меня ждешь? — услышала она голос Клавдии.

— Нет... не знаю как добраться.

Клавдия сняла прорезиненную накидку:

— Вставай рядом, накрывайся. Добежим.

Дождь барабанил над головою, бился о тротуар, о рекламные щиты у парка, обрывая с деревьев листья, бестолково наклеивая их мокрыми заплатами на штакетник. Клавдия рассказала, что забежала в профсоюз, уплатила членские взносы. Иначе идти бы Татьяне одной.

— Ко мне зайдем! — предложила, сворачивая в улицу. — Пойдем, Танечка! Ты же давно обещала. Боты мои наденешь.

Когда-то и здесь была окраина города, и улица напоминала Заводскую: низенькие горбатые домишки стояли нахохлившись, поглядывая на мир подслеповатыми оконцами с пугливой настороженностью. Ухабистая дорога сверкала десятками луж и лужиц, тротуары осели, местами разрушились, и булыжины зло скрежетали под

ногами прохожих. Улице этой оставалось жить совсем недолго, месяца три, за ее спиною уже высились новые трехэтажные дома, давя окружающее своим величием.

— Вон в том,— остановилась Клавдия, показывая на один из домов.— На втором этаже моя квартира. С ванной, с газом! Уже полы настилают. Как раз к новому году управятся. Ох, и заживу тогда!

В конце улицы стоял длинный угрюмый барак, срубленный из бревен, с въевшимся солнечным загаром по фасаду. Сначала в нем жили строители комбината, затем барак перешел к текстильщикам. Клавдия завела Татьяну в узкий коридор, совершенно глухой, похожий на вход в бомбоубежище, смутно освещенный несколькими электрическими лампочками. Справа и слева по коридору тянулись двери. Около одной из них, где-то в конце коридора, остановились. Сухо щелкнул замок, и Татьяна вошла в комнату.

— Садись, Танечка, я чай поставлю,— сказала Клавдия.— Посмотри пока альбом. Тут такие есть фотографии...— и рассмеялась.

Татьяна успела заметить, что комната служила одновременно столовой, спальней и кухней, и боковая дверь, обитая газетами, видно, никогда не открывалась. Альбом в самом деле хранил интересные фотографии. На одной была деревня: скопище домиков под соломенными и камышовыми крышами. Сразу пришла на память Каменка: лето, жара, треск кузнечиков в траве, запах мяты. А весною — талые запахи земли, безотчетная радость при виде первых ростков, лопающихся почек. И желание: жить, жить! — долго, долго; птицей подняться над землей, кружить, купаться в солнечном разливе. Потом пасть в траву, валяться в зеленях васильков и ромашек, пьянея от солнца, хрустящего под телом разнотравья, от безотчетной любви к кому-то, тайно выношенному в девичьих сумасбродных мечтах.

— Семь лет мне было,— сказала Клавдия, вытаскивая из середины альбома фотографию.— Худюшая, кости да кожа! А это брат, в Донбассе работает... Мама; скоро приедет, как только квартиру получу... Смотри, а я быстро переоденусь.

— Что же ты засиделась,— неожиданно спросила Татьяна, глядя на голую до пояса Клавдию.

— Ты про замужество?

— Да.

— Засиделась вот, что поделаешь. Сначала все куражилась над парнями, а потом...

«Груди-то бабьи,— подумала Татьяна,— ровно у кормящей».

Клавдия не досказала, что было «потом». Повернулась к Татьяне, торопливо оделась, как бы стыдясь стороннего человека. Вроде не поставила, а сунула на стол тарелку с печеньем, сахарницу, чашки, каемчато позолоченные по верху. Села напротив, плотнее запахивая рукой отвороты халата. Но как только убрала руку, отвороты снова обессиленно упали, открывая от шеи угольник полнеющего тела.

— Мне уже двадцать шесть,— к чему-то сказала Клавдия, разливая по чашкам чай.

— Неужели двадцать шесть? — переспросила Татьяна, хотя несколько не удивилась ее словам.— А на вид не дашь. У тебя лицо молодое.— Она сказала правду. Лицо у Клавдии было свежее, со слабо проступающим румянцем на щеках. Темные живые глаза и темные жесткие волосы делали его бодрым и энергичным.

— С кем это ты? — спросила Татьяна, вытаскивая из альбома фотографию. Клавдия была снята в рост, около тумбочки с искусственными цветами — типичный снимок деревенских фотографов. Рядом сидел на стуле сухой мужчина с залысинами на голове. В руке у мужчины папироска.

— Был один, да прокис,— мельком взглянула на фотографию Клавдия.— Кандидат в ухажоры.

— Не любила?

— Его что ли?.. Не знаю. Забыла уже.

— Как же можно забыть, если любила.

Клавдия на миг повернула голову, взглянула на дверь. В коридоре слышалась возня и детские голоса.

— Душу он из меня вымотал. Два года канителились. Желю обещал бросить, и бросил бы, только слово стоило мне сказать. Да какой толк связываться... И выгнала. Раз пять приходил после, скулил у окна.

— Может, зря? — переспросила Татьяна.

— Думала зря, всякое думала. Теперь не раскаиваюсь. Чего доброго, связала бы жизнь с чучелом и сидела на приколе. Запросто.— И призналась:— Сейчас у меня хороший есть. Покажу как-нибудь. Холостой, обходитель-

ный. На Новый год свадьбу сделаем, если квартиру дадут. Договорились полностью. Не хочу я его сюда тянуть, в свою одиночку, разлюбит еще чего доброго. А в новой квартире сразу обстановку разную купим, честь по чести.

— Любишь его?

— Невозможно! Как встретимся, язык заплетается. Ужасно обходительный. Уж этого я не упущу, сама буду бегать к нему под окна, если прогонит. Я гордая, Танечка, в чем надо. Но тут через любую гордость ногами перейду.

Дождь все шел. Мокрые кустики под окном зябко вздрагивали на ветру, роняя на землю крупные дождевые слезы. Опутанные веревками для сушки белья, они походили на детей, забытых родителями на детской площадке, откуда они могли уйти только со старшими. И кустики терпеливо ждали, пугливо протягивая друг другу еще не окрепшие ветви. Татьяне тоже захотелось рассказать, что и у нее есть человек, очень хороший, да трудно гадать, что выйдет из этого. У нее же муж, дочь. Если бы раньше встретилась с Василием, без дум пошла бы за ним. Клавдия свободна, потому и счастлива.

— Ты мне никогда не говорила о своем муже,— сказала Клавдия.

Татьяна промолчала, подвинула чашку с чаем.

— Если не хочешь, не рассказывай. Кому удовольствие говорить о семейных неприятностях. Не потому, что он... там, в тюрьме, а просто... Плохо одной, понимаю. За мной тут как-то один недавно приударил. Куда там! — цветы носил, шоколадки, как министр какой. Стеснялась я его невозможно. Хоть и не нужен, а не отказывала, приятно все-таки, что кто-то около тебя вертится. В кино раза два водил. Сижу, а от него такие духи идут — фильма не видно. Все о звездах рассказывал, как лунатик. Такая звезда есть и такая; до одной миллион километров, а до другой миллион и двести четырнадцать тысяч. Уморит, думаю, своей ученостью. Однажды говорит: советуют друзья ехать ему в академию, да он отказался, из-за меня, оставить не может. Рассчитывал, что я на жалость клюну. Мне его и в самом деле жалко стало. Пропадет, думаю, ученая голова из-за бабы. Да не успела толком разжалобиться. Каблук однажды у туфля сломался, пошла ремонтировать, а около вокзала в будке мой звездочет сидит. И табличка: «Мастер по мелкому,

ремонту обуви». Ах ты, черт, такое зло взяло! Нарочно пошла вечером на свидание, как условились: не явился... Вот и верь им. Все на одну колодку, как сапоги, только размером разные.

— Он же тебя не мучил,— сказала Татьяна.— Как тот.

— Зато обманывал.

— Это другое дело.

— Одинаково.— И деланно рассмеялась неизвестно чему.— Наболтала я тебе, Танечка, целый ворох. Пей чай. Хочешь, яичницу сварганим. Давай, это быстро.

— Пойду я,— ответила Татьяна.— Дождь, пожалуй, до ночи не перестанет.

Но не встала, опять посмотрела на Клавдию, на ее полнеющие плечи, на жесткие волосы. Где-то в душе скользнуло нечто похожее на зависть: у нее все впереди, как захочет, так и построит свое будущее. И тут же другое: она еще очень плохо знает жизнь, и Татьяна не хотела бы оказаться на ее месте: в ее возрасте, в ее квартире — в этом бревенчатом бараке с неясными стуками и детской возней в коридоре. Куда лучше, когда ты уже проскочила ту ловушку, в которой немало других по незнанию ломают свои головы. Имеешь опыт, чтобы не попасть на удочку. Любовь дается с молоком матери, а осторожность вырабатывается годами.

Раздался негромкий стук. Он подбросил Клавдию со стула, мигом поставил у приоткрывшейся двери, так, чтобы Татьяна не смогла увидеть того, кто стучал. Что-то шепнув, Клавдия боком протиснулась в щель, прикрыла дверь. Татьяна пододвинула альбом, наугад открыла его где-то на середине. И отпрянула. Прямо на нее глядел Василий. Человек семь на карточке, но увидела она только его одного: в фуражке, в гимнастерке, расстегнутой почти на все пуговицы, с усталой улыбкой в уголках глаз. Пожалуй, она слишком пристально смотрела на фотографию, не заметила, как вернулась Клавдия, села рядом, положила руку на плечо Татьяны.

— На воскреснике снимались,— пояснила,— в колхозе. Помогали овощи убирать. Одни бабы, только этот вот,— ткнула пальцем на лицо Василия,— этот другого полу. Одинокая гармонь.

— Кто к тебе приходил? — спросила Татьяна, чтобы перебить разговор, не выдать, что она знает этого «дру-

гого полу». Ей не хотелось ничего слышать о Василии ни от Клавдии, ни от кого. Она хотела знать его таким, каким знала только сама.

— Сосед,— неохотно проговорила Клавдия.

— Одинокий? — неизвестно к чему попыталась уточнить Татьяна.

— Кажись, да. Не спрашивала.

— Ты с ним не знакома?

— Он живет через дом отсюда, на частной квартире. Иногда приходит в гости, когда ему скучно одному.

— К тебе в гости?

— А то к кому же, раз стучал в мою комнату.

Татьяна закрыла альбом.

Дождь еще не перестал. Но шел уже не так настойчиво, как час назад. Серое небо казалось густым и липким. Трудно было представить, что за гушей туч существует солнце; оно не показывалось несколько дней подряд, и люди начинали отвыкать от него, как отвыкает ребенок от материнской груди — с надеждой и страданием.

Шагая вдоль бесконечной бетонированной стены, серой от сырости, Татьяна думала о Клавдии. До сих пор она считала, что достаточно хорошо знает эту девушку. Но теперь ни за что не поручилась бы составить о ней какое-то определенное мнение. Казалось, сегодня она подсмотрела ее со стороны, когда та совершенно не догадывалась, что на нее смотрят. И подсмотрела не сама, а чьими-то чужими, посторонними глазами, скорее всего глазами мужчины, так ей казалось. Понятно, ничего плохого она не увидела, но чувство от встречи осталось мятым и бесформенным, как серое небо над головой.

2

Смена подходила к концу, когда кто-то за спиной Татьяны радостно воскликнул:

— Здравствуйте, Варвара Петровна!

Ей махали все ткачихи, поздравляя с возвращением. А та, что поздоровалась, маленькая белобрысая Настя Свистелкина, — до того белобрысая, что нарочно не подберешь такой краски для волос, — отважилась даже чмокнуть Варвару Петровну в щеку. Поцелуй вышел не совсем убедительный, и Настя густо покраснела от храбрости и смущения.

— Здравствуй, Танюха! — кивнула Варвара Петровна. — Жива-здорова? Я твоей дочке подарок привезла.

Несколько минут ее синяя в горошинку кофта мелькала между машин, пока Варвара Петровна не поздоровалась со всеми и снова оказалась рядом с Татьяной и белобрысой Настей Свистелкиной. Она специально пришла в цех в синей кофте и темной юбке, в обычной рабочей одежде, чтобы не выделяться среди других и не подчеркивать, что сегодня у нее еще не рабочий день.

— Хорошо в Москве, а дома лучше, — сказала она Татьяне. — Сердце, вроде, на место встало. Пойдем-ка, баба, на минутку.

В конторке она достала из сумки папиросу, закашлялась от дыма.

— Живешь-то как? — спросила, с трудом выговаривая слова, стараясь перебить кашель.

Татьяна пожала плечами: как она живет? По-старому.

— Не жалеешь, что перешла сюда?

— Что вы, Варвара Петровна.

— Кто тебя знает. Костеришь, поди, меня в душе, только сказать не хочешь. Там было, наверное, веселее, в закулочной: народ целый день, работа рядом с домом... Какие-то гадкие папиросы попались, — сунула в пепельницу, достала другую, раскурила. — Не влюбилась еще? — взглянула с улыбкой.

— В кого бы это? — пожалуй, более торопливо, чем следовало, ответила Татьяна, почувствовав, как загорелись уши.

— В людей влюбляются, не в верблюдов, — спокойно возразила Варвара Петровна. — И уточнила: — В мужиков.

— Зачем мне!

— Затем, зачем и остальным всем. Одной-то ой как плохо! Почти двадцать лет одна грею постель, имею понятие.

— У меня свой есть.

— Свой — когда под боком. Протянул руку, тепло идет... Дочь здорова? Медведя я ей привезла. Забавный мишка, большой такой, красавец. В середине маятник что ли, или пружина: поставишь, а он головой качает. И рычит. Ходила, ходила по магазинам, ничего путящего из игрушек. Как из камня сделаны.

— Зачем вы беспокоились!

— О тебе, что ли? — грубовато перебила Варвара Петровна. — О ребенке. Когда ее день рождения, в субботу? — И, поймав утверждающий кивок Татьяны, тепло улыбнулась: — Не забыла. Боялась спутать со днем рождения своей дочери. В Свердловске она, в университете, грызет науку. Большущая стала, ужас!.. В отца. А голос мой, твердый. Муж только ростом вышел, телом, а говорил, как баба, по-сорочьи.

Она не заметила, как на юбку скатился пепел, серой кляксой на темной материи. Когда она поворачивалась и свет от настольной лампы падал на лицо сбоку, Варвара Петровна казалась еще очень сохранившейся. И красивой.

— Вот что, Танюха. Несколько раз за дорогу приходила ты мне на память. Ходила по Москве и думала о тебе. Что-то взбрело в голову. Сажу на заседании Верховного Совета и думаю: бабу бы мою сюда! Посмотрела бы хоть, какие на свете дворцы, правительство глазами бы своими увидела! По Кремлю побродила! Каждый камень под ногами — целая история. Ленин при жизни ходил по этим местам, понимаешь? Владимир Ильич. А теперь мы, депутаты, ходим. Из самых разных мест люди, просто удивительно. И с севера, и с Кавказа, с Балтийского моря, откуда угодно... Здорово у нас жизнь человеческая организована. Молодой бы сейчас, лет двадцати, чтоб на полную силу поработать! — и сама над собой усмехнулась за несбыточную мечту. — Так вот что я думала о тебе. Сначала нашла тебя, помнишь, на дороге? Подвезла до города. Потом сюда затянула. Теперь надо до ума доводить. Так что ль?

— Дойду как-нибудь, — на всякий случай ответила она, не совсем понимая, о чем говорит Варвара Петровна.

— Сама дойдешь? Это сложная штука.

— А куда идти-то? Все пока... благополучно, — другого слова ей не пришло на ум, но, кажется, оно соответствовало разговору, подумала Татьяна.

— Учиться тебе надо, баба. Специальность иметь. Не век же мыть посуду да сортировать пряжу! Хочешь быть ткачихой? — и сама улыбнулась, видя как посветлело лицо Татьяны. — То-то! У меня вас трое осталось в цехе непристроенных. Тебя надо профессии научить, Клавку Нестерову замуж выдать, а Раису Павленкову в институт

определить, на заочное отделение. Инженером сделать. Толковая девка, золотая. Еще одна, правда, есть, да ума не приложу, с какой стороны к ней подступиться. Полина Кондова. Уборщица наша.

— Знаю ее.

— Где-то на твоей улице живет.

— Рядом со мной!

— О ней разговор. Баптистка, понимаешь, сектантка она. Никакого к ней подступу нет, как заколдована. Страшной веры человек. Работает хорошо, а так — деревянная. Уж на что Любка Ненашева, сколько крови мне испортила, и то я ее уломала. Сейчас какая хорошая ткачиха. А с этой Полиной — хоть кол у нее на голове теши, слова не вымолвит. Не иначе как вредительская вера у баптистов. Сегодня на работу не вышла. Узнай, что там с нею приключилось, рядом ведь живешь?

Татьяна охотно пообещала.

— Давай, Танюха, берись за учебу. В школу по годам поздновато, прикрепим в порядке индивидуального ученичества. К Клавдии Нестеровой или к Любе Ненашевой. — И решила: — Лучше к Клавдии. Ты с ней ближе знакома, чем с Любой.

— Да.

— Договорились?.. Правильно, баба, все правильно. С Клавдией я сама потолкую. Скоро она замуж выйдет, семьей обзаведется.

Разговор прервали. Варвару Петровну разыскивал директор комбината и она наскоро попрощалась, успев лишь сказать, что мишку Лене принесет сама, в день рождения. Пусть Татьяна ждет ее в гости. Готовить ничего не надо, лишь бы блины были, она их так любит.

В цех вошли сменщицы, можно было собираться домой. Татьяна подошла к станкам Клавдии. Остановилась, нерешительно положила руку на пусковой рычаг, словно ей самой предстояло сейчас остановить машину, передать сменной ткачихе. Неужели она когда-то станет вот так, как Клавдия, как Люба, как Настя Свистелкина, как все эти женщины, переодевающиеся сейчас в бытовой комнате, и будет смотреть, как нарастает и нарастает лента полотна, научится молниеносно завязывать узлы на обрывах, как это делает Варвара Петровна. Легкий озноб прикоснулся к ее спине от этих мыслей, а в душе было странное ликование.

Всю дорогу в голове крутились обрывки мотива какой-то давно забытой песенки, и Татьяна бесконечно повторяла их с настойчивостью прилежной ученицы детского хора.

Ко всему прочему дождь уже не шел. Он выдохся где-то сразу после обеда, так и не сумев вылить на землю запасы воды. Ветер разогнал тучи, хотя небо по-прежнему оставалось пасмурным; на западе все отчетливее проступала грозная багровая полоса заката. Было сыро и холодно. Ветер бесцеремонно хватался за голые руки деревьев, чистил лужи от мусора и дождевой пены.

Тепло от плиты окончательно покорило Татьяну. Дарья Ивановна наконец поднялась и ходила по дому в длинной и широкой ночной рубашке.

— Надоело лежать,— заявила она, словно по своему желанию выгнала болезнь.

— Вот интересные мне бабушка сказки рассказывала сегодня! — похвалилась Лена. — Про этих... про... что на небе живут.

— О ком это ты говорила, тетка Дарья?

— Да про богородицу с Николаем угодником.

— Опять про богородицу! — с укором посмотрела на нее Татьяна. — Других рассказов нет у тебя.

— Ты не ругайся, мам, — немедленно встала в защиту Лена. — Такие смешные сказки.

— Не знаю, над чем вы смеялись.

— Правда смешные, мам.

— Садись за стол и тебе расскажу. Думаешь, ребенка к религии направляю?.. Пельменей сегодня настряпала, что-то так захотелось.

Продолжая рассказывать незатейливые домашние события, между прочим проронила, что у соседки больна девочка, как бы не померла. Видя, что разговор заинтересовал Татьяну, Дарья Ивановна недовольно проворчала:

— Тебе-то что! Пусть они все перемрут, не жалко. Не соседи, а... — и что-то пробурчала шепотом, видно, такое, что нельзя было вслух говорить при Лене.

«На работу не вышла, — вспомнились слова Варвары Петровны о соседке. — «Узнай, что там с нею приключилось, рядом живешь».

Калитка была заперта, когда Татьяна постучала с улицы. Запертой оказалась и дверь в сени. На стук никто

не ответил. Собираясь вернуться домой, Татьяна увидела полоску света, теплившуюся в сумерках сквозь щель приоткрытых ставен. Она прильнула лицом к щели, смутно разглядела профиль рыжего мужчины, одного из постоянных посетителей Полины, когда у нее собирались для пения. Он неестественно высоко держал голову, словно подбородок был подперт палкой. Неясная тревога прокралась к сердцу Татьяны: что они там делают? Если молятся, то почему закрыта калитка, заперты сени,— обычно в дни молений в дом мог заходить любой, даже не причастный к их вере. Даже противник их веры, так говорила Полина. Татьяна снова присмотрелась — лицо рыжего мужчины было недвижно, как у мумии.

Постучала в ставень. Негромко, но чтобы стук услышали. И снова никто не вышел, не открыл дверь. Она постучала еще раз, громче. И еще раз. В тишине было удивительно отчетливо слышно, как упруго, с металлическим звоном, падают с крыши редкие капли воды. Лицо мужчины по-прежнему было обращено в сторону. Только по стене двинулась чья-то тень и тут же ушла обратно. Незвестно отчего, но уйти от окна Татьяна уже не могла и потому снова стала стучать — громко, настойчиво. Она стучала так, как если бы ее не пускали в свой дом, к своему больному ребенку, окруженному совершенно чужими людьми, безучастными ко всему на свете. Вероятно, ее стук был слышен на противоположной стороне улицы, но в доме на него не хотели отвечать. Капли с крыши падали ритмично. И чем больше падало их, тем звонче становился их стук в тишине сумеречного покоя. Татьяна не замечала, что туфли выдавили в мокрой земле следы, сырость пробралась к ногам и они начали зябнуть.

Наконец слабо всхлипнула дверь в сенях и на пороге показался рыжий мужчина. Он посмотрел на нее странно усталым, совершенно спокойным взглядом. Он смотрел очень долго, и Татьяна смотрела на него, не зная, что сказать, не зная, зачем она так настойчиво стучалась в дом. Потом он отошел в сторону. Молчаливо согласился пропустить ее в дом. Она это поняла именно так и, ни слова не говоря, прошла мимо него, открыла дверь в комнату.

Ах вот почему никто не отзывался на стук. Чувство страха и стыда за нарушенный покой приковало ее к порогу: девочка умерла! Наглухо занавешенные окна,

желтый свет керосиновой лампы, мутные тени по углам и на столе — ребенок, прикрытый черной материей.

— ...вышедший из праха и тлена да возвратится в прах и тлен по воле господа нашего Иисуса Христа, и душа найдет вечный покой в царствии небесном.

Татьяна огляделась, силясь понять, откуда доходят до нее тихие, но внятные слова. Их произносил мужчина. Он сидел на стуле, устремив взгляд куда-то поверх стола с мертвым ребенком.

— Непорочной невестой войдешь ты под своды вечной радости и блаженства, не согрешившая в этой жизни, и господь восславит тебя, воистину праведную дочь свою...

Татьяна увидела и Полину. Она так же сидела, опустив руки. Свет падал на ее лицо, и Татьяна ужаснулась, рассмотрев, каким оно проникнуто необъяснимым вдохновением. Полина тоже глядела поверх стола, в темный угол комнаты, и светлые глаза ее совсем не замечали окружающего.

Из сеней возвратился рыжий мужчина. Он плотно прикрыл за собою дверь, молча взял Татьяну за руку и повел за собой. Остановился около стула, движением руки предложил сесть. Сам отошел к стене, к свободному стулу.

И снова она слушала мерную речь, наполненную сдержанной страстью, необъяснимо гипнотизирующую сознание.

— ...Отчаявшись в любви, в несчастье ближнего, в смерти или увечье ребенка своего, в бедствии домашнем, мы становимся злыми и враждебными, черствыми и не доверяющими друг другу. Мы забываем, что только кротость и смирение способны возвратить нам обладание над собою, что только вера в будущее...

«Сколько ей было лет? — подумала Татьяна, глядя на девочку. — На год старше Лены... Еще позавчера бегала... Мать не разрешала ей играть с Леной...»

— ...всевидящий и вездесущий. Он всегда с нами, и каждое наше движение радует Его или повергает в скорбь. Наступит день...

«Чем она болела, что так скоро скончалась?.. Почему только трое сидят около нее?»

— ...великое ликование охватит души праведников. Верую, Господи, верую, в силу Твою и кротость Твою, во

всепрощение и любовь, даренные Тобою. Только один Ты был, есть и будешь...

Мертвое тело лежало недвижно, безучастное к людям, к мятому огню, к настороженным теням по углам комнаты. Для него теперь было совершенно безразлично, что говорит проповедник, сколько еще — час или два, или всю ночь будут сидеть эти трое, с затаенным вниманием глядящие куда-то поверх стола. И вдруг Татьяна вздрогнула: рука под черным покрывалом пошевелилась и сползла с груди. От неожиданности она чуть не вскрикнула. Конечно, мне показалось, только показалось, подумала она, не сводя глаз с покойной. Мертвые не оживают... мертвые... они уже не оживают. Только, когда человек долго спит, есть такой сон... тоже болезнь, но не смерть. Она мучительно вспоминала название болезни, не спуская глаз с мертвого тела, но так и не вспомнила. Не успела вспомнить: глуховатый детский стон потряс ее, до того он оказался неожиданным и жутким. Но стон был реальным, потому что материя явно выдала движение ног и, соскользнув, открыла ступню — голую, с бледной кожей. Господи, что же это такое, пронеслось в голове. Татьяну охватил озноб, словно из двери ворвался ледяной ветер. Татьяна непроизвольно вскинула руки, схватилась за ворот платья, комкая его дрожащими пальцами.

Снова донесся стон, по-детски жалобный, раздирающий душу. Но его, казалось, никто не слышал, кроме Татьяны. Полина сидела, окаменело глядя перед собой. Рыжий мужчина тоже. Неужели совершается чудо, и смерть отступает от ребенка перед этими людьми, читающими слова благодарности своему богу?! Татьяна не смогла сдержать себя, нетвердо шагнула к столу. На нее никто не обратил внимания, словно она была одна в доме и могла делать здесь все, что ей вздумается. Шаг за шагом, она медленно приближалась к столу, словно слепая, выставив вперед руки, видя только темную матерью, неровно прикрывающую девочку. Голос проповедника доносился глухо, то совсем замирая, то нарастая.

Татьяна увидела лицо девочки — маленькую блестящую маску, неестественно выкрашенную в буроватый цвет. Рыжие волосы казались париком, надетым в спешке небрежно. Девочка не выглядела мертвой, в этом Татьяна могла поклясться. Рот ее был открыт широко, как у

рыбы, выброшенной на берег, ноздри вздрагивали, когда она с трудом вбирала воздух. Татьяна кинулась к столу — сколько раз приходилось ей так вот подбегать к своему больному ребенку! Она прильнула губами к буроватому лобику, не веря, что чувствует биение жизни. У девочки был сильный жар и, по всему видно, она лежала без сознания.

— Жива-а! — радостно воскликнула Татьяна.

Ей казалось, что сразу же лопнет тишина, что все — Полина, рыжий мужчина, даже проповедник, все бросятся к столу, чтобы посмотреть на воскрешение из мертвых. Но никто не пошевелился.

— Жива, слышите?!

Ей снова ответила тишина, еще более глухая, чем прежде. Только голос проповедника стал как будто громче. Татьяна растерянно огляделась вокруг: никто на нее не смотрел, никто не видел ее. И не слышал. Но в глазах Полины не было прежнего торжественного спокойствия. И руки заметно дрожали на коленях.

— Поля!.. Полина!.. — позвала Татьяна, боясь отойти от стола, оставить девочку одну. — Посмотри, Поля... она жива!

Руки Полины судорожно дернулись, готовые протянуться к дочери, но тут же бессильно опустились.

— Поля! — крикнула Татьяна. — Мать ты или нет? Подойди же!..

Ее голос вывел Полину из оцепенения. Она поднялась, все еще глядя в пустоту стены, потом опустила голову — и упала, не успев даже взмахнуть руками — тяжелым мешком — лицом вниз. В тот же миг рыжий мужчина крепко сжал руку Татьяны и потащил прочь от стола. Она дернула руку, но у мужчины сил оказалось больше. Она дернула еще раз и, не придумав ничего другого, что могло бы помочь ей освободиться, с силой ударила его по руке. Он не ожидал удара и отпустил руку. Но тут же обхватил Татьяну обеими руками, как сноп, попытался тащить ее, видимо намереваясь вытолкнуть за дверь. Татьяна вцепилась в ворот его рубашки, начала толкать кулаками в грудь, в шею:

— Пусти!.. Пусти, что тебе... — хрипло выкрикнула. — Что вы задумали... Нелюди!

Руки мужчины ослабли. Татьяне подумалось, что рыжий сейчас ударит, и инстинктивно напряглась. Но он

не ударил. Наоборот, странно послушно опустил руки и стоял пришибленно, пряча глаза.

— Девочка-то,— порывисто проговорила Татьяна,— дышит!

— Да, она еще жива,— ответил мужчина.

— Так что же вы упокойную над нею поете! Смерть накликаете.

Только теперь проповедник перестал читать свою бесконечную молитву. Поднялся, подошел, положил Татьяне руку на плечо. Бледное худое лицо его с темными пятнами под глазами было необычайно одухотворенным, глаза светились нездоровым блеском, как у курильщика опиума.

— Уйди, сестра,— тихо сказал он.— Не место тебе. Ибо сказано: обращение неверующего...

Татьяна испуганно отшатнулась:

— Не трогай меня, закричу! Отойди, не прикасайся!

— Выйди, сестра,— повторил он, не повышая голоса.

— А вы будете девочку добивать? — крикнула она, зная, что если только хоть чуть поддастся уговорам, силы оставят ее и она тоже упадет рядом с Полной.— Не трогай меня! Всю улицу подниму, только попробуй выгнать. Уйди!..

И он отошел, сел на прежнее место. Отошел и рыжий — молча, без попытки сказать хоть слово. Неожиданная свобода действий на какое-то время обезоружила Татьяну. Она готовилась к борьбе, готовилась в самом деле закричать, если бы они стали бить ее, силой вытаскивать из комнаты. Но этого не случилось. И она некоторое время стояла, испытывая нечто вроде оцепенения. Только голос помог вернуться к действительности.

— Мама!..

Это хрипло, с трудом проговорила девочка. Татьяна нагнулась к Полине, стала трясти ее. Подхватив, усадила на пол, заставила подняться, подвела к столу. Рывком сбросила черную тряпку и, чувствуя себя единственной, кто может помочь больной, приказала, удивляясь резкому тону голоса:

— Принеси воды. Живее!.. Оглохла, что ли: воды неси!

Пока Полина сонно ходила по воду, Татьяна перенесла ребенка на кровать. Сняла со стены расшитое полотенце. Отодвинула стол в угол, где он стоял постоянно.

Когда Полина принесла воды, намочила край полотенца, отерла лицо девочки, положила на ее пылающий лобик компресс. Все это она проделала быстро, словно одна оказалась в доме и помощи ждать было неоткуда. Но закончив, снова услышала голос проповедника:

— ...пребывая неутешенными без веры, обольщаясь мыслями о суетности мира...

Ее охватило страшное зло на этого сумасшедшего человека, бессовестно отгородившегося от жизни сказками о боге, болтающем кто знает о чем при умирающем ребенке.

— Перестаньте наконец каркать! — сердито сказала ему Татьяна. — Или ослепли от веры, совсем озверели, света белого не видите.

Срывая зло, она подошла к окнам, одну за другой сдернула тряпки. Подвинула к кровати стул, перенесла на него лампу. Рядом поставила стакан с водой. Снова взглянула на мужчин.

— Вот что, идите-ка по домам, хватит! Идите, идите, дома молитесь, сколь влезет. Аль оглохли?

И удивилась храбрости своей и тому, как один за другим мужчины поднялись, посмотрели на Полину и вышли с непонятной покорностью.

Сделав все, что было в ее силах, Татьяна подошла к кровати — пустая, испытывая страшную усталость.

И заплакала. Она не могла бы сказать, отчего пришли слезы, отчего так тяжело на душе, отчего так сухо в горле, что дышать трудно.

— Поля! — позвала она и тут же сама пошла к ней, опустилась рядом со стулом на пол, положила на ее колени руки. — Полечка! Как же ты так, а? Что же закрылась ставнями ото всех? Разве от беды спрячешься? Не-е-ет. — Слезы не давали говорить. — Меня бы позвала, Поля... рядом, всегда приду... Варвара Петровна про тебя спрашивала, как, мол, она, не случилось ли чего. А ты... много ли толку от мужиков, разве они понимают в бабьих делах? Видимость одна. Дочь больна, а он как идол: бу-бу-бу, всех святых своих перебаламутил в кучу. Не поймешь, какому богу кланяется. Ты слышишь меня или нет?..

— Бог един, — проговорила Полина.

— Пусть един, — согласилась Татьяна, не желая спорить, расстраивать соседку. — Вот и посуди, сколько у

него дел. Тыщами люди помирают каждодневно, да войны еще, да болезни разные. И все эти тыщи просят его отогнать смерть, обождать. Куда ему со всеми управиться? Не-ет, не успеть!.. Так чего же зря молиться, себя только бередить, надеяться зря? Пустое все, Полечка. Обман только. Так, для успокоения сердца. А толку никакого. Скорая помощь не управляется, хотя теперь и на машинах ездит: не то что раньше. А ты ждешь, чтобы бог к тебе по вызову враз явился. Нет его, Полечка, сказки одни.

Полина тяжело вздохнула, сняла руки Татьяны с колен:

— Молчи, не богохульствуй!

— Какое уж там богохульство! Дите заболело, в жару сгорает, а ты вместо врача этих... молитвы читать назвала. Вот это и есть богохульство. Если дала тебе природа ребенка, так береги его. Был бы бог, наказал бы тебя за такую жестокость к плоду своему... Темная ты, Полина. Уперлась в религию и света не видишь. А о тебе еще Варвара Петровна заботится. Такая женщина — пример для всего нашего бабьего роду!.. Что тебе говорить, ровно воду в сито наливать. Придет время — поумнееешь. Да не было бы поздно.

Полина, кажется, достаточно пришла в себя. Не желая слушать Татьяну, поднялась, прошла к ведру, выпила воды. Сказала:

— Иди, Таня, иди.

— Вот и очухалась, — с усилием усмехнулась Татьяна. — Только двери не закрывай, я сейчас вернусь. Пенциллин есть у меня в таблетках, принесу. Слышь? Дверь, говорю, не закрывай. А то все окна выставлю, все равно заберусь. У тебя буду ночевать сегодня, слышь?

Было холодно. К утру, видно, приморозит, подумала Татьяна, торопливо перебираясь через лужу по набросанным кирпичам. Ее знобило. Но не от того, что на дворе было сыро и зябко. Казалось, медленно остывала кровь, и тело двигалось только по инерции.

— Мам, тебе письмо!

— Где оно, Лена?

— Я под твою подушку спрятала! Сейчас принесу. Знаешь от кого?

— От папы, — уверенно ответила Татьяна.

— И нет. От дяди Васи! — громко прокричала Лена.

— Не говори глупостей,— одернула ее Татьяна.— Откуда ты взяла, что от дяди Васи?

— Бабушка сказала. Принесла, посмотрела и говорит: это от дяди Васи. Только он пишет на конвертах синими чернилами.

Стук костыля сухо отсчитал шаги до кровати и обратно. Татьяна взяла письмо, настороженно посмотрела на дочь:

— Опять ножка болит?

— Да. Вот здесь, в коленке.

— На улицу ходила сегодня?

— Ходила. Бабушка разрешила. Ведь дождя нет!

— Все равно холодно...

— Когда же будет тепло? На другой год, да?

Конечно, письмо было от Василия.

«Здравствуй, дожди захватили... столько хлеба! Если не будет миллиарда пудов, то где-то около, точно говорю...— бегло читала она.— Я так и знал, что задержат, не пропадать же урожаю на поле... Теперь все, заканчиваем. Вчера объявили об отъезде, к празднику буду дома. Собирался телеграмму дать, да как знать... машины будем сами сопровождать... целый эшелон...— Она слышала, как гулко стучало сердце в груди.— Запала в душу ты мне, Таня, до того сильно, что сплю и вижу тебя. А протяну руку, убегаешь. Так и ловлю целых два месяца. Иногда такое желание нападет, трудно держать себя: развернул бы машину — да по полям, по степи, прямо к тебе! Дурным становлюсь. Милая ты моя, хорошая, не убегай хоть когда вернусь... Лене я скворца привезу. Умнейшая птица попалась. Чисто по-человечески говорит: «Люблю тебя, Вася». У целинников купил... Скоро теперь, совсем скоро вернусь, жди, Таня...»

«Жду... жду...— стучало сердце,— жду...»

Редкий день она не думала о встрече. Сначала встреча представлялась каким было расставание: блестящие теплые нити железнодорожных рельсов, кустарник обочь насыпи, неподвижный в закате солнца, и Василий. Он идет к ней, широко распахнув руки. Но дожди смыли краски лета, ветер унес запахи степных трав, и встреча не могла уже быть такой, как два месяца назад. Даже месяц, когда после первых дождей как будто снова установилась погода, хотя с деревьев опала уже половина листвы и урючины оделись в красные шали. И чем больше ду-

мала, тем больше боялась этой встречи. Придется скрываться, прятаться от людей. Как и где? В чужом доме, красть любовь по кусочкам? Другого же ничего не было. Сойтись с Василием — он этого не предлагал. Если бы и предложил, то зачем? Ради ублажения самой себя? А Лена, а сам Василий?.. Лучше бы Василий не возвращался. Она тосковала бы о нем, перебирала бы в памяти подробности встреч.

Но изменить ничего было нельзя. Пройдет неделя, и он придет. Они встретятся где-то, быть может, на комбинате, он станет ждать ее на улице, перед работой, или после работы.

— Мы поедem с дядей Васей на речку? — спросила Лена, терпеливо ожидая, когда мать прочтет письмо.

— Кто это — мы?

— Он, я и ты.

— Не знаю... — И откровенно добавила, как взрослая взрослой: — Ничего я, Леночка, не знаю.

Глава вторая

1

Татьяна издали узнала рыжего мужчину, который был у Полины, когда над ее больной дочерью проповедник читал молитву. Он быстро отошел от магазина и направился навстречу ей. Но с каждым шагом его движения становились неуверенными, словно мужчина жалел, что пути их совпали. Ей эта встреча тоже не доставляла удовольствия. Наутро, когда она уходила от Полины, Татьяна готова была просить прощения у хозяйки дома за грубость. Но девочке стало легче. Всю ночь она металась в бреду, выкрикивала бессвязные слова, к утру температура спала, а за прошедшие два дня опасность совсем миновала. И уж никак не молитвами поднята она с постели, не божьей помощью, а скорее всего пенициллином. И вспомнила, что Полина так ни разу и не подошла за ночь к больной.

Рыжий приближался. Татьяна поймала себя на том, что и она замедлила шаги. Подумала, какого лешего ему надо? А вдруг отомстить хочет за оскорбление? Вряд ли. День, светло, народ кругом. Пошлю его к... пусть только заговорит.

— Здравствуйте,— сказал он очень мирно, даже слишком учтиво, виновато отводя глаза в сторону.

Она ответила тем же, настороженно присматриваясь к его рукам. В бобриковом полупальто, шапке и кирзовых сапогах он выглядел не таким худым, каким казался тогда.

— Татьяной вас, кажется...

— Татьяной,— нетерпеливо ответила она.

— Извините, а по батюшке?

— Ефимовной.

— А-а-а! — удовлетворенно протянул он, кивнув в подтверждение, словно так боялся, что вдруг она не Ефимовна.

На этом разговор иссяк.

Пауза затянулась, это мужчина чувствовал больше Татьяны, оттого и счел нужным представиться, хотя Татьяна и не собиралась спрашивать его имени.

— Дугин. Николай Михайлович. Я это. Кхм...

Она промолчала. Успела подумать, что, затеявая худое, он вряд ли стал бы называть себя.

— Девочке-то полегчало, знаете ли,— добавил он тем же мирным, учтивым тоном, с каким родители выздоравливающих детей встречают на пороге дома лечащего врача.— Гляди и поправится.

— Поправится,— убежденно ответила Татьяна.— До свиданья.

Но он не дал ей уйти. Метнувшаяся рука удивительно осторожно прикоснулась к ее пальто:

— Подождите... или идите, как вам угодно. Спасибо, что повстречались.— И вдруг заговорил, боясь, что она уйдет: — Я вас, почитай, весь день высматривал. Так просто. Знаете, очень хотелось повидать. Не то что по делу, дел у меня к вам никаких нет. Просто, человек вы совсем особый. И имя такое, как у моей покойной жены — Татьяна. К прчему и Ефимовна. Накажет меня господь, вижу и ужасаюсь, а пришел, говорю с вами... Доведись на мою Татьяну, тоже так бы вот, как вы той ночью... а я не вас, а ее видел, ну как живую. Господи, думаю, неужели представление мне назначено. Весь день молился, а из головы ночь нейдет, путами меня держит... Не уходите, я вас не задержу. Такое у меня сейчас на душе, выразить никто не сможет. Пойду, думаю, не обидится... Какая же сила у вас! Крепкая вы женщина, вра-

зумленная жизнью. Спасибо, не постеснялись остановиться, выслушать меня. Великим благодеянием озаряет нас спаситель на трудном пути истинном. А вы другая, может, и не поймете меня в сущности душевной. Я не плохо к вам пошел навстречу, только по влечению внутреннему, со светлым намерением.

Он выговорил все это тоном послушника, пришедшего на исповедь, заблудшего в случайном грехе. В то же время ему, казалось, не хотелось сразу замолить грех, уйти очищенным, и в тоне явно сквозили нотки протеста против раскаяния.

— Идите, идите, Татьяна Ефимовна, — заторопил, первый раз взглянув ей прямо в глаза. — Не думайте обо мне плохо. Только разрешите иной раз поговорить... нет, не надо, не разрешайте. Зачем самому искать волнений в жизненном течении... Благослови вас Христос, добрая женщина.

И ушел: круто повернулся, не оборачиваясь, крупным торопливым шагом.

Татьяна удивленно посмотрела ему вслед. Она почти ничего не поняла из его беспокойной речи. Одно проступало более отчетливо: его покойная жена была Татьяной. К прочему, как он сказал, и Ефимовной. Может, чем-то походила на нее. Что это вдруг ему ударило в голову рассказать, причем место-то нашел, хуже не придумаешь — на углу улицы!.. Не влюбился ли? И рассмеялась: не похоже. Чудной какой: большой ребенок с седеющими волосами. И рыжий. Не огненного цвета, как некоторые, а просто рыжий, с солнечным отливом.

Только теперь она внезапно вспомнила, что глаза у этого Николая Васильевича голубые. Цвета васильков по осени. Словно природа отдала ему остатки красок, что завалились в ее кладовке — проживет, мол, разноцветным, никуда не денется.

Скоро Татьяна совсем забыла о встрече. Она чуть не опоздала из-за него на работу и последнее, что подумала о нем, не сходит ли он с ума от своей набожности.

2

В шуме машин голос терялся. Татьяна скорее улавливала слухом, чем понимала разговор Клавдии.

— Начальник отдела кадров вызывал. Говорит: «Хочу прикрепить к тебе ученицу. Возьмешь?» А я вроде ничего

не знаю. Мол, смотря кого. Говорит: «Высотину». Тебя это. Я ему: Танечку с удовольствием!.. — Она ловко подхватывала нить, завязывала узел, и порванная нить словно сама по себе срасталась, как живая ткань. — А он: «Что вы все так влюблены в эту Высотину?» К нему же наперво сама Варвара Петровна ходила... Ну вот, будет, говорит, учеником твоим... или ученицей. С первого числа. На восемь месяцев. Потом экзамен. А потом, Танечка, сама станешь к машинам. Они умные, хоть и говорить не умеют. Все понимают. Вот эта — любимица моя, — показала вправо, — а эта с капризами, требует, чтобы к ней почаще подходили...

— Приходи сегодня, — прокричала Татьяна. — Обязательно.

— На именины?

— Да.

— У меня подарка нет еще!

— Не надо.

— Без подарка не приду... Во сколько?

— Часов в шесть.

— Приду!

В цехе Клавдия снова была прежней: даже ее темные волосы, прихваченные цветастой косынкой где-то на самой макушке, казались не столь жесткими. Здесь она нравилась Татьяне больше, чем дома, потому что именно такой она увидела ее в первый раз.

— В понедельник он тебя вызовет, начальник кадров, — наклонилась Клавдия к Татьяне.

— Я его совсем не знаю.

— Его все не любят у нас. Вот Мария Ивановна была начальником, так та на полной высоте. Надо — голову отгрызет за непорядки, а то как мать родная, если тяжело человеку. На пенсию ушла прошлый год... до сих пор жалко.

— Мне-то что — какой он этот начальник, — проговорила Татьяна. — Ни сват, ни брат.

Ей не хотелось отходить от Клавдии, от машин, не верилось, что через несколько дней она не станет уже собирать по цеху отходы пряжи, сортировать их в отдельные ящики. А еще через какое-то время, через несколько месяцев, новая сортировщица будет глядеть на Татьяну с такой же завистью, с какой она до сих пор смотрела на Клавдию, на других ткачих. Она обязательно

сошьет себе цветастую косынку и будет носить немного небрежно, на затылке. Зайдет Вася в цех и улыбнется... Если б был здесь, она, пожалуй, пригласила бы его на именины к Лене. Как старого знакомого. Кто у нее здесь кроме Варвары Петровны и Клавдии? Полина еще. Вон она пошла к двери, посмотрела на Татьяну. У нее такой же взгляд, как у того рыжего, Дугина Николая Михайловича, — вспугнутый. Татьяна и ее пригласила сегодня, придет ли? Наверно, опять будет вечер богу надоедать молитвами. Вместе с братом Кондратием, со своим проповедником. Молятся не по-людскому — без икон, не крестятся, а только читают да поют. Но и петь перестали, уже с месяц Татьяна не слышала их песен.

Пожалуй, первый раз смена тянулась необычно долго. Часы на стене словно устали за неделю и отсчитывали время нехотя, без всякого интереса. Торопиться не стоит, думала Татьяна, до шести — за три часа она вполне управится сбегать в закусочную за тортом, купить вина, отгладить себе и Лене платья. На стол собрать — пара пустяков, поможет Дарья Ивановна. И все же чувство тревоги не покидало ее. Снова пришел на память Дугин: смиренный взгляд его светлых глаз, робкий торопливый голос и непонятная настойчивость, с которой он говорил о жене, о прошедшей ночи, о том, что бог его накажет за такие разговоры. К чему ему понадобилось ждать ее, говорить с ней? Стоял растерянный и ушел спешно, вроде так и не досказал всего, что хотел сказать.

Она опять увидела Полину и подошла к ней.

— Ты зайдешь сегодня ко мне?

Ее смутил взгляд Полины. Она смотрела так, словно силлась вспомнить что-то давно забытое, устала от этого занятия и вспоминала уже машинально, не напрягая мышления.

— Я крикну тебя, — сказала Татьяна, — когда все соберутся.

Полина ничего не ответила.

— Ты сердишься на меня?

Она и на этот раз промолчала.

— Не сердись. Девочке-то полегчало, — проговорила Татьяна словами Дугина. — Скоро совсем поправится. Кто знает, что могло случиться! За доброе не сердятся.

Полина подняла руку, провела ладонью от виска по щеке, будто это забытое, которое так долго не приходило

на память, уже было где-то рядом; еще секунда, другая — и можно улыбнуться над своею забывчивостью. Но оно так и не вспомнилось. Полина опустила руку с усталостью человека, не спавшего несколько суток кряду, — медленно, безвольно.

— Ты не слушаешь меня, — сказала Татьяна. — Больна чем? У тебя лицо бледное. — Она хотела сказать: у тебя совсем ненормальные глаза. Но побоялась. — Я зайду к тебе.

Лишь теперь Полина как бы очнулась, увидела Татьяну. Протянула руку:

— Ты в ответе, если она не помрет.

— Кто? — переспросила Татьяна, не понимая ее слов.

— Надя моя... Ты в ответе.

— За что — если не умрет? Пусть живет на здоровье!

— Это ты всё сделала, я знаю. Никто больше. Ты помешала.

— Поля, одумайся, что говоришь? Дурная, на свою дочь кличешь всякую ерунду.

Ей стало не по себе от этого разговора, от тихого голоса и взгляда усталых глаз. Полина и впрямь больна, если такое лезет ей в голову.

— Ладно, Поля, после поговорим, — сказала она, чтобы поскорее уйти. И когда отошла, обернувшись, Полина все еще стояла чуть сгорбившись, устало глядя перед собою.

Дурное настроение появилось, вероятно, от этого разговора. Рехнулись люди со своей религией, думала Татьяна. Чумные стали от молитв. Правду говорила Варвара Петровна, что вера у этих сектантов ненормальная, вредительская. Воображают, что каждый день лично с глазу на глаз с богом разговаривают. Как их проповедник толкует: жизнь на земле — только испытание, главное там, на небе. Черта с два! Подохнешь — и крышка. Пока живешь — живи, дыши...

— Угорелые! Свет для них клином сошелся.

— Ты что, — услышала Татьяна голос Варвары Петровны, — сама с собою разговариваешь?

— Ругаюсь, — призналась она. — На баптистов.

— Что они тебе вспомнились?

— Да так. На нашей улице их хоть пруд пруди.

— В понедельник утром сходи в отдел кадров, — сказала Варвара Петровна. — Напиши заявление.

— Мне Клавдия уже говорила. Придете сегодня, Варвара Петровна? Я буду встречать вас.

— Сама найду.

— В шесть!

— Знаю, не забыла.

8

Именины прошли хорошо.

— Никогда не думала, что у тебя так уютно, — восхищалась Клавдия. — Это здорово — отдельный домик, цветы во дворе.

— Как же, кажен год садим, — похвалилась Дарья Ивановна.

— Я больше всего люблю георгины.

— А чем хуже гладиолусы?

— Они похожи на искусственные, если смотреть издали. Георгины приятнее... А в нашем доме Лене было бы очень плохо. Двора нет, так, несколько больных кустиков, вечно завешанных стираным бельем, — и все.

— Не люблю казенные квартиры, — согласилась Дарья Ивановна, — выйти некуда, шумно.

— Это первое время, — возразила Варвара Петровна. — Потом привыкаешь. Вроде так и надо.

— Я никогда не жила в домах где много квартир, — призналась Татьяна. — Всю жизнь в деревне. И вот здесь немного.

— Ваша улица тоже похожа на деревенскую.

— Да, можно иногда и в поле выйти, это рядом.

— Помнишь, мам, — отозвалась Лена, ходили, а? Сначала по железной дороге, потом...

— Помолчи, пожалуйста, — поспешно перебила ее Татьяна, боясь, как бы Лена не сказала, с кем ходили. Ей не хотелось, чтобы Варвара Петровна знала о прогулке с Василием. И перевела разговор на другое.

— В городе я больше устаю, хотя работаю меньше, всего семь часов в сутки.

— Воздух другой, — вставила Дарья Ивановна. — Загаженный газами.

— Не в воздухе главное, в привычке, — сказала Клавдия. — Я бы сейчас не смогла жить в деревне. Подумать только, уже пять лет у машин!

— Ты ведь еще и на старой фабрике работала? — спросила ее Варвара Петровна.

— Конечно! Потом на комбинат, как только отстроили.

Третья рюмка вина окончательно развязала языки. Каждой хотелось говорить, и только Варвара Петровна на правах старшей умело сдерживала повеселевших женщин.

— Муж пишет? — спросила она у Татьяны.

— Да.

— Где он отбывает?

— Город Вольск. Дорогу строят.

Неожиданно Клавдия затянула песню. Потом предложила тост:

— За будущую ткачиху, а? Давайте выпьем!

— Не много будет?

— Что вы, Варвара Петровна! — рассмеялась она. — Надо, так у Танечки заночую... Хоть бы одного мужика в компанию к нам, завалиющего какого. Так, вместо горчицы, — и рассмеялась — громко, совсем не от придуманной остроты.

— Не дури, баба, — одернула ее Варвара Петровна.

— О производстве, что ли, говорить? О плане? Это там, на работе. А здесь о чем хочу, о том и говорю.

— Не слушай ее, Танюха, — отмахнулась Варвара Петровна. — Давай в самом деле за тебя выпьем, за будущую ткачиху.

Лена возилась с медвежонком. Большой, пушистый, он сидел как живой, умно кивая лохматой головой. Рычал так добродушно, словно от удовольствия.

Знакомство с Леной опечалило Варвару Петровну. Как ни старалась Татьяна, чтобы Лена выглядела веселее и наряднее обычного, у нее это плохо получилось. Новое платье, всего лишь раз надеванное, сидело мешковато на узких сухих плечиках, а красные ленточки, повязанные бантами, еще больше оттеняли бледное лицо. В последние дни Лена немного приболела, и костыль действовал удручающе даже на Татьяну. Но, когда увидев медвежонка, Лена попыталась было подойти к Варваре Петровне без костыля, это вышло совсем плохо. Она вскрикнула от боли, припала руками к больной ноге и Татьяне пришлось на руках отнести ее на диван.

Разговаривая, Варвара Петровна то и дело поглядывала на Лену. Она знала, что у Татьяны больна дочь, но не думала, что болезнь столь серьезная.

Выпили за будущую ткачиху.

— Давай, Танюха, чайку,— попросила Варвара Петровна.

Клавдия о чем-то разговаривала с Дарьей Ивановной.

— Лечила? — кивнула Варвара Петровна в сторону Лены.

— В детский санаторий устроивала. Потом взяла, вроде, в отпуск. Врачи так сказали. Опять надо было отвозить, по весне, да сюда переехала...

— Обязательно нужно опять везти ее туда. Сходи в местком и попроси путевку. Направление возьми у врачей. Разве можно так относиться к ребенку. Виновата ты, баба, перед ней. Исправляйся.

Заговорили о соседях. Татьяна рассказала о ночном происшествии у Полины и невольно подумала, что к своей девочке она оказалась более равнодушной, чем к дочери Полины. И опять Варвара Петровна сказала, что Лену необходимо как можно быстрее устроить на лечение. Она заметила, что Татьяна настороженно взглянула на нее и, чтобы рассеять настороженность, задним числом поддержала Клавдию: в самом деле не хватает мужика для компании.

— Был тут у нас один на примете,— немедленно отзывалась Дарья Ивановна.— Цветочки раз приносил.

— К Танечке подкатывался? — подхватила Клавдия.

— Не ко мне, ясное дело.

— Что же вы его не придержали? — рассмеялась Варвара Петровна.

— Ошейника не оказалось под рукой.

— Хватит, тетка Дарья,— взмолилась Татьяна, снова боясь, как бы не стало известно имя Василя.

— Своих стесняться не надо,— сказала Клавдия.

— Привяжем, если покажется,— пообещала смеясь Дарья Ивановна.— Я и веревку припасла, в сених держу.

— Хватит же! — она почувствовала, как кровь прилила к лицу.— Неужели не о чем говорить?

— Правда, Танюха! — поддержала Варвара Петровна.— Ну их, этих мужиков. Живу одна и не помираю.

Разговор по сути был обычным, которые частенько бывали и на комбинате, особенно во время обеденного перерыва — за столиками или у буфетной стойки. Женщины умеют злословить над мужчинами, а на комбинате в основном были женщины. Но сегодня Татьяна воспри-

нимала шутки болезненно. Ей не хотелось, чтобы кто-то знал о ее связи с Василием, и она всячески отводила в сторону разговор, который мог раскрыть эту связь. Она боялась огласки этой связи, как боится мелкий воришка раскрытия преступления, хотя и знает, что раскрытие не приведет к строгому наказанию. Ведь ее связь тоже была кражей, краденой любовью. Правда, кража совершалась по взаимному согласию. Особенно остро она это почувствовала после разговора с Клавдией. Варвара Петровна ушла, Дарья Ивановна вышла с Леной во двор. Они остались вдвоем. Клавдия стала говорить о новой квартире и вдруг расплакалась. «Знаешь,— говорит,— Танечка, а ведь я тебе все наврала насчет мужиков. И про того, что на фотографии с папироской, и про сапожника. Про всех наврала. Никого у меня не было. А чтоб люди верили, что не хуже других, вот и вру почему зря. Ты, наверное, плохо обо мне подумала тогда. Гордая я, Танечка, потому и одна. Пытались, конечно, ухаживать. Сейчас закружила себе голову бывшим танкистом, не знаю, что выйдет. Любит, вижу. И я его. Договорились о свадьбе... А воровать любовь-то не хочу. Лучше одной...»

Ей не удалось отделаться от этих дум, когда она уже проводила Клавдию. И в постели Татьяна продолжала думать. Воровать чужую любовь — плохо. Одной — тоже плохо. Что же лучшее из двух бед? Любые беды неравноценны будь их две или больше. Что же лучшее? Сделать любовь законной? Это невозможно... А почему не порвать с Василием? Пусть вернется, пусть они встретятся, как знакомые, как старые знакомые. И на этом все. Каждый останется сам по себе. Не будет надобности скрывать что-то от других, определенно станет легче. Вот начнет учиться, это тоже отвлечет.

Но ничего определенного Татьяна так и не решила. Она протянула руку к столу, тронула медвежонка. Он закивал ей в ответ, словно подтверждая, что жизнь сама подскажет, как поступить.

4

— Мне несколько раз приходила мысль повидать вас. Вы так и не вернулись в деревню. Что же, правильно.— И подтвердил: — Да, конечно. В деревне вам не было бы легче.

— Я уже почти привыкла к городу,— ответила Татьяна.

— Да, конечно. Человек ко всему привыкает.

Он был все таким же, этот молодой представитель правосудия, с добрыми светлыми глазами, словно не год назад, а месяц всего, даже неделю, вел допрос по первому делу в своей следовательской практике. Допрос женщины, которую он представлял совсем другой. И ошибся. Потому стеснялся допрашиваемой, выслушивал все, что она говорила, хотя многое совершенно не относилось к делу.

Татьяна обрадовалась, увидев его на городской улице. Судя по всему, и ему не хотелось лишь поздороваться и тотчас уйти. День был воскресный, солнце после дождей и ветров выглядело удивительно приветливо, и палая листва на тротуаре странно располагала к интимности.

— Вы теперь на текстильном комбинате?

— Да.

— Я... знаете, у нас есть такое выражение: напал на след,— так вот недавно я напал на ваш след. Мне о вас рассказали в закуской. Там, на площади, на окраине города.

— Вы живете в той стороне?

— Нет. Пришлось кое-что проверять и зашел поест.— Листья шуршали под ногами, перешептываясь меж собою.— Если бы я раньше знал, что вы там работаете...

Она помогла ему договорить:

— Вы бы раньше зашли в закускую.— Она теперь не удивлялась, что разговаривает с людьми свободно и слова сами собою наворачиваются на язык. Жизнь в городе не прошла даром.

— Да, конечно,— подтвердил он, уловив ее одобряющий взгляд.

— Приходите на комбинат,— сказала Татьяна.— У нас весело. Во всем цехе только один мужчина — наладчик машин. И то он бывает редко, часа два в день.

Он смутился, выдав смущение своей наивной застенчивой улыбкой.

— Не ко мне, понятно, а вообще,— добавила Татьяна, видя его смущение.

— Обычно я захожу, когда есть какое-то дело, а так...

— Посмотреть.

— Да... — но не сказал «конечно».

Листья шуршали, напоминая Татьяне другой день и другое место, когда она вела его в свой дом и тонкий лед прихваченных морозом лужиц шуршаще лопался под ногами.

— Что пишет муж? — спросил он, глядя под ноги.

— Через два года и несколько месяцев вернется домой, — с досадливой поучительностью ответила Татьяна. Разве он не знает, что Григорий осужден на три года лишения свободы.

— Давно было последнее письмо?

— Почему последнее? — чуть настороженно спросила она.

— Я имею в виду... крайнее, что ли. Так говорят: последнее. Не потому, что больше писем не будет.

— Месяц назад.

Он помолчал и затем предложил:

— Зайдемте в кафе. Здесь всегда хорошая сладкая простокваша. Скоро его уже закроют, это кафе.

— Спасибо, я не хочу есть.

— Как угодно. Жаль, конечно. Я хотел кое-что вам сказать. На улице не совсем удобно.

Татьяна согласилась зайти. Они выбрали столик в стороне от буфета, заказали по банке простокваши. Следователь попросил принести черного хлеба. Людей было мало. Прямо под окном лежала небольшая площадка полным полно голубей.

— Как в Риме, — сказал следователь.

Она не поняла, переспросила, и следователь рассказал, что в Риме любят голубей, их можно встретить на каждой площади. Там они, кажется, охраняются специальным законом.

— Вы даже не попробовали простокваши, — заметил он, видя, что Татьяна все время глядит на голубей и плохо слушает.

— Я не хочу есть.

Не оборачиваясь, она спросила:

— Вы что-то хотели мне сказать.

Он не произнес удивленно: «Ах, да! Совсем забыл», — как ожидала она. Наоборот, ответил сразу же и совершенно спокойно:

— О муже. Собственно, и о нем, но больше о его деле. О том деле, по которому он обвинялся и отбывает на-

казание,— проговорил слишком подробно, как бы боясь, что она может не совсем правильно понять его. Солнце блеснуло на никеле ложки и уронило блик в простоквашу.— Вы знаете за что его судили, в чем он обвинялся? Знаете, что во время следствия и суда завхоз колхоза, так сказать непосредственный хозяин вашего мужа во время совершения преступления, находился в побеге. Это в значительной мере затрудняло ведение следствия, затем и судебное разбирательство.

— Я его встречала, завхоза,— неожиданно перебила его Татьяна,— накануне суда.— И пожалела, что сказала. Стоило ли? Но лицо следователя, когда она искоса взглянула, не выражало ни удивления, ни огорчения.

— Так вот,— продолжал он, пропустив мимо ушей ее слова,— правосудие свершилось,— ему нравилось это короткое эффектное выражение: правосудие свершилось! — Но вскоре события приняли совершенно другой оборот. Завхоз колхоза, э-э... я забыл его фамилию.

— Кротов. Кузьма Миронович,— подсказала она.

— ...да, заставил нас вернуть дело из архива.

— Его поймали?

— Задержали,— подтвердил следователь.

Татьяна резко повернулась к нему. Машинально взяла ложку, опустила в простоквашу.

— Что же теперь?

— Вероятно, дело будет пересматриваться. Потребуется следствие, дополнительные данные. Затем, если это необходимо, снова будет суд.

Тайная надежда заставила ее встрепенуться: новый суд оправдает Григория? И испугалась, что он может быть оправдан, вернется домой, вдруг через неделю. Следователь заметил это, но не понял, что именно: страх, робость или нетерпение. Он вспомнил, как сидела она на допросе — год назад, в кабинете председателя колхоза. Как он был наивен! — молодой неопытный птенец. Прошел только год, даже меньше — девять месяцев, а практика уже многому научила. Собственно, за это время и она стала не той, какой была, подумал он о Татьяне. Она тоже, видать, кое-чему научилась. Хотя бы тому, что разговаривает с ним как с равным.

— Вы сказали, снова может быть суд?

— Да, возможно.

— Тогда и Кузьма Миронович не останется в стороне?

— Пожалуй.

— Худо это или хорошо для... Гриши? — она споткнулась на имени мужа, и следователь счел неудобным смотреть на нее так внимательно. Но споткнулась она совсем не потому. За девять месяцев она произнесла имя мужа вслух не более, быть может, десяти раз. Просто не было надобности. Иногда лишь в разговоре с Дарьей Ивановой. Когда она думала о муже, то думала о нем, и не называла его имени.

— Мне бы не хотелось заранее предугадывать, — сказал следователь. — Трудно что-либо предугадать.

— Нельзя, значит?

— Не совсем так. Его судили одного, со стороны колхоза. Теперь же может возникнуть групповое дело, — он подчеркнул слово «групповое», но оно ничего не объяснило Татьяне. — Попробуйте наконец простоквашу!

— Значит, наказание падет на всех поровну?

— Вы совсем не представляете, что такое групповое дело. Это... извините, — он поднялся, поклонился какому-то высокому пожилому мужчине. Сел, тихо пояснил: — Константин Львович, заместитель прокурора области. Замечательный человек, кодекс законов и приложений на двух ногах. — И продолжил прерванный разговор, стараясь казаться веселым: — Не надо обо всем думать на много лет вперед. Я теперь знаю, где работаете, и сообщу вам, если будет что-либо новое. По делу вашего мужа, конечно.

Листья шелестели под ногами Татьяны. Она шла почему-то обиженная на следователя, словно он знал что-то для нее важное, но не сказал, не захотел говорить.

В магазине готовой одежды Татьяна купила для Лены вязаный шерстяной костюмчик — голубую кофточку с белыми полосками по воротнику и длинные штанишки. Может, действительно удастся отправить дочь в детский санаторий, пригодится. Так или иначе, впереди зима, теплые вещи надобны. Потом посидела у входа в городской парк. Она редко бывала в центре города и с удовольствием разглядывала людской поток. Вход в парк — широкие ворота под огромной массивной аркой, были распахнуты настежь и из окошечка кассы продавалось мороженое. Шли ученики, взрослые, с детьми и без детей, совсем пожилые, и Татьяна пожалела, что не взяла с собою Лену. Она прочла несколько афиш. «Надежда

Колоскова — русские народные песни... Виктор Лесняк — отрывки из оперетт... в сопровождении квинтета... Николай Фогелев... Раиса Дубинская... Нестер Волжанский...» Она никогда не бывала на хороших концертах, и фамилии артистов ничего ей не говорили. Они были всего лишь набором букв, как строки из газеты, напечатанной на чужом языке. Потом услышала музыку: мерное дыхание труб и глухое ворчание барабана. Кого-то хоронили. В дыхание труб ворвались голоса плачущих флейт. На плечо упал мертвый сухой лист и в голову пришли слова проповедника: «Вышедший из праха и тлена да возвратится в прах и тлен, а душа найдет вечный покой и радость в царствии небесном...» Если это человек, подумала убирая с плеча лист. А у дерева нет души. И у той вон собаки на кожаном поводке, которую ведет мужчина. Странно все.

Домой она вернулась немного усталая и обрадовалась, увидев Полину. Та сидела в кухне одна с суровым и беспристрастным взглядом судьи. Обидела я ее, подумала Татьяна. И хотела сказать: не надо сердиться.

— Пойдем ко мне,— позвала Полина.

— Пойдем,— немедля согласилась Татьяна.— Дело какое?

Полина не ответила. Прошла вперед, оставляя за собой двери открытыми. В комнате было холодно и пахло сыростью. Девочка сидела на кровати, скрываясь с головой в большом старом пальто матери. Из этого убежища торчал только нос да недоверчиво светились глаза.

— Вот,— показала Полина на стол,— платье хочу шить. Раскроила, а что куда — не пойму.

— Холодно как,— сказала Татьяна.

— А мне не холодно.

— Плиту бы затопила.

— К чему? — похоже было, что ей в самом деле не холодно. Полина стояла в легком платье с рукавами до локтей, в туфлях на босу ногу.

Татьяну начинало знобить. Она подошла, посмотрела на раскроенную материю и удивленно взглянула на Полину: кто же кроит на такие мелкие куски. Можно подумать, что кроил человек, не имеющий никакого представления о портновском деле. Но взглянув, ничего не сказала. Ее остановил взгляд Полины, полный странной

решимости, тайной веры во что-то. Татьяну смутил этот взгляд.

— Давай все же затопим плиту,— сказала она.

— Как хочешь,— ответила Полина с полным безразличием.

Только вспыхнул огонь, девочка соскочила с кровати и, не расставаясь с пальто, села на стул около плиты. Казалось, она несколько дней не умывалась, и волосы девочки сбились в рыжеватую кучу. Татьяна вернулась к столу. Сколько ни крутила она куски раскроенной материи, ничего не получалось.

— Что ты намудрила? — недовольно сказала она Полине.— Где спинка, где полки? А это? На юбку надо оставлять целый кусок, или... шестиклинку хотела шить?

— Эх ты,— вздохнула Полина.— Вот как, видишь! — она сложила куски рядом друг с другом, провела ладонью по ним.

— Ничего не вижу,— призналась Татьяна.

— Значит, не дано видеть... Тут немного лишку,— она взяла ножницы и разрежала крайний лоскут пополам, заметно косо, без всякой разметки. Положила один из разрезанных кусков на другой край стола.

Вошел Дугин. Вероятно, он не ожидал застать у Полины Татьяну и, сняв шапку, нерешительно прошел к плите, протянул к теплу руки. Девочка зашевелилась при его появлении. Дугин шепнул ей, она кивнула в ответ. Татьяна уловила во взгляде доверчивость. Полина, казалось, не заметила его прихода, она все еще стояла у стола, разглаживала ладонью куски материи. Когда Татьяна снова обернулась в сторону Дугина, он ставил на плиту чайник. Девочка уже не смотрела на него, в ее руках был хлеб и кусок колбасы. Поставив чайник, Дугин отошел от плиты и тихо сказал, приветливо улыбаясь:

— Здравствуйте, Татьяна Ефимовна. Не помешал вам?

Полина вздрогнула, перестала разглаживать материю. Сдержанно, но с упреком в голосе, не то сказала, не то спросила:

— Ты чего пришел?

Вопрос явно относился к мужчине, но он сделал вид, что не расслышал его и опять обратился к Татьяне:

— Уж такое спасибо за тепло. Взрослым еще ничего, терпеть можно, а ребеночку худо...

— Ты чего пришел? — повторила Полина.

— Да вот... — замялся он, разводя руками. — Может быть.

— Уйди, — сухо приказала она, не глядя на него.

— Я и так на минутку.

— Уйди.

— Конечно уйду. Только малость...

— Уйди сейчас.

— Ладно, ладно.

Отвечая Полине, он смотрел на Татьяну, словно ища у нее защиты — светлыми, преданными глазами, как пес, прогоняемый из тепла в ночную стужу. Чего он, в самом деле, пришел, подумала Татьяна, если знает, что никто его не ждет? И вообще, что ему здесь надо? Тот раз сидел, ночью, открывал да закрывал двери, сейчас вошел без стука, без приглашения. Но вмешиваться в разговор не стала. Не ее дело. К тому же ее сковывал этот трепетный, преданный взгляд.

— Уйди, — проговорила Полина.

— Ах, боже мой, Поля!.. Что же ты...

— Я все знаю.

— И бог с тобой, — согласно ответил он. — Бог с тобой.

— Я все, все знаю. Уйди от меня!

— Опять за старое: уйди да уйди! Ровно забыла...

— Не говори мне ни слова! — вскрикнула Полина столь неожиданно, что Татьяна невольно отступила от стола. Но на Дугина и крик не произвел впечатления. Он горько усмехнулся с печалью и состраданием.

Эта усмешка показалась Татьяне фальшивой. Не желая оставаться безучастной, она сдержанно сказала, смиряя внезапное зло на мужчину:

— Вам в самом деле лучше уйти!

— И вы гоните меня, — ответил он, растерянно опуская глаза. — И вы. Пожалуй, мне действительно лучше уйти. Только... спасибо вам, сестрица, за тепло в доме, за... побудьте тут, посмотрите за ними.

— Уйди! — настойчиво перебила Полина. — Довольно.

— Что же, уйду.

Он повернулся, взял шапку. На секунду остановился около девочки, подумал и, быстро протянув руку, погладил ее по голове. Она посмотрела на него с благодарностью. Полина снова вернулась к раскрытой материи;

сгребла куски в кучу, разложила их, совсем не видя, что одни накрывались другими. Еще раз переложила их, совсем по-иному. Взяла мелок — маленький обмылок, — провела по кускам несколько линий. Так ничего и не решив, отошла к окну, поправила занавеску. Потом прошла к плите, постояла, совсем забыв о Татьяне. Все это время лицо ее было странно беспристрастным, даже тогда, когда она велела Дугину уйти, когда неожиданно закричала на него. Она и теперь — как тот раз в цехе, когда Татьяна стала говорить с ней, казалось, что-то настойчиво вспоминала и мучилась тем, что не могла вспомнить. Девочка согрелась у плиты, сердито сказала:

— Зачем ты его выгнала?.. Он хороший.

От хлеба и колбасы не осталось следа, они были уничтожены с поразительной поспешностью. Только крошки рассыпались в складках опущенного с плеч пальто, и девочка тщательно выбирала их, не переставая все видеть вокруг.

— Ты не выгоняй его, — добавила она отрывисто, хриповатым голосом. — Пусть приходит.

— Он приходит к тебе, а не ко мне, — сказала Полина.

— Пусть приходит, — повторила она.

— Мне он не нужен.

— Он божий человек, — возразила девочка. — Сама же говорила.

Полина молча отошла от нее. Села в углу, где сидела, когда дочь ее лежала на столе накрытая черным. И так же, как в ту памятную ночь, стала смотреть куда-то вверх, в угол.

— Будешь шить или нет? — спросила Татьяна. Она не могла понять, что происходит с соседкой — это молчание, одеревенелость лица, сонные безвольные движения, — и жалела, что пришла к ней, попусту потратила время. Окончательно замолилась, сердясь на Полину и на себя, подумала Татьяна. Девчонку замучила. Но на Дугина у нее не было зла. Даже жалко, что он ушел, с ним хоть разговаривать можно.

— Пойду я, — сказала Татьяна, догадываясь, что Полина опять не ответит. — Надо — позовешь. Чайник закипает, смотри. Плита не лопнула бы от воды, вон как покраснелась. Снять, что ли, чайник? — Сняла, отставила на кирпичи. Сунула руку в карман, достала конфету. — На, — протянула девочке. Та схватила ее с жадно-

стью, стала разворачивать бумажку — так же поспешно, рывками, как ела хлеб и колбасу, даже забыв сказать спасибо.

Скоро она перестала думать о соседке. Случайно на память пришли слова следователя: вы совершенно не представляете себе, что означает коллективное дело. Или групповое? Кажется, групповое. Так он и не объяснил, что же это означает. Видно, что-то нехорошее. Старый знакомый; женат он или нет, этот светлоглазый? Вряд ли, коли один ходит в кафе, ест простоквашу.

5

Оказывается, не совсем просто менять челноки, как это кажется со стороны. Протянуть руку, подхватить, удержать, затем вынуть катушку, вставить новую. Вроде и все. Но у Татьяны ничего не получалось.

— Смотри,— который раз говорила Клавдия.— Вот: раз... два... три... Пробуй сама! Бери — раз! Теперь... да не так: пальцы не сгибай, ты же не иголку собираешься взять. И смелее, Танечка, не бойся, не укусит... Ладно, отдохни, научись. Я из тебя такую мировую ткачиху сделаю, сама себя не узнаешь. На весь Союз загремишь. Возьмут люди газету, а там твой портрет в натуральном виде! Вот будет Варвара Петровна радехонька. Она за всех радуется, если у человека дела идут хорошо. Когда Юрий Гагарин в космос поднялся, она ему такую красивую телеграмму дала, как будто ее родной сын в ракете над землей путешествует. У нее душа — как цветок: срежет для человека розу, а там уже новая из бутона раскрывается. Ей-богу.

— Лишь бы мне научиться,— вздыхала Татьяна.

— Чего проще! Я пришла на фабрику тоже такая. И ты научись, даю слово.

Первый день прошел комом. Татьяне хотелось браться за все, что входило в обязанности ткачихи. Сколько раз наблюдала она за работой Клавдии, Любы Ненашевой, Насти Свистелкиной — красиво и просто! Ни одного лишнего движения, все легко. Ходят они от станка к станку, мурлычат под нос песни, а работа идет. Но стоило ей самой попробовать, как все получалось наоборот. Челнок не слушался, узел на обрыве не получался. Не успевая завязать узел, она сильно натягивала нить, получался

новый обрыв. Терялась, начинала нервничать, пока Клавдия не приходила на помощь.

Понятно, в первый день всегда будут неудачи. Клавдия принесла свои учебники, по которым училась; почитывай, привыкай, что как называется.

Перед обедом подошла Варвара Петровна. Постояла рядом, посмотрела на растерянное лицо Татьяны, рассмеялась:

— Себя вспомнила. Первый раз тоже так: все вижу, а ничего делать не умею. Просто калека. Руки-то дрожат? Должны дрожать. У меня, бывало, тряслись, будто кур воровала.

— Не знаю, что будет.

— А ничего не будет! Станешь ткачихой — и все.

— Не верится.

— Слушай, Танюха, твоя соседка опять на работу не вышла. Ни больничного листа, ни заявления на отпуск. Нельзя же так. У нас не частная лавочка, предприятие государственное.

— Кто ее знает, что стряслось. Дурость на себя напускает.

— Я бы просто запретила такую дикую религию. Веруй, если хочешь, молись, но не забывай где ты и в какое время живешь,— недовольно проворчала Варвара Петровна.

Татьяне совсем не хотелось говорить о Полине. Последний раз она даже рассердилась на нее: позвала платье шить, а сама кто знает о чем думала. Этот рыжий Дугин еще — тенью бродит по земле.

Первый ткацкий узел она завязывала на шестой день учения. Вышло так просто, что Татьяна не успела удивиться. Клавдия стояла у соседней машины, когда Татьяна увидела обрыв нити. Скорее даже почувствовала, что должен быть обрыв. Увидев, она быстро шагнула, подхватила концы нитей,— еще не думая, что ей удастся их связать,— сделала петлю, сбросила ее с падыца и узел получился не хуже чем у опытной ткачихи. Хорошо, что Клавдия не заметила, как ее ученица справилась с обрывом, может, следующий раз Татьяна не сможет так быстро и красиво выполнить эту работу. Радостная, чуть смущенная стояла она, когда заметила новый обрыв. Ка-

залось, сама машина проверяет способности человека. В тот же момент, когда она заметила второй обрыв, Клавдия отошла от машины. Она видела, как Татьяна подхватила концы нитей, набросила петлю, но потянула сильнее, чем нужно, и нить не выдержала, порвалась. Клавдия сделала узел сама.

— Скоро получится, — успокаивая, сказала она. — Всему свое время.

Татьяна молча смотрела на руки: как же они подвели ее! Ей захотелось, чтобы враз порвались несколько нитей, чтобы она стала рядом с Клавдией и быстро, ровными, рассчитанными движениями сделала столько же, сколько и Клавдия.

За эту неделю Татьяна, пожалуй, впервые услышала работу машин, их дыхание, биение сердец, если можно так выразиться.

Неделя оказалась богатой и другими событиями. Григорий подтвердил разговор следователя о повторном рассмотрении дела. Пересуд будет скоро, писал он, однако радости не выражал. Скорее можно было думать, судя по письму, что новый разбор не умалит его вины. Одна фраза даже насторожила ее: «Мне теперь все равно, жить можно и здесь». Неужели он так хорошо «устроился», подумала она, что совсем не волнуется? Она никак не могла представить, как он там живет, на чем спит, что ест. Если они — Григорий и все остальные — работают, значит, они не сидят сутками в камерах, за решетками. И успокаивала себя тем, что у нее и у Григория почти одинаковая жизнь: работа, еда, сон, отдых в воскресные и праздничные дни. Только живут они в разных местах. Телеграмма Василия обрадовала ее куда больше, чем письмо мужа. «Выезжаем домой». Два слова, вызвавшие гулкое биение сердца и непонятную тревогу.

На этой неделе было решено отправить Лену в детский санаторий для туберкулезных больных. Как не близко приняла Татьяна разговор с Варварой Петровной в день именин, все же не верилось, что это случится так скоро. Она боялась разлуки с дочерью. Дарья Ивановна тоже оказалась далеко не равнодушной к отъезду девочки. Случайно Татьяна подслушала их разговор и удивилась скрытой дружбе ребенка и старухи.

— Хочешь в больницу? — спрашивала Дарья Ивановна, не пытаясь скрывать, что детский санаторий это тоже больница.

— Нет, — ответила Лена.

— А с мамой?

— И с мамой не хочу.

— А со мной? — допытывалась Дарья Ивановна.

— С тобой поеду. — Где же ты там будешь жить, бабушка?

— Найду где. Подружка есть в Ивановке.

— У старых тоже бывают подружки? — с интересом расспрашивала Лена. — Они тоже старые, как ты, эти подружки?

— Одна — помоложе меня года на три. Другая — постарше.

— А ты будешь иногда ко мне со своими подружками приходить?

— Как же, и с ними приду.

Татьяна попробовала было отговорить Дарью Ивановну, но та не хотела и слушать.

— Одну девочку никуда не отпущу. Хочешь, езжай с ней сама.

— Но Лене придется пролежать всю зиму!

— Там видно будет. А на первое время я с ней останусь.

Последней из цепи больших событий недели была встреча с председателем каменского колхоза Афанасием Петровичем. Татьяна не поверила глазам, когда увидела его в комнате рядом с Дарьей Ивановной. Она пришла с работы, хотела переодеться и сбегать в закусочную, к Акопу Ивановичу, заказать торт на седьмое ноября: праздник, десятого Лена с Дарьей Ивановной уедет. И вообще, жадничать нечего, не военное время.

Афанасий Петрович ждал давно. На гвозде в кухне висела его шуба и шапка, на столе стояла бутылка вина, лежали конфеты, круг колбасы.

— Опоздал, опоздал, примерно сказать, — заговорил он, поднимаясь навстречу Татьяне. — Доченька-то, в известном смысле, именинница.

— Что? — переспросила Татьяна. Она отвыкла от витиеватых фраз Афанасия Петровича и поняла лишь, что речь идет о дне рождения Лены. «В известном смысле», как сказал гость.

— Поздравить прибыл,— пояснил он,— от лица труженников социалистической деревни. Да опоздал, как выяснилось досконально. Навестить, о здоровье справиться и так далее.

— Прошли именины,— сказала Татьяна.— А здоровье — не жалуемся. Как видите.

— Соображаю! Горожанам бессмысленно тревожить органы здравоохранения. Здесь и техника безопасности, примерно сказать, на известном уровне, и охрана труда шагает в ногу с современностью. Прогресс по всем статьям и параграфам.

Видимо, следовало принимать гостя, раз пожаловал, подумала Татьяна. Вернется домой, всем расскажет, как заезжал к Высотиной, чем угощала, в чем была, как живет. Она извинилась, прикрыла дверь, надела цветастое платье. Умылась, напудрилась. Чего его черт притащил? Уж не на работу ли в колхоз звать. Может, бригадиром вместо Валуева?.. Может, народ потребовал, чтобы председатель Татьяну назад позвал? Депутат она от каменцев, награду имеет... До Ивановки от Каменки рукой подать — оттуда она к Лене каждую неделю ездила бы. Она не представляла, что старое так живуче, стоит лишь мельком встретиться с ним.

Дарья Ивановна сидела недовольная и пустым разговором и посещением гостя. Татьяна собрала на стол, налила чай. Афанасий Петрович открыл вино. Чокнулись за встречу, за «благополучное» здоровье. «Что же привело его сюда? — снова подумала Татьяна.— Сразу и не поймешь. Как сом на удочке, того гляди уведет в сторону, сорвется».

— Что же вы мне про муженька ни слова? — спросил Афанасий Петрович.— Вот ведь оказия свершилась!

— Живет, работает,— неохотно ответила Татьяна.

— Постепенно отбывает, в известном роде.

— Да.

— С мыслями о доме и родном производстве, примерно сказать.

— Понятно.

Разговор перешел на погоду — пара ничего не значащих фраз. И снова перекинулся на Григория.

— Ежели ничего дополнительного не встретится, скоро станет пребывать в ожидании возвращения, в известном смысле, к очагу.

- Что уж теперь дополнительного!
- Я в понятии розысков завхоза Кузьмы.
- Пойман он. Следователь на днях говорил.

Она не заметила, как это взволновало Афанасия Петровича. Он не смог сразу поддержать разговор и, стараясь казаться спокойным, неизвестно к чему упомянул о Валуеве. Мол, трудно ему руководить женской бригадой. Мужик есть мужик. Но тут же опять вернулся к Григорию. Замысловато накручивая слова, выпросил, когда Татьяна виделась со следователем, что он ей говорил, и сказал, что *групповое* дело, конечно, дрянная штука.

Распрощался он слишком быстро, поразив поспешностью Дарью Ивановну. Смутные надежды Татьяны на приглашение в колхоз не оправдались. Она проводила гостя без сожаления. Вместо радости в душе осталась досада, словно председатель чем-то умышленно обидел ее. Лишь позднее, вспоминая о его приезде, Татьяна поняла, что Афанасия Петровича интересовало все то, что касалось и было связано с Григорием.

6

- Красиво как, тетя Таня!
- Очень красиво, Степан.
- Вы завтра идете на демонстрацию? — и, не дожидаясь ответа, выложил: — Первому классу не разрешили. И второму. Маленькие, говорят. Я с мамой попрошусь. Возьмет или нет, как думаете?

Татьяна увидела Василия. Он шел через площадь — в кепке, сером пальто и тяжелых кирзовых сапогах. Она поспешно обернулась к Степану, сунула ему в руки коробку с тортом, бросилась навстречу. Плохо это или хорошо, что сама побежала к нему, на виду у людей, Татьяна не думала. Она схватила его руки, сжала ладонями и, не зная, что сказать, смотрела и смотрела на темное от степного загара, огрубевшее на ветру лицо. И сказала самое глупое, как ей показалось:

- Приехал?
- Пару часов назад. Поставил машину в гараж... ты домой идешь?
- Да.
- Встретимся вечером?
- Обязательно!

— Буду ждать.

— В восемь.

— Хорошо, в восемь.

Но уходить не хотелось.

— Что ты будешь делать до восьми?

Он рассмеялся и ответил, что с удовольствием не пошел бы в баню, если б не такая дальняя дорога.

— Надо побриться. Завтра же праздник!

— Для меня он наступил сегодня,— призналась Татьяна.

Она шла домой полная радости, как была полна улица солнечным светом.

Глава третья

1

Вещи заняли в чемодане слишком мало места. Казалось, Лена ехала всего на неделю, потому мать не положила ничего лишнего: костюмчик, два платья, пара трусов и маек, домашние туфли, несколько носовых платков, чулки. Да мишка — послушный, разговорчивый медвежонок. С ним Лена ни за что не хотела расставаться. Он с удовольствием улегся в чемодане, закрыл глаза, готовый в дорогу хоть сию минуту.

Ночью выпал снег. И хотя день был пасмурный, Лена ликовала. Деревья дремали, закутанные в удивительно пушистые шали, провода казались гирляндами, опущенными ватой. А у калитки стоял «москвич» дяди Васи. «Москвич» все утро был в центре внимания: Лена радовалась предстоящей поездке, Татьяна смущалась, что их везет Василий, Дарья Ивановна подозревала в этом заранее продуманный план Татьяны и Василия. Тем не менее все старались быть веселыми, словно собирались на пикник, и это удавалось.

Перед тем как выходить из дому, Татьяна налила Дарье Ивановне, Василию и себе по стакану вина. Легкий звон стаканов прозвучал последним прощальным сигналом отходящего поезда. Дарья Ивановна взглянула на Татьяну, вздохнула и сказала:

— Ладно... смотри тут.

Потом все сели, как положено перед дорогой, молча

глядя себе под ноги. Это молчание как-то вдруг отчетливо сказало Татьяне, что она теперь останется в доме одна и иногда к ней сможет заходить Василий. Иногда, совсем не часто, если случатся такие дни, когда... на дворе поднимется буря... Она старалась отогнать мысль, что он будет заходить к ней совсем не прячась от бурана, заходить, чтобы целовать ее, говорить ей о любви — ведь они не дети, чтоб играть в прятки!

— Пойдемте,— она первая поднялась, посмотрела на диван, на стол: не забыла ли чего. Потом случайно взглянула на кровать и устыдилась; торопливо застегнула пальто, взяла на руки Лену.

Дарья Ивановна сидела с Леной впереди, с сухостью постового на дороге, поясняя, что от большого моста,— он виднелся уже,— до Ивановки останется сорок пять верст. Временами кусочек ее твердого угловатого лица появлялся в узком зеркале над ветровым стеклом. Тогда Татьяна отодвигалась еще больше вправо, чтобы не встретиться с Дарьей Ивановной глазами. Ей казалось, старуха немедленно угадает, что Татьяна, как это ни странно, думает только о Василии. Его лицо тоже попадало в полоску зеркала, и Татьяна то склонялась, то отодвигалась на сиденье, чтобы удержать его перед собою.

Половину дороги говорили мало: любовались снегом, солнцем, думали каждый свое. Но чем ближе подъезжали к Ивановке, тем яснее становилось, что скоро придется расстаться и каждого ждет одиночество.

— Дом не застуживай,— сказала Дарья Ивановна.— Протапливай плиту каждый день.

— Знаю,— ответила Татьяна.

— Кошку не забывай кормить...

— Ладно.

— Как надумаешь к Лене, первоначально меня разыщи.

— Понятно,— ответила Татьяна.

— Заедем, увидишь где я расположусь.

— Запомню, тетка Дарья.

— Труда не надо запоминать: палисадник, а ворота зеленые.

В зеркале мелькнула улыбка Василия. Качнулась, отплыла в сторону и снова появилась.

— Давно вы бывали там, у своей знакомой? — спросил он.

— Чего давно! Года четыре назад. А она у меня ка-
жен год. Как в город, так и ко мне.

— И про ворота рассказывает?

— Чего ей про ворота! — недовольно ответила Дарья Ивановна. — Других разговоров хватает.

— К тому я, что ворота уже могли перекрасить. Ищи
их теперь.

Это на какое-то время озадачило Дарью Ивановну. Но
она быстро справилась с растерянностью и утвердительно
сказала:

— Что сделано — то сделано. На кой их перекраши-
вать!

Солнце било в глаза, и смотреть на снег было больно.
Дорога уходила в большую низину, расплывавшуюся во
все стороны огромной белой эмалированной чашей. Соб-
ственно, сама дорога, местами оттаявшая под солнцем,
добегала только до дна этой чаши, дальше она угадыва-
лась лишь по шеренге столбов, уходящих в гору. Столбы
тянулись на подъем, как альпинисты, для безопасности
связанные друг с другом проводами. Белая гладь кон-
трастно подчеркивала их стройную спортивную форму
и безукоризненно отработанную длину шага.

В Ивановку они попали перед обедом. Санаторий
стоял в стороне от дороги, на краю села, окруженный
большим старым садом. Их встретила полная пожилая
женщина с добрыми карими глазами и краснеющим
рыхлым носом. Она узнала Татьяну, и Татьяна узнала ее,
сразу же назвав Елизаветой Прокофьевной. Она обра-
довалась приезду Лены, сказала, что девочка вырос-
ла, дала ей шоколадный батон и заключила: хоро-
шо, что привезли, лечение надо продолжать. Потом на-
чался осмотр Лены. В кабинет вошли еще две женщины
в белых халатах и мужчина. Василий и Дарья Ивановна
сели в коридоре на скамейку. Больничная обстановка
никогда не нравилась Василию, и он с нетерпением по-
глядывал на дверь кабинета, от души жалея Лену. Будь
это его ребенок, он, пожалуй, не согласился бы оставить
его одного, пусть даже под присмотром Елизаветы Про-
кофьевны, у которой такие добрые глаза и совсем несус-
разный нос.

Осмотр занял не более десяти минут. Сначала из ка-
бинета вышел мужчина, затем женщины в белых халатах.
Скоро показалась и Татьяна. На ее глазах были слезы.

— Ну вот,— сказала она, с видом человека, которому сделали операцию и тут же отпустили домой.

Елизавета Прокофьевна дала всем халаты и разрешила посмотреть новое жилье Лены. Большая комната выходила окнами в сад. Ковер, во всю свободную площадь пола, скрадывал шаги и казалось, что в этой тишине даже говорить нужно только шепотом. Кровать Лены — свободная из пяти — стояла в углу у массивной печи, выходящей в комнату одним боком.

— Нравится тебе здесь, Леночка? — тоном старой знакомой, спросила Елизавета Прокофьевна. — У нас не будет плохо.

— Да,— ответила Лена, взглянув на Василия. Но радости она не испытывала.

Они еще постояли немного, скорее ради приличия; говорить что попало не следовало, а подходящее к месту не шло в голову. Дарья Ивановна сказала, что к вечеру подойдет, и первая направилась к выходу. Татьяна поцеловала дочь, к чему-то поправила воротничок на платье, хотя знала, что Лену сейчас же переоденут в больничную одежду. Еще раз поцеловала, пригладила волосы. Василий видел, как она на миг крепко закрыла глаза, сдерживая набегающие слезы.

— Оставайся, доченька. Я буду часто к тебе... — и отошла к Елизавете Прокофьевне.

Наступила его очередь. Он протянул руки, и Лена охотно согласилась подняться. Он прижал ее к себе. И неожиданно появилась жалость. Единственный из всех, он ничего не мог ей сказать ободряющего или утешительного, ничего не мог обещать, как мать или Дарья Ивановна. И обрадовался, когда она наклонила голову к его уху, задевая лицо своей щекой, удивительно тихо спросила, как старого друга:

— Приедешь?

Он торопливо закивал в ответ, как заговорщик, необыкновенно обрадованный и польщенный вниманием и доверием. Он был тоже нужен этому маленькому человеку с проступающими сквозь платье угловатыми костями, как у птицы; он обязательно приедет, говорить нечего! Она сильнее прижалась к нему, на какое-то время затаив дыхание. Василий заметил, как Елизавета Прокофьевна что-то шепнула Татьяне. Та покачала головой и покраснела.

Разумеется, разговор у знакомой старухи, подруги Дарьи Ивановны, шел только о Лене. Они не сразу нашли нужный дом, ориентируясь на палисадник и зеленые ворота. Палисадники были у всех или почти у всех домов, а ворота, когда они наконец через людей узнали нужный адрес, так порыжелли, что трудно было угадать, какой они имели первоначальный цвет — зеленый, желтый или малиновый.

— Поправится — опять домой,— говорила Дарья Ивановна.

— Доглядим,— поддакивала хозяйка дома, совсем маленькая, словно игрушечная старушка, на редкость подвижная. Звала ее Дарья Ивановна почему-то Фисой, может, так, как звала еще в девушках.

— Пожалуйста, тетка Дарья,— просила Татьяна,— я ведь часто бывать не смогу.

— И не надо. Пока я здесь, будет порядок.

— Как же без порядка? — вопрошала Фиса.— Будет!

Она наташила на стол всего, что было заготовлено в зиму: грибы, капусту, соленые помидоры, ветчину, мед, варенье нескольких сортов. Вздыхая, приговаривала: «Чем же я вас, гостюшки нежданные-негаданные, угощать буду».

— Недельки на две я у тебя застряну.

— Хоть месяц! — воскликнула Фиса.— Хоть два. А то и до весны живи. Мой старик сейчас сторожем на ферме, так я дни-деньские одна. А после его смена в ночь уходит. Так ночами одна.

— Нельзя же девчонку оставить на произвол судьбы.

— Что ты, никак нельзя. Ни-как!

— Ты ведь, Фиса, тоже такая, как я,— вздохнула Дарья Ивановна.— Нет мне покою.

— Куды там! Спокой,— подхватила Фиса,— быть-то ему откуда?

Временами они совсем забывали о присутствии Татьяны и Василия. Но неизменно их разговор переходил на Лену, которой «там будет неплохо», как сказала главврач Елизавета Прокофьевна.

— Медку ей, вареньица завтра отнесем,— говорила Фиса.

— Грибочки она уважает,— добавляла Дарья Ивановна.

— И грибочками побалуем...

Солнце добросовестно отдежурило смену, пока они ехали и устраивали Лену. Небо снова затянулось серой хмарью. Основательно подтаявший за день снег стал застывать, зияя темными прорехами изношенной одежды.

Татьяна терпеливо смотрела на дорогу, ожидая когда Василий заговорит. Он полагал, что расставание с дочерью лишило ее сил и говорить о чем-либо не совсем удобно. Но все же он сказал, совсем не собираясь, скорее произнес вслух то, о чем думал:

— Не люблю болтливых старух... они способны восторгаться даже самими собою.

— Они всегда найдут о чем говорить.

— Это тоже надо уметь.— Он вел машину слишком тихо, стараясь побыть с Татьяной как можно дольше.— В окно дует... подвинься ко мне.

Она подвинулась сразу же, и Василий отметил про себя, что у нее не такое уж плохое настроение, как он полагал.

— Боюсь, мы не доберемся к ночи до города,— сказала Татьяна.

— Подмораживает, резина скользит,— но газ прибавил, и обочина дороги стала отступать назад быстрее.— Я тебе не говорил еще: с завтрашнего дня перехожу в продснаб комбината. Это тоже там,— махнул головой, имея в виду, что работа в той же организации.

— Почему же переходишь? — насторожилась Татьяна.

— Работа веселее. Рейсы дальше.

— Только потому?

— Не совсем. В продснабе более живое дело и... руководство лучше. Завгаром Степа Никодимов, старый друг.

Это объяснение не устроило Татьяну. Ей показалось, что переход определенно связан с чем-то другим, более значительным. И Василий не говорит потому, что не желает ее расстраивать.

— Теперь я смогу частенько бывать в этих краях,— сказал он, кивая на снежную степь.

Татьяна промолчала.

— И заезжать к Лене.

Этой фразой он словно раскрыл перед Татьяной карты, совершенно не боясь за исход игры. Вот почему он переходит в продснаб: чтобы не толкаться по городу с пряжей, а почаще бывать в дальних поездках, почаще

навещать Лену! Да, да, у продснаба где-то в этих краях поля под картошкой и бахчами... Ей стало стыдно, что она заподозрила Василия в скрытности. Неужели он любит Лену как свою дочь? Нет, конечно, но относится к ней Василий очень хорошо. Когда Лена обняла его, Елизавета Прокофьевна спросила: «Отца нашла?» Он хочет почаще заезжать к ней, ведь ей там будет очень скучно одной. Понятно, Дарья Ивановна станет навещать и эта... Фиса. Лучше бы ее звали как-то по-другому.

— Ты решил перейти в продснаб ради меня.

— Да,— ответил он, задумчиво глядя на дорогу.— Ради тебя.

— Какой ты добрый!

Она еще ближе подвинулась к нему, касаясь плечом. Ей было тепло рядом с ним, в этой маленькой крепости на колесах, отделяющей их от снега, хмурого неба, от всего мира. Тепло и радостно. Хотелось ехать и ехать, покачиваясь, касаясь плечом его плеча, то отшатываясь, то опять прикасаясь еще плотнее. Ехать, пока не кончится дорога, пока не наступит сказочное забытие или сон. Но и после этого все ехать и ехать. Куда и зачем — это не имело значения. Быть рядом, только вдвоем.

— Но мы теперь,— сказал Василий,— не сможем видеться днем. Только вечерами.

— Почему? — тихо-тихо спросила она, завороженная мыслью о бесконечной дороге.

— Я же перехожу в продснаб!

— Ах, да... да, да.

— В цехах мне делать уже нечего... Варвара Петровна противилась, возражала.

— Она очень хорошая.

— Да. Вторую такую сыскать трудно.

— Много на свете хороших людей.

— Много... Посмотри: заяц!

Он притормозил машину, показал вправо. Метрах в пятидесяти от дороги бежал зайчишка. Белый снег выдавал его серую с прожелтью, еще не вылинявшую одежду. Вот он добежал до куста какой-то сухой высокой травы, присел, почти слился с травой и снегом. Но Татьяна видела его отчетливо. Захотелось выскочить из машины, побежать, вспугнуть зайца. Она уже было схватилась за ручку дверки, как зайчишка оставил свое ненадежное пристанище и криво, кидаясь влево, вправо,

точно хмельной, отчаянно улепетывал подальше от дороги. Татьяна смотрела на серый комочек, растворявшийся на снегу, пока совсем потеряла его. Она обернулась, встретила лицом к лицу с Василием. И сразу поняла: все это время он смотрел не на зайца, а на нее.

— Что, Вася?

— Смотрю, какая ты.

Она рассмеялась и поцеловала его в щеку.

— Мы определенно не доберемся до города засветло,— сказала, поднимая воротник пальто, хотя в машине было довольно тепло.

Снова дорога заскользила под колеса машины, ускоряя и ускоряя бег. Снова на память пришла старушка Фиса, а за нею Лена. Сейчас с нею сидит Дарья Ивановна. Ведут речь, что в деревне куда лучше, чем в городе. Эту мысль Дарья Ивановна втолковывала Лене несколько последних дней подряд. «Придется наложить шины,— сказала Татьяне врач Елизавета Прокофьевна.— Сделаем небольшую вытяжку ноги. Пораньше бы следовало привезти девочку». Хорошо, хоть теперь удалось. Если бы не Варвара Петровна...

— Я тебя несколько раз во сне видел,— сказал Василий.— Там, на целине. Уставали зверски, а все же сны снились. За день так накрутишься, всю ночь баранку в руках чувствуешь.

— Говори, говори,— попросила она.

— Раз видел, вроде бы ты совсем еще девчонка... смешная такая. С бантиком на голове и эти... косички, как хвостики. Ты все убегала от меня.

— Догонял бы!

— И так догонял! Схвачу за руку, а ты опять вырвалась... Раз мы с тобой где-то реку переезжали. На машине. И заглох мотор, у самого берега. Возились, возились в воде, кое-как вытолкали машину на берег. Потом ночевали в лесу. Ты была тихая-тихая, словно это и не ты.

— Может, в самом деле была другая, не я?

— Ты была,— кивнул он, осторожно объезжая остановившуюся на дороге машину. Машина стояла в центре шоссе, и Василий провел «москвич», почти касаясь ее.

— Я хорошо помню, ты была,— продолжал он прерванный разговор.— Мы разожгли костер и грелись. А кругом тьма. И лес шумел.

— Что же потом было?

Василий улыбнулся, сказал, что больше ничего увидеть не удалось. Он сердился, когда его разбудили. Как раз моросил дождь, до обеда автоколонна стояла без дела. Торчали в общежитии. В тот день ему что-то отчетливо вспомнился отец.

— А где твой отец, Вася? — спросила Татьяна. — Он... жив?

— Нет, — покачал головой Василий. — Где-то в первый месяц войны погиб. Я его помню лишь по фотографиям. Но на них он везде хмурый. Думаю, что он был не совсем таким. Он не любил фотографироваться.

Шоссе заскользило под уклон пятнистой лентой протаявшего снега. Столбы-альпинисты и под гору спускались, прочно связанные друг с другом длинной цепочкой, — молча, устало.

— Знаете, — неожиданно он назвал ее на «вы», словно обращаясь к незнакомому попутчику, — все получилось очень страшно. Я о смерти отца. И стал рассказывать.

Отец как раз гостил у брата, где-то под Минском. У самой границы. Началась война. И вдруг приходит похоронная. Это было невероятно: как отец оказался в армии, почему — никто не знал. А на другой день телеграмма: не волнуйтесь, все хорошо. И подпись отца. Мать чуть с ума не сошла.

Он рассказывал так, словно все это было пять дней назад, месяц, но не больше. За телеграммой опять приходит похоронная. В ней уже сообщается другое место: похоронен в деревне Волошки. Василий это хорошо запомнил. А в первой было сказано — в деревне Гончарицы. И вдруг — письмо! Две похоронные, а после — письмо. Главное, с фронта. Пишет отец, что в первый же день войны пошел в военкомат, подал заявление и сразу взяли: он был офицер запаса. Стал командиром роты. Просил не волноваться. Было два боя, но ничего, обошлось. Обещал прислать фотографию. После разобрались. Видимо, он написал письмо перед самой смертью. День отправки письма и день смерти, указанной в похоронных, был один и тот же. Но мать не могла поверить, что он убит. Не хотела верить. Она ждет его до сих пор.

— Он же погиб! Если бы пропал без вести...

— Да, но попробуйте поговорить с ней! — ответил Василий.

— Я понимаю.

— У нее только он и я. Даже он для нее больше, чем я, хотя его слишком долго нет с нами... Я его совсем не помню, только по фотографиям. Но на фотографиях он почему-то хмурый... да, я уже говорил об этом.

Ему редко доводилось рассказывать об отце, особенно так, в совершенно доверительной обстановке и, стараясь вспомнить все как было, Василий постоянно начинал с фотографии. Так сначала вспоминается факт, потом обстоятельства.

Он стал еще ближе, когда рассказывал о своем отце, словно смерть его отца и ее отца — оба погибли на фронте, — еще больше сблизила их, взрослых детей погибших.

Когда машина поднялась на косогор, совсем неожиданно увиделся город — рядом, в каких-то пятистах метрах. Было еще светло, но на улице уже горели огни. Город медленно заволакивала студеная серая дымка.

Красный свет на перекрестке преградил дорогу. «Москвич» стал в «затылок» огромному самосвалу, с ребристым металлическим кузовом.словно спрятался за старшего.

— Устала? — спросил Василий, взглянув на Татьяну.

— Нет.

— Я все боялся, чтобы ты не замерзла. И было бы тебе хорошо. Дорога не близкая.

— Мне с тобою всегда хорошо. А машина у тебя — такая маленькая и удобная.

Самосвал впереди двинулся. Василий свернул в улицу, остановил машину у цветочного магазина.

— Подожди минутку.

— Поедем, Вася. Я знаю, зачем ты хочешь пойти.

— Подожди.

Он вернулся с букетом цветов.

Потом торопливо повел машину к дому.

— Поставим «москвича», и я провожу тебя.

Она подождала его у ворот, решительно отказавшись заходить во двор. Туфли за день намокли и, пока ехали, она не чувствовала холода. Здесь же сразу охватил озноб.

— Пойдем скорее, мне так холодно, — попросила Татьяна, когда Василий вышел.

Они молча прошли до самого дома. Татьяна открыла

сени, торопливо вошла в комнату. Но и здесь за день выстыло:

— Давай затопим печку,— сказал Василий.— Я не могу оставить тебя в таком леднике.

2

Он проснулся что-то около четырех утра. Светящиеся стрелки и цифры на часах были единственным компасом в крошечной тьме чужой квартиры. Почувствовал ее руку, смело заброшенную на грудь. Татьяна дышала удивительно ровно, как выздоравливающий после перенесенной операции, когда сон восстанавливает силы лучше самых чудодейственных препаратов.

«Так»,— первое, что пришло ему в голову. Он вспомнил, как они разожгли печь. Потом пили чай. Потом он сказал, что домой идти совсем не хочется. Потом... Но все это было уже в прошлом. Настоящее почти не вырисовывалось, не имело ни форм, ни очертаний. Ему страшно захотелось закурить. Никотин ослабляет мышление, но он как бы помогает сосредоточиться. Конечно, это привычка, убеждение, однако пусть хоть привычка поможет, подумал Василий. Ему надо сосредоточиться, хоть на короткое время. Татьяна проснется, и он должен ей рассказать такое, что нельзя говорить вдруг, толком не обдумав. Ничего страшного, разумеется, все будет хорошо. Хуже, если до нее дойдут слухи, сплетни, и ему придется объяснять все задним числом. У него есть знакомая — он даже про себя теперь не мог сказать: невеста! — и если бы не Татьяна, он женился бы на ней. У него нет ничего близкого с этой женщиной, просто добрые человеческие отношения. Теперь он уже не сможет с ней встречаться, не сможет жениться на ней. И он не жалеет, что встретил Татьяну, что стал близок с нею. Все это надо как-то рассказать, чтобы она правильно поняла, чтобы...

Она пошевелилась, провела рукою вверх, к его лицу. Он взял ее руку.

— Ты не спишь? — спросила она, прижимаясь к нему.

— Я только проснулся,— солгал Василий, боясь, что именно сейчас может быть разговор к которому он так и не успел подготовиться.— Уже половина пятого.

— Еще ночь.

— Скоро мне пора уходить.

— Успеешь...— Она сказала это так, словно ему надо было идти не на другую улицу, а перейти с кровати на диван, либо в соседнюю комнату. Чего доброго можно и проспать, если опять уснуть. Он снова сжал ее руку, сказал:

— Придется тебе сегодня встать пораньше.

Но она не ответила. По ровному дыханию не стоило труда определить, что она опять заснула.

Он стал обдумывать: сегодня или завтра рассказать ей обо всем? Конечно, не позднее завтрашнего дня. Его никто не торопит, но и тянуть нельзя. Все решено. А что, собственно, решено? — подумал он. Что перестал встречаться с одной женщиной и завел любовь с другой?.. Нет, нет, он твердо намерен сделать Татьяне предложение. Так долго тянуться не может. Вот он остался в ее квартире, лежит в ее постели — не муж, не любовник... Она настолько привыкла к нему, что посчитала чуть ли не в порядке вещей, когда он решил остаться, стал раздеваться. Не может же быть, что она совершенно не думает о последствиях. Но первое слово должно принадлежать ему... Он даже не имеет права заступиться, если кто-то обидит Татьяну. Что он может сказать в таком случае?.. Конечно, следовало бы предварительно посоветоваться с матерью. Она знает о его прошлом знакомстве, одобряет это знакомство. Она поймет и сейчас...

Василий осторожно снял ее руку с груди, потянулся за папиросой. Огонек разбудил Татьяну. Она сжалась, сунула голову ему под руку, прячась от света и холода. Что-то недовольно пробурчала, как котенок, согнанный с теплой постели.

— Мне пора идти, Таня.

— Куда? — сонно спросила она.

— Домой.

— Домой?.. Да, да.

— Я буду вставать.

Это отогнало сон. Она попыталась еще глубже зарыть голову под его руку и волосы зашекотали шею. Но тут же убрала голову, вытянулась, обняла его. Недовольно сказала:

— Брось, пожалуйста, дымить. Сколько времени?

— Скоро пять.

Татьяна вздохнула.

— Что же, иди... Проводить тебя?

— Зачем же!

— Иди, ладно,— добавила она с сожалением.

— Я хотел поговорить с тобой. Мы уже встречаемся не первый раз, и надо кое-что решить.

— Сейчас?

— Нет, не обязательно сейчас. Но как-то скоро, может, завтра.

— Пусть завтра,— согласилась она.

Путь для маленького отступления был открыт. Но Василий не захотел им воспользоваться.

— Послушай, Таня!.. Вот мы вместе. Все хорошо. А что дальше? Встретимся еще раз, после — еще. Пять, десять раз.

— Тебе мало этого?

Его обидел, даже оскорбил ее ответ. Так может сказать женщина, живущая с мужем, которая тайно отдает любовь другому.

Но ему мало было только близости. Он хотел видеть Татьяну днем, вечером, утром и ночью, в обычные дни и в дни праздников, провожать и встречать, просто сидеть рядом, не поглядывая на часы. Он мало думал о Лене. С нею, казалось, вопрос уже решен, с Леной у него сложились самые добрые отношения. Он видел, чувствовал, понимал, как девочка тянулась к нему, сколько было откровенной непосредственности в ее разговоре, в каждом движении.

— Так ты уходишь или...

— Да, мне скоро надо уходить. Послушай, Таня. Не сейчас бы об этом говорить, но... У нас с тобой немного наоборот получилось: сначала мы стали жить...

— Не надо, Вася,— остановила она.

— Мы должны об этом поговорить.

— Думаешь, сейчас самое удобное время?

— Это не имеет значения. Объясняются не только у калиток.

— Хорошо, говори,— согласилась она.

— Надо что-то решать, Таня. Мне плохо без тебя. Мы уже достаточно знаем друг друга и теперь можем без труда во всем разобраться. Давай поженимся! Понимаешь...

Она с силой оттолкнулась от него, потянув за собою одеяло и замерла, словно он причинил ей боль и мог

сделать еще большее. Его предложение застало Татьяну слишком врасплох, хотя она несколько раз думала об этом.

— Что с тобою? — удивленно спросил он.

— Ничего. Говори.

— Мы будем хорошо жить, Таня. Я люблю тебя... — и пожалел, что сказал о любви; слово прозвучало совсем не так, как думалось: фальшивой монетой среди горсти серебра. — Я просто не могу без тебя, — с отчаянием добавил он. — Я не могу ходить к тебе вот так, как сегодня, торопиться домой, чтобы меня кто-нибудь не увидел, скрываться от людей... зачем все нужно? — Это было сказано искренне. — Давай будем жить вместе.

— А Лена? — глухо спросила Татьяна.

— Ты и Лена — одно и то же. Лену я люблю не меньше тебя. Это особый разговор. Главное, чтобы тебе было хорошо, а она не пожалеет.

Самое время было рассказать, что он совсем недавно собирался жениться. Но Татьяна молчала, и Василий не стал говорить. Как-нибудь в другой раз, не сейчас. Он уловил ее вздох, протянул руку, подвинул к себе. Она подчинилась его воле с покорностью ребенка. Только никак не могла побороть противную мелкую дрожь. Василий ждал, что она ответит. Да, все следовало обдумать, такое враз не решить, и, глядя ее волосы, не тропил.

— Ой, Вася, Вася, — сказала она наконец. — К чему ты тревожишь меня.

— Я все обдумал, — начал он, но Татьяна остановила:

— Не надо... Иди. Дай мне побыть одной.

...Серый рассвет занимался медленно, скованный холодом, и притихшие дома глядели в утро настороженно. Ночью снова шел снег. Пожалуй, это уже зима, подумала Татьяна, выглядывая во двор. Пора, пора.



— О чем лекция, Варвара Петровна?

— О божь.

— Поговорить бы лучше о новых модах! Опять этот... начнет с сотворения мира и до наших дней.

— Сухой пластырь, — сказала Настя Свистелкина.

Начальника отдела кадров ткачихи недолюбливали. Он знал это и, казалось, мстил им. Его месть особенно проявлялась на лекциях, которые начальник отдела кадров читал аккуратно два раза в месяц. Длинный, сухой, с большими очками на тонком вытянутом носу, он добросовестно посвящал ткачих в тайны вселенной, твердо веря, что без него они навсегда остались бы невежественными в окружающем мире чудес и загадок. Потому ли, что все вопросы оказывались крайне сложны и говорить о них простым языком было чрезвычайно трудно, или в силу близорукости, читая лекции, он ни на секунду не отрывался от написанного текста, полагая, что и слушатели так же неотступно следят за каждым произнесенным словом.

Татьяна села в последнем ряду, надеясь убежать пораньше: утром не успела плитку протопить, наверно, выстыл дом, хоть волков морозь. Снег упорно лежал уже пятый день. Днем немного отпускало, но по ночам подмораживало основательно. После осеннего тепла холод чувствовался особенно остро.

— Подвинься, Тань,— толкнула в плечо Клавдия.

— Садись, тут еще место есть.

— Настя сейчас придет.

— Я бы с удовольствием удрала домой,— призналась Татьяна.

— Варвара Петровна в коридоре, неудобно.

Пришла Настя. Села по другую сторону Татьяны. Рассмеялась, прикрывая рот рукой:

— Девки! Давайте спросим у нашего лектора, он тоже произошел от обезьяны?

— А то не видно по нему,— насмешливо ответила Клавдия.— Блузки сегодня в магазине мировые продавали! Размер мал, сорок четвертый. А то бы...

Начальник отдела кадров прошел к столу. Развязал папку, вынул бумаги. Посмотрел на передние ряды, кашлянул, поправил очки.

— Есть ли бог, товарищи? — еще не глядя в рукопись, начал он, стараясь каверзным вопросом заинтриговать слушателей. Татьяне так захотелось крикнуть: Есть! — просто ради смеха, чтобы посмотреть, как лектор будет разыскивать ее в массе женщин.

— Этот вопрос, товарищи, давно стоит на повестке дня человечества. Древние люди...

Клавдия наклонилась к уху Татьяны:

— Когда поедешь к дочери?

— В воскресенье.

— Я достала вчера два кило мандарин. Завтра принесу немного, отвезешь.

— Не надо, Клава. У нее есть яблоки.

— А это мандарины!.. Знаешь, оказывается, раньше мандаринами называли богатых китайцев. Вот смешно!

— Что? — наклонилась Настя.

— Потом, — отмахнулась Клавдия, заметив укоризненный взгляд Варвары Петровны.

Монотонный голос лектора словно всплыл из глубины на поверхность:

—...обобщая данные биологии, антропологии, археологии и этнографии, раскрыл закономерности возникновения человека, создания. Фридрих Энгельс, товарищи, говорит, что труд и возникшая с ним речь явились главными факторами, под влиянием которых мозг обезьяны превратился в человеческий мозг, товарищи. В процессе трудовой деятельности сформировался человек, товарищи, вместе с его сознанием. Вся история человечества есть естественно-исторический процесс развития, дорогие товарищи, который не зависит от каких-либо сверхъестественных сил. Не божья воля, товарищи, а изменение и развитие производительных сил и производственных отношений играют решающую роль в движении общества.

— Товарищи, — договорила Настя.

— Аминь, — добавила Клавдия.

Татьяна шикнула: не мешайте слушать! Нет, ее не заинтересовал процесс довольно легкого превращения мозга обезьяны в человеческий мозг, по словам лектора, благодаря изменению развития производительных сил и производственных отношений. Она даже не поняла, как это могло случиться. Просто приятно было слушать умные речи, как, положим, приятно есть мороженое в жаркий день, не представляя технологии его производства. При этом она отметила про себя, что говорит он очень понятно, не то, что Афанасий Петрович. В то же время речь его была как воздух, который невозможно уловить руками, потрогать, почувствовать его.

— Развитие, — продолжал лектор, покоряя Татьяну манерой изложения, — это, товарищи, естественный процесс, который включает борьбу противоположностей, эво-

люцию и скачки, перерыв постепенности, превращение в противоположность...

— ...с мужем расходится... пьяница...

— Кто? — прислушалась Татьяна.

— Агнесса.

— Она пьяница?

— Не она, мужик ее.

— А кто расходится?

— Ну, она!

— А-а!.. — и вспомнила, лектор сказал: перерыв постепенности. Чудно! Не забыть бы... Если пьяница, плохое дело. А Агнесса хорошая баба, одна из лучших ткачих. И по характеру... такая боевая, прижала бы мужика как следует...

— ...По учению баптистов, верующий должен жить не для себя и не для мира, а для Христа. Все стремления верующего должны быть направлены на содействие делу Христа на земле, на достижение оправдания перед богом. Весь смысл жизни верующего сводится к молитве, к прославлению бога. Чем мы больше молимся, товарищи, тем богаче наша жизнь. Это основа утверждений сектантской веры. — Он явно оговорился, хотя никто не выразил ни протеста, не сделал замечания.

Кто-то впереди хихикнул. Лектор смутился. Снял очки, протер носовым платком.

— Что он сказал? — обернулась к Клавдии с переднего ряда полная круглолицая женщина.

— Сказал: они, товарищи, а не мы, — шепнула Клавдия.

— Что — они? — не поняла соседка.

— Ну, они. Не мы, ясно?

Женщина пожала плечами, проговорила с обидой:

— Ты меня не считай за дуру. Сама во всем разберусь, если надо. Подумаешь, ученая стала!

— Я тебе сказала, как он сказал!

— Не глухая, поняла.

— А поняла, так не спрашивай...

Лектор благополучно миновал крутой поворот, на котором споткнулся, и уверенно шел дальше. Он говорил о принципах человеческой морали, о диалектике и мировоззрении, о несовместимости науки и религии. Все было предельно ясно, только слишком возвышенно. И Татьяна невольно сравнила, что проповедник у Полины говорил

куда проще. Даже красивее. Его слова как-то сами западали в память, заставляли верить: «...не будет ни зимы, ни лета, ни дождей, ни гроз, и вечнозеленые деревья станут служить шатрами. Исчезнут зависть и раздоры, дети помирятся с отцами... радость и счастье пребудут на веки вечные знаменем утешенных». Особенно другое. «Отчаявшись в любви, в несчастье ближнего, в смерти или увечье ребенка своего, в бедствии домашнем, мы становимся злыми и враждебными, черствыми и не доверяющими друг другу...» Когда арестовали Григория, она думала, что совсем останется одна-одинешенька со своим горем. А сколько добрых людей встретилось!.. Вот так бы и говорил начальник отдела кадров, чтобы выходило понятно. Мол, потому людям все стало известно, что они сами побывали на небе, посмотрели, как оно устроено. И никаких садов, святых и ангелов не нашли. Гагарин вон куда поднялся, земля ему мячиком казалась! А Титов — целые сутки рассматривал небо. Небось, увидел бы, будь там хоть что-то похожее на рай или ад. Хоть городьба какая...

—...девушка одна,— зашептала Настя полной, круглолицей ткачихе.— Будто поп пришел к ним и службу свою делать начал. Мать, что ли, религиозная была, позвала попа... Поет он молитвы, а она, эта девушка, танцевать начала. Неверующая, ясно? Вот. Танцует да танцует, а поп молится. И вдруг что-то ухнуло, вроде молнии, ослепило всех. Потом, когда прошло, видят: эта девушка так и окаменела, как была. На одной ноге стоит. Туда, сюда, а она вроде той, что в парке у нас, из гипса. Соседи узнали, повалил народ к ним, не меньше чем в зоопарк... Трое суток так стояла, просто каменная. После опять позвали попа. Молился он, молился, пока девушка совсем отошла. В Саратове было.

— В Ростове,— поправила полнолицая.

— В Саратове, говорю.

— Мне знакомая одна рассказывала — в Ростове. И не три дня, а полных четверо суток.

— Брехня, конечно,— заключила Настя.— Попробуй постоять столько на одной ноге!

— Кто ее знает!

— Неужели веришь?

— Говорят же!

Клавдия не утерпела, наклонилась к полнолицей:

— В Ташкенте это было. И не с девушкой, а с верблюдом случилось на базарной площади...

— Тш-ш-ш... Варвара Петровна смотрит...

Кажется, лектор приближался к концу. Читал он заметно бодрее.

— Для преодоления религиозных пережитков,— звучал его голос,— необходимо воспитание нового мировоззрения, товарищи, которое не только дает научное объяснение всего происходящего в природе и обществе, но указывает пути революционного изменения мира на основе познания законов его развития. Важнейшим средством, дорогие товарищи, в освобождении от религиозных взглядов...

— Ты слышала,— шепнула Клавдия,— Варвара Петровна на учебу собирается.

— Уезжает? — переспросила Татьяна, не представляя, как это Варвара Петровна может оставить комбинат, свой цех, людей. Без нее тут сразу все остановится.

— Где-то с нового года.

— Откуда ты знаешь?

— Начальник отдела кадров говорил с каким-то мужчиной про нее. Я ходила справку брать...

В зале захлопали. Лектор стал складывать в папку бумаги. Лицо у него светилось, вероятно, вспотело от напряжения.

— Вопросы будут? — спросил он, близоруко наклоня голову к сидящим впереди.

— Все ясно! — выкрикнул кто-то.

На этом можно было и кончать, если бы не поднялась Вера Молчанова. Она посмотрела сначала в зал, потом на лектора и хитровато спросила:

— Так есть бог или нет?

— Нет его, товарищи! — авторитетно ответил лектор.

— Ну и слава богу, что нет его,— под общий смех сказала Молчанова.— Зачем зря целый час толковали.

Падал мелкий сухой снег, но мороз не слабел. У перехода через железнодорожную линию пришлось подождать пока пройдет товарный поезд. Зябли ноги, и когда поезд прошел, она почти побежала, чтобы поскорее согреться. Наверное сегодня не удастся постирать, думала она. Пока плита растопится, вода согреется... Василий зайдет, неудобно при нем с бельем возиться.

Она так бы и вошла в калитку, не обращая внимания на прохожих, на машины и бегающих по улице детей, если бы не почувствовала тоскующего взгляда, упрямо глядевшего в спину. Конечно, это оказался Дугин. Вероятно, он шел за ней несколько минут; когда Татьяна обернулась, его шаг был таким же быстрым, как у нее. Он не сумел замедлить движений и сделал еще два таких же поспешных шага, пока понял, что торопиться не следует, она уже не успеет скрыться в калитке. Татьяна заметила, когда Дугин остановился, что его лицо было как бы без маски, без того покорного застенчивого выражения, которое резко отличало Дугина от остальных людей. Он смотрел, не пряча глаз, и такая тоска стояла в них, что Татьяна не могла уйти, не сказав ни слова. И против воли спросила:

— Что вам нужно?

— О девочке беспокоюсь,— как бы продолжая прерванный разговор, ответил он, даже не поздоровавшись.— Ей бы сейчас в куклы играть, а вот поди какая штука происходит. Не зима бы, так куда ни шло, а то стужа...— и умолк, словно кто-то выключил его речь.

Татьяна подумала, что он говорит о Лене. Какое ему дело до чужих детей!

— О девочке не волнуйтесь,— проговорила она, удивляясь его отчаянной грусти. И добавила, смягчаясь: — Ей будет хорошо. Я то уж знаю.

— Откуда же хорошо, Татьяна Ефимовна! Стужа такая, а печь не топлена. Сутками дом закрыт. От свету отгородились.

— О ком вы... Николай Михайлович? — она с трудом вспомнила его имя, догадываясь, что он говорит совсем не о Лене.— Чей дом закрыт? Почему?

— У Поли,— устало сказал он.— Живые ли они...

Вон оно что! Она давно не была у соседки и не знала о ней ничего. Уже дней десять Полина не выходила на работу, и вчера Татьяна видела приказ о ее увольнении. Настя еще посмеялась: «Одной баптисткой меньше».

— Так сходили бы, узнали,— посоветовала Татьяна.

— Заперлись они!

— Постучитесь,— недовольно добавила она, торопясь окончить разговор.

— Помогите мне, сестра! — с безнадежностью тяжело больного попросил он. — Помогите. Вы же... живой человек и... такая...

— Что я могу сделать! — грубовато ответила Татьяна. Но тон ее нисколько не смутил Дугина. Похоже было, что он совсем не заметил недовольства в ее голосе. Он смотрел на нее так, словно она была единственным на всем свете человеком, который ему может помочь. — Сходите еще раз. Некогда мне.

Татьяна чувствовала, что он пойдет за ней, если она повернется и войдет в калитку. И он пошел, прикрыл калитку, молча стоял позади, пока она доставала ключ и отпирала дверь сеней, а потом дверь в комнату. Она не смогла бы объяснить, почему не прогнала его, не сказала ни слова, а стала при нем растапливать плиту. Он стоял у порога человеком просящим милостыню — ожидающе следя за ее движениями. Полено с сучком не проходило в дверку плиты, он молча взял его из рук Татьяны, поднял топор и вышел во двор. Потом принес расколотое полено, опять вышел. По ударам топора во дворе она поняла, что Дугин колет чурку — большой сучковатый комель тополя. Пока она ставила разогревать остатки борща, налила чайник, торопливо подмела в кухне, Дугин вернулся с большой охапкой дров.

Так молча был заключен союз взаимной помощи, по которому на долю Татьяны выпадало, вероятно, посещение Полины. Новая охапка дров, сваленных у плиты, дала понять, что со стороны Дугина обязательства выполнены. Он стал у дверей, подобно джину, готовый исполнить любое желание повелительницы.

Татьяна проголодалась, тепло от плиты согрело, она ни за что не согласилась бы сейчас выйти из дому.

— Садитесь, Николай Михайлович, — пригласила к столу, наливая борщ.

— Да я... — замялся было он, но при новом приглашении сразу же снял пальто, сел. Не отказался и от чая. Но все время молчал.

— Что же она закрывается? — спросила Татьяна, закончив обед.

— Бог ее знает! — вздохнул Дугин.

— А вы... что вы-то к ней так, вроде караулите?

— Обо мне вы, Татьяна Ефимовна?

— Пусть бы жила, как вздумается.

— И так живет. Не мешаю.

— Нечего мешать. По мне хоть что угодно у соседей, какое мое дело? Каждый за себя думает.

Он посмотрел на Татьяну с сожалением и укором, словно она оскорбила или обидела его, и на правах гостя или младшего в этом доме он обязан смолчать, сдержаться. Только грусть в его глазах стала гуще и глубже. Она заметила этот прилив грусти и повторила:

— Нечего мешать. Будь родная какая, другое дело.— И оправдываясь за поучение, спросила: — Вот скажите, кем она вам приходится, Поля?

— Женой,— глухо ответил Дугин.

Это ошеломило ее. Татьяна думала, что он ответит: знакомой, сестрой во Христе, принимая во внимание их общие религиозные убеждения. Но женой — прозвучало почти неправдоподобно. Почему же он крадется в свой дом, к своей жене, как вор, как отверженный, как... она не смогла найти подходящего слова. Она даже присела на стул, чтобы яснее во всем разобраться.

— Как же так, Николай Михайлович?

— Десять лет прожили,— все еще глухим голосом ответил он.— Десять лет.

— И потом?

Он встал, зябко потер руки, прошел к плите. Но тут же вернулся, сел, как на допросе, когда нельзя не отвечать на заданный вопрос.

— Десять лет,— повторил снова.— А теперь вот гонит. Уходи, говорит... Видеть не желает.

— Неужели десять лет?..— Ее захватила врасплох эта откровенность.— Беда какая приключилась или как? — Она боялась сказать: измена, может, недоверие друг к другу — в жизни чего не случается.

— А никак. По религии вышло,— сказал и вздохнул, впервые за весь вечер, словно пожалел, что проговорился.— Правильно все... как положено. Быть сему.

— Чему же, разводу?

— Мукам нашим на земле.— Но в голосе скользнули нотки наигранности, как показалось Татьяне.

— Пойдемте,— поднялась она.

— Давайте, пожалуйста, сходим,— оживился Дугин, удивительно быстро хватаясь за пальто и шапку. Он на-

дел пальто, вынул из кармана сверток в оберточной бумаге, с заметной радостью проговорил: — Надежде. Подарочек... Раньше Поля пускала ее ко мне. Придет, бывало, посидит, поиграет, песенку споет. Так, помурлычет. А с лета запретила. Больше года — по разным домам... Бог нас рассудит. Привык я к ней, к Поле, жалко ее. И Надежда без отца живет. Не совсем по-божески, с одной стороны... если по-мирскому смотреть. Своя все-таки, кровь моя в ней.

Татьяна изумилась: девочка, оказывается, дочь Дугина! Вот уж чего никогда бы не пришло в голову.

— Родная дочь?

— А то как же! — ответил он.

Ей стало душно, словно плита раскалилась паровой топкой.

— Пойдемте, — поспешно прервала она разговор.

Морозный воздух захватил дыхание, и стук собственных шагов звучал набатом в ушах Татьяны, столь остро она чувствовала в этот момент окружающее. Калитка во двор Полины пристыла в затворе, но Татьяна распахнула ее легко. Обязательства по союзу с Дугиным оказались куда больше, чем она предполагала. Татьяна шла, намереваясь стучать, бить в ставни кулаками, если не станут открывать, ломать дверь — она сама еще не знала, что придется делать, чтобы войти в дом, но была готова ко всему. Только раз она обернулась, мельком взглянула на Дугина — с сожалением и горечью. Что он способен сделать — муж и отец, — изгнанный из семьи, из своего дома! Большой взрослый человек, покорно идущий следом за женщиной. Когда-то Татьяна сама выгнала его из его же дома вместе с проповедником, и он ушел, как побитый пес.

Против ожидания, вызванного рассказом Дугина — стужа такая, а печь не топлена; сутками дом закрыт; живы ли они! — в окне виднелся свет, сени были открыты. Татьяна открыла дверь, вошла в комнату. И остановилась в нерешительности. В плите звонко потрескивали дрова. Полина протирала тряпкой стол. Занавески с окон были сняты и вместе с другим бельем лежали в куче на полу. Табуретки, тумбочка и бельевой сундук, обшитый по лицевой стороне раскрашенными металлическими полосками, сдвинуты в угол.

Услышав стук двери, Полина взглянула, улыбнулась, словно обрадовалась приходу людей. Пригласила:

— Проходите.

Татьяна впервые видела улыбку соседки.

— Белить собираюсь,— сказала Полина.— Мыши одолели. Стаями ходят.

Настя сидела у плиты в новом нарядном платье.

— Мы так,— проговорила Татьяна,— просто...

— Что же ты, Николай, человек божий,— посмотрела Полина на Дугина,— не заходишь, не кажешься. Аль забыл нас? Тропку снегом перемело?

— Приходил я, Полюшка!— немедленно отозвался он, выступая вперед.— Много раз приходил... Вот и сейчас, с Татьяной Ефимовной зашел. Как же, приходил.

Татьяна заметила, как девочка зорко скользнула взглядом за рукой Дугина, когда он полез в карман пальто и вынул сверток. Она сорвалась с места, подбежала, прижалась к нему, благодарная за подарок, за приход, за то, что мать не гонит его, как прежде. Она была очень чумазая, Настя, словно никогда не мылась. Новое платье— красными цветочками на желтоватом фоне,— особенно подчеркивало грязные пятна на лице и шее, растрепанные волосы.

— Не забыл, так ладно,— сказала Полина, немного нараспев. Она была совсем не похожа на себя: без косынки, в платье с завернутыми рукавами, в туфлях на босу ногу.— Посмотрел бы ночью, мышей видимо-невидимо набирается.

— Божья тварь,— угодливо ответил Дугин, чтобы поддержать разговор.

— Отчего же божья?— возразила Полина, улыбаясь неизвестно чему.— Сатанинское нашествие, Николай. Как есть сатанинское. И выходки все другие.

«Даже мышей поделили между богом и чертом,— подумала Татьяна.— Замолились окончательно».

— Помогите мне, Николай,— попросила Полина, собираясь передвинуть стол.

Он поспешно сбросил пальто, на ходу плюнул на руки, как бы собираясь брать тяжелый груз. Подхватил стол, перенес, куда она показала, ближе к кровати. Татьяна видела, что сегодня она тут лишняя, надо уходить. Что

же это Дугин прикинулся казанской сиротой, чуть не плакал, зовя ее к Полине? И выругалась про себя: сам дьявол не разберет этих баптистов.

Василий стоял у калитки.

— Я тебя не узнала! — сказала Татьяна, пропуская его впереди себя. — Как полярник — шуба, валенки!

— Зверский холод, — пробурчал он. — Восемнадцать градусов.

— Не может быть!

— Да, когда идешь из одного дома в другой, — тогда не чувствуешь.

— Я тоже сутками не сижу в избе.

Они целовались теперь скорее по привычке, так, как люди при встрече подают друг другу руку.

— Чаю выпьешь? Я подогрею.

Василий отказался.

— Чем-то недоволен?

— Откуда ты взяла. Просто отогреваюсь после холода.

— Я ходила к Полине. Знаешь, этот Дугин, я говорила тебе о нем, оказался ее мужем. Да! Удивительное дело.

— Мужем? — для приличия переспросил он. — Что же в том удивительного?

— Никто бы не мог подумать.

— Кроме тебя.

— Не болтай, пожалуйста!.. А Надя его родная дочь.

— Слава богу.

— Ты не можешь отогреться и злишься на меня.

— Двенадцатый час, — показал он рукою на часы. — А к восьми на работу.

Она поняла, к чему он это сказал. И обиделась: то же самое можно было сказать по-другому. Но не стала придавать значения. Чего доброго еще и повздорят. В самом деле, каждый раз Василий уходит от нее не позже шести утра, не высыпается, а она мелет ему всякую чепуху. Татьяна сгребла в плите уголь в кучку, закрыла задвижку дымохода, чтобы за ночь не выдуло все тепло. Постелила постель, подумала: хорошо, что он ее любит.

Часы в проходной отбивали последние удары, когда Татьяна повесила на доску номерок. Чуть не проспала, ругала она себя. Вот был бы срам.

Шум машин успокоил ее. Кажется, никто не видел, как она вбежала, на ходу бросила пальто в раздевалке, даже волосы не поправила — выбиваются из-под косынки. Неужели Клавдия осердилась, что Татьяна подошла минутой позже положенного времени? Она взглянула на Татьяну с болью и раздражением, отвернувшись, отошла к другой машине. В этот же момент рядом появилась Варвара Петровна. Тоже посмотрела на Татьяну странно, словно собиралась сказать: оказывается, ты совсем не такая, как я думала. И еще одно лицо увидела Татьяна, лицо Агнессиной ученицы.

— Пойдем-ка, баба,— сказала Варвара Петровна, уводя Татьяну за собою.

В конторке все было по-прежнему: стол, два стула, настольная лампа под серым металлическим абажуром. Здесь Татьяна разговаривала с Варварой Петровной перед тем, как перейти из закусочной на комбинат. И еще раз, когда та вернулась из Москвы, с сессии Верховного Совета. Но сегодня Татьяне казалось: что-то капитальным образом изменилось в конторке, хотя все предметы были на своих местах. Может, ей передалось волнение Варвары Петровны, потому Татьяна и чувствовала себя не совсем спокойно.

Войдя, Варвара Петровна плотнее прикрыла дверь, достала папиросу. Вдохнула. Села на стул. Кивнула Татьяне:

— Садись.

С минуту она курила, глядя на стол, как бы обдумывая предстоящий разговор. Потом сказала:

— Поговорим начистоту, по-бабьи. С Василием встречаешься?

— Встречаюсь,— ответила Татьяна. Уж не случилось ли чего с ним?

— Давно?

— Да как сказать? Давно, вроде.

— Еще у нас не работала?

— Да. Однажды... он домой меня проводил из заку-
сочной. И ушел. Сразу же. Это первый раз.

— Понятно. До поездки на целину.

— До поездки,— подтвердила Татьяна.— А что с ним?
Вместо ответа, она опять спросила:

— Ночевал он у тебя?

Татьяне не хотелось говорить об этом, но от Варвары Петровны она не могла скрыть ничего. И сказала: ночевал. Как Дарья Ивановна уехала. Несколько раз. Варвара Петровна кивнула, мол, так я и знала. Папироска погасла, она покрутила ее в руке, сунула в пепельницу. Достала другую, прикурила. Татьяна не выдержала молчания, спросила:

— Что же с ним, скажите?

— Что с ним,— неохотно ответила Варвара Петровна,— ничего. Жив, здоров. А вот с другими, кое с кем, плохо. Очень плохо, баба.

— Отчего же плохо?

Варвара Петровна пристально посмотрела ей в глаза и недовольно проговорила:

— Отбила ты его у подруги у своей. У Клавдии Нестеровой. Подловато поступила, откровенно говоря.

Татьяна не сразу осмыслила ее слова.

— Свадьбу уже готовили, сговорились обо всем, и на тебе! — другая сосватала. Хоть бы девка, или незамужняя,— била и била ее словами Варвара Петровна, оглушая, заставляя онемело смотреть на тлеющий кончик папирсы.— Никогда не думала, не ждала от тебя этой...

Слезы застлали свет, и Татьяна схватилась руками за лицо, как бы защищаясь от ударов.

— Поверить не могла, когда мне рассказали. Что-бы ты, такая тихая, рассудительная женщина и вдруг спуталась... мужик же у тебя, ребенок! И мужик-то где, сама понимаешь. Подло, баба, другим словом не назовешь.

Она еще что-то говорила. Лицо Татьяны пылало от боли и стыда. Ее заваливали, давили слова, от них невозможно было прикрыться руками. Она смутно слышала, как кто-то позвал Варвару Петровну, та что-то ответила, потом сказала Татьяна: «Посиди»,— и вышла, с наругой прикрыв дверь. Она сидела так, пока вернулась Варвара Петровна: кажется, очень долго.

— Как же это получилось, Танюха? — она первый раз назвала ее сегодня по имени.

Кто его знает как. Татьяна опустила руки, поглядела на стол и стала говорить. Сначала встретились. Случайно. После ходили на железнодорожную линию. Просто так. Потом с Леной. И еще раз, перед тем как он на целину поехал. Сама не знает, как все получилось. Теперь поздно говорить. Только она никогда не думала, что Василий любит другую, хоть кого. Тем более — Клавдию. Она сроду бы с ним слова не проговорила, если б знала, что сделает Клавдии больно. Понятно, с ее стороны вышло очень подло, но разве она знала? Встречалась, разговаривала, хоть бы он словом намекнул, что есть другая. Вчера только стал было рассказывать. Она сама не разрешила ему говорить, дурная была от ласки.

— Да,— проговорила Варвара Петровна.

Снова слезы застлали глаза. Они выбивались, как вода из родника, разыскавшего дорогу на поверхность, и остановить их было немыслимо. Если разобраться, то уж не такая она подлая, как сказала Варвара Петровна, как, видно, думает и Клавдия. Конечно, это страшно плохо, но разве она отбивала Василия у Клавдии? Сам он появился, привлек душевностью, вниманием, заставил мужа забыть. Жениться предлагал. И Лена к нему привязалась, не меньше, чем к родному отцу. Даже больше.

— Что же теперь делать? — спросила она, боясь взглянуть в глаза Варвары Петровны.

— Ума не приложу,— ответила та, вздыхая.

— Бросить его?

— Любишь? — спросила Варвара Петровна.

— Люблю.

— Это сложнее.— Она хотела сказать: хуже, да куда уж может быть хуже, чем есть.— Тяжело бросать.

— Пусть, что будет,— всхлипывая, проговорила Татьяна.

— Смотри сама. Третий в таких делах плохой советчик.

— Больше его близко к дому не подпущу. Если б знала... как же я теперь Клаве скажу? Учить она меня начала.

— Перейдешь к Насте Свистелкиной. Она не хуже Клавдии знает дело.

И это, оказывается, было уже решено. Значит, Клавдия видеть ее не хотела, не то, чтобы работать вместе. Снова тугой комок подступил к горлу.

— Довольно, довольно,— строго сказала Варвара Петровна.— Еще зайдет кто, нехорошо. Вытри слезы. Ну, не будь бабой, держи себя. Чего ревешь, никто не обидел, сама накуралесила.

— Как я выйду отсюда, вся...

— Сейчас иди домой. Я скажу кому надо. Иди. Подумай не спеша, обмозгуй, после поговорим... Вытри слезы, как корова дойная разревелась. Из-за Клавдии я завела разговор, а то на кого хочешь вешайся, мне какое дело. Сама баба, понимаю, что такое двадцать пять лет.

Конечно, все дело в Клавдии, думала Татьяна, входя домой. Не раздеваясь, она села на диван, с грустью и ненавистью посмотрела на постель. Еще сегодня на расвете на этих подушках лежал человек, которого она совсем считала своим, наивно, как девчонка. Он и в самом деле был своим. А для Клавдии тоже? Она вспомнила, как Клавдия говорила, вероятно, о Василии: «Сейчас у меня хороший есть. Покажу как-нибудь. Холостой, обходительный. На Новый год свадьбу сделаем, если квартиру дадут. Договорились полностью. Не хочу я его сюда тянуть, в свою одиночку, разлюбил еще чего доброго...» Берегла, хотела, чтобы все красиво было. «Мне уже-двадцать шесть»,— сказала тогда Клавдия. Неужели и к ней Василий ходил так же, как к Татьяне? Все может быть. Боль ревности закружила голову. «Нет, нет,— заговорила Татьяна вслух, словно клятвенно обещая кому-то,— хватит! И так я зашла слишком далеко, надо покончить с дуростью. Пусть возвращается назад, хватит. Набралась позора на весь комбинат. Хорошо хоть Дарьи Ивановны нет, без нее все случилось. А то был бы какой срам — невозможно!»

Собственный голос отвлек ее.

— Хватит,— более громко повторила Татьяна, вставая с дивана.— Скоро пересуд, освободят Гришу, а я тут... Боже мой! А вдруг он узнает? Что же тогда будет?

Это вызвало озноб в теле. С мужем беда случилась, а жена и рада: любовь закрутила!.. Нет, нет, они в тот же день уедут обратно, в деревню, хоть ночью.

Она сняла пальто, затопила печь, прибрала в комнате.

Налила в таз воды, принялась мыть полы, словно стараясь убрать все следы преступления. И увидела под кухонным столом перчатки Василия. Старые, кожаные, подбитые внутри мехом, они вызвали раздражение. Она швырнула их к порогу, но потом переложила на табуретку, не решаясь выбросить с мусором во двор.

Был еще полдень, когда Татьяна закончила работу по дому. В окно постучали и она увидела Афанасия Петровича. Он вошел, стараясь казаться веселым, но Татьяна безошибочно определила тревогу в его глазах.

— Забегал на комбинат, — сказал Афанасий Петрович, — да сообщили, что вы приболели, в известном смысле, Татьяна Ефимовна.

— Что вам приспичило вдруг? — спросила она, нарочно грубо, чтобы не затягивать разговор.

— Деловые обстоятельства, примерно сказать. Интерес от лица правления по поводу дальнейшего положения мужа вашего. Кое-какие сообщения появились.

— Пересуд будет? — прямо спросила она.

— Вы уже в некотором курсе, — закивал он. — Намечается такое обстоятельство. На будущей неделе, возможно.

— Что же от меня требуется?

Афанасий Петрович положил шапку на стол, сел. Замысловато извинился, что сел без приглашения, и повел речь о предстоящем суде. Он жалеет, что такой хороший шофер невинно страдает за чужое дело. Собственно и дела-то нет, как такового. Все работа завхоза, Кузьмы Мионовича. Это он продал пшеницу. Григорий говорил ему, Афанасию Петровичу как-то, да дела, некогда оказалось сразу проверить.

Подбирался Афанасий Петрович к сути дела долго, окольными путями, внимательно следя за Татьяной. Григорий показал на суде, будто не успел доложить председателю, что возят хлеб не туда, куда нужно, хотя такой разговор и был. Надо, чтобы и на этом суде он сказал так же. Видно, его привезут на суд, пусть Татьяна подскажет мужу. А об остальном беспокоиться нечего, Афанасий Петрович сумеет отблагодарить.

Она только поддакивала, не понимая зачем председателю потребовалось новое подтверждение Григория о непричастности Афанасия Петровича. И пообещала сказать, если удастся встретиться с мужем.

— Будете поставлены незамедлительно в известность о его прибытии,— пообещал председатель.— Самолично постараюсь.

Уходил он с меньшей тревогой в глазах. Проводив Афанасия Петровича, Татьяна снова задумалась, зачем ему нужно новое показание Григория. Но ничего определенного, что хоть немного объяснило бы просьбу председателя, она не придумала. Потрясенная утренним разговором с Варварой Петровной, она подозрительно отнеслась и к приходу председателя. Ей казалось, что вокруг нее стягивается невидимый круг, из которого она вряд ли сможет выбраться. Она почувствовала острую боль под сердцем, села на диван, стараясь не шевелиться. Подумала: схватит когда-нибудь вот так — и конец. Как месяц назад помощника мастера — Ивана Егоровича. Никто не думал, что у него сердце больное. Пришел человек на работу, разговаривал, смеялся. Сел на ящик, побледнел — и все. Враз, как трава под косой.

Она не помнила сколько времени просидела, держа руку на груди, у сердца. Не могла бы сказать, задремала или просто была в забытьи и какой нужен был шум, чтобы вернуть ее в сознание. Но именно шум заставил сначала открыть глаза, прислушаться, затем вскочить и посмотреть в окно. Татьяну удивило сборище людей на улице — взрослых и детей. Затем она увидела красные туловища пожарных машин. Вероятно, случился пожар и, судя по тому, что люди и машины стояли у дома Дарьи Ивановны, пожар был рядом, у кого-то из соседей. Она набросила пальто и выскочила во двор. Через забор увидела раскиданную крышу сделанной весной пристройки к дому Полины; закопченные дымом стропила, куски кровельного железа, смытый водой снег на крыше дома. Видно, беду удалось заметить и остановить еще до приезда пожарных, и машины разворачивались, собираясь уходить обратно. Татьяна открыла калитку, заглянула во двор. Рослый лейтенант милиции и еще один милиционер выпроваживали на улицу любопытных. На Татьяну они не обратили внимания, посчитав за родственницу хозяйки или живущую в этом доме,— она так и была, как вышла, в одном пальто, брошенном на плечи. Выпроводив всех на улицу, лейтенант милиции сказал:

— Самсонов! Поддерживайте порядок. Я сейчас вызову скорую помощь.

— Слушаю! — ответил милиционер, закрывая за лейтенантом калитку.

— Что случилось? — подумала Татьяна, перебегая двор. В сенях пахло гарью и на полу собралась лужа воды, растасканная ногами людей во все стороны. Лежало опрокинутое ведро, куча стекла от разбитой бутылки. В комнате оказался не меньший беспорядок, чем в сенях. Стол задвинут к плите, сломанная табуретка, белье кучей у окна. Следы мокрых сапог. Несколько человек сидели, как в зале ожидания, всяк по себе, молча, не глядя друг на друга. Дугин — у стола, опустив голову на ладонь; проповедник — слева от двери. Двое других — оба из ближних соседей Полины, и еще один, совсем незнакомый — у окна.

Полину она заметила после того как посмотрела на мужчин. Она лежала на кровати со связанными ногами и руками. Не понимая, что с нею, Татьяна подошла ближе, увидела ее странно смеющееся лицо, быстро бегающие глаза, услышала сбивчивое дыхание.

— Свершилось! — выкрикнула Полина, испугав Татьяну резким голосом. — Убегают... убегают, глядите!.. Все глядите, все! И черти и ангелы бегут, как мыши! — она задергалась, пытаясь освободиться от полотенец и простыней. Незнакомый мужчина встал, подошел к кровати, сел, придавил ноги Полине. — Кровь! — снова закричала она. — Кровь... морем течет... цветами вспыхивает, — дико расхохоталась. — Наденьте на меня туфли!..

Проповедник что-то забормотал вслух, видно, религиозное.

— Заткнись, — сказал ему незнакомый мужчина. — И так ее сумасшедшей сделали.

Татьяна все поняла: Полина сошла с ума! Она в страхе отступила от кровати, на то место, где только лишь сидел незнакомый мужчина, бессмысленно глядя, как Полина снова начала метаться, пытаясь освободить руки. Она повернула голову, обвела взглядом дом, не заметив ни Татьяны, ни других и на миг притихла, закрыла глаза. Но лишь на миг. Тут же снова забилась. Закричала что-то совсем непонятное, бессмысленное. Глаза ее округлились, стали необычайно большими.

Все молчали. Где же девочка, вспомнила Татьяна о Наде. И увидела ее за плитой, в самом углу. Надя

выглядывала оттуда, но в глазах ее жило больше любопытство, чем страх. Похоже было, что она ко всему привыкла и даже сумасшедшая мать не в силах напугать ее дикими воплями.

Под окном просигналила машина. Вошли мужчина и женщина в белых халатах, за ними рослый лейтенант милиции. Врачи подошли к Полине, переглянулись между собой, кивнули, попросили мужчину помочь отнести ее в машину. Лейтенант спросил, кто хозяин дома. Дугин неуверенно ответил:

— Мы, — и кивнул на Надю.

— Опечатывать не надо?

— Нет.

— Тогда оставайтесь, — проговорил лейтенант и вышел.

И они остались, трое чужих в чужом доме — Татьяна, Дугин и проповедник. Еще Надя, единственная хозяйка, жилища и наследница. Она вылезла из угла, робко подошла к Дугину. Видя, что ее не гонят, Надя прижалась к нему.

— Великое свершение произошло на глазах наших, — ни с того, ни с сего вдруг заговорил проповедник, словно открывая словесный шлагбаум, — знамение Христа верующим. Бог послал нас в шумный мир века сего, чтобы быть светом и солью для него. И не для того, чтобы наш свет был под сосудом, но на подсвечнике. И соль наша должна быть не в солонке, а в гуще людей, указывая неверующим истинную дорогу к богу. Да восславим имя его, творца и спасителя!..

Татьяне так захотелось крикнуть: «Заткнись!» — как грубо остановил проповедника незнакомый мужчина.

— Мир смуты и суеты увел ее в пропасть греха...

Как же она так, подумала Татьяна, с чего же с ума сошла? Выживет ли теперь? Ее собственная боль, которая еще два часа назад была неизбывной, не казалась такой уж большой по сравнению с несчастьем Полины. С несчастьем Нади, оставшейся без матери.

— Да восславим Христа за свершение! — проговорил проповедник, поднимая глаза к потолку.

— Чему радуетесь? — хмуро сказала она.

— Свершению, сестра! — ответил он, не спуская глаз с потолка.

— Что в больницу увезли?

- Все в руках бога!
- Теперь в руках врачей.
- На милости бога,— возразил проповедник.
- Черта с два!

— Не говори таких слов, сестра, не тешь беса. Из-за таких вот, как ты, и гибнут души его детей.

Это разозлило Татьяну. Женщину увезли в больницу, вероятно, сегодня же отправят в сумасшедший дом. Дочь осталась без матери. В доме холод, грязно. А он: из-за таких вот гибнут дети христовы! Как попугай, как...

— Из-за вас таких вот гибнут люди,— сердито сказала она, глядя на проповедника.— Накаркаете, а человек верит.

— Богохульствуешь, богохульствуешь, я не стану спорить с тобой.

— Понятно, когда крыть нечем!

— Тешь беса, испытывай любовь мою ко всевышнему.

Татьяна сорвалась с места, шагнула к нему:

— Вы довели Полину до сумасшествия! Вы! Света бонтесть, людей бонтесть... сами себя бонтесть! Чего же прячетесь за занавески, коли считаете себя чистыми, святыми? Идите, расскажите народу о своей вере! Нет, вы не пойдете, побоитесь. Да где у вас и вера-то, в чем она? Хоть бы икону для смеха повесили, а то молитесь на потолок, на паутину в углу, дурманите себя. Был бы бог, он бы не допустил, чтобы дите без матери осталось. А с ним что сделали? — кивнула на Дугина.— Из дому выгнали, дочь отобрали. Разве это вера? Только прикрываетесь богом. Посмотрите на нее,— показала на Надю,— как она к отцу прижалась... Вы бы с удовольствием весь мир разогнали, будь ваша власть. Да руки коротки. Только на дураках и живете. Попадет к вам человек — и конец ему. Чучелом становится, потом с ума сходит. Забыли, что ли, как живую девчонку хоронили? Тоже чуть на тот свет не отправили. А она вырвалась от вас, не захотела помирать. Где же ваш бог был в то время?

Дугин поднялся, взял на руки Надю, собираясь уйти, но тут же сел. Протянул руку:

— Остановитесь, Татьяна Ефимовна!

— И вам не по нутру мои слова? — с обидой сказала она.— Вы же взрослый человек, Николай Михайлович, жизнь понимаете. Как же вы-то даете дурманить себя?

Помните, говорили мне о Полине. Поверила я вам всем сердцем. И что же? Врали, выходит?

— Ни одного слова не соврал вам,— снова поднялся Дугин.— Все по чести.

— По какой чести, по религиозной? Или вы уже отучились правду от лжи отличать? Эх, Николай Михайлович! На войне, наверно, были, горе человеческое видели. А теперь спрятались за молитву.

— Остановитесь! — закричал он, снимая с рук Надю.— Я, если сказать...— и осекая, умолк, трудно посмотрел в сторону.— Не мучайте, Татьяна Ефимовна.

— Не своим делом занимаетесь,— вклинился проповедник.— Надо пострадать, чтобы понять человека.

Снова острая боль кольнула под сердце, Татьяна схватилась рукой за грудь. «Надо пострадать, чтобы понять человека»,— застряли слова в голове. И нахлынуло все, враз, горой: детство, смерть матери, тяжелое житье у чужих людей, арест Григория, разговор с Варварой Петровной о Василии, позор перед Клавдией... Неужели она не страдала, не плакала, не ходила шальной от беды? Да сам-то он знает, что такое человеческое страдание? О боге только толкует, о небесной жизни, а...

— Уйдите! — с болью выкрикнула она, стараясь устоять на ногах.— Уйдите отсюда!..

Он взглянул на нее с удивлением, но поднялся.

— Идите же, божий человек! — гневно обрушилась Татьяна.— Не место вам в этом доме. Не вам о чужих страданиях говорить — разве вы поймете в них что-нибудь.

— Я хотел как брат...— несмело сказал проповедник.

— Уходите-е! — закричала Татьяна. Ей казалось, если он сейчас не уйдет, немедленно, то она сойдет с ума, как Полина. Она была готова броситься на него, выгнать, ударить — что угодно, лишь бы не видеть прозрачного тощего лица, горящих глаз. Видно, страшна она показалась в боли и гнев, проповедник попятился, махнул рукой, отстраняясь от приближающейся Татьяны, и поспешно вышел.

Со стуком захлопнулась дверь. Этот стук как бы порвал на ней путы, которыми невидимо связывала ее боль. Но тут же стала уходить и сила. Голова закружилась, плита внезапно поплыла в сторону. Татьяна успела повернуться, шагнуть к кровати и упала.

Слезы лились и лились, а на душе у Татьяны было пусто, как в высохшем колоде, опаленном степным жаром, но темном и холодном на дне.

—...Бомбили деревню, в первый день войны. Я на покосе был,— не повышая, не понижая голоса, говорил Дугин, словно рассказывал о чужой жизни.— Пал на коня, помчался. Пригорок, а за ним и деревня. Дым, вижу, столбом к небу... Словом, бомба угодила между хатой и сараем. Всех насмерть — Татьяну мою, сына Володю и матушку, царствие им небесное! А я с косою стою как был на покосе, так и прихватил литовку, зачем — не знаю. Раскопали их, похоронили — соседи помогли. Враз остался один, ровно у меня сроду ни одного близкого человека не было. В тот же день — ночью уже — в военкомат пошел. Без повестки.

— Взяли. Через сутки на фронт. В матушку-пехоту. Трудная эта служба, все на передовой да на передовой. А я радовался: в огне варюсь, месть свою на врагов посылаю каждый день. Поначалу желал, чтоб убили... как мне после войны одному жить? Да ничто не брало. Царапало только. Горе меня от пуль берегло, судьбу мою особо от остальных держало. Сколько солдат пришлось похоронить, четырех командиров своих, а я все воюю. И все на передовой!.. Год так. Тут меня царапнуло уже по заказу. Три месяца койку протирал в госпитале. Мог бы под списание подойти, врачи говорили, да куда мне идти, к кому? Слезами вымолил направление — и опять на передовую. Не поверите: песни пел, когда к линии фронта ехал! Удивлялся, как это мне поначалу о смерти думалось. Пусть враги за меня помирают, хоть каждый день, а мне некогда, месть еще не всю израсходовал.

— Какую месть? — спросила Надя, заглядывая ему в глаза.

— Ты ее не знаешь,— ответил он.— И знать не дай бог. Тяжело с нею. Велико тяжело.

— Так вот, Татьяна Ефимовна, опять грязь месил, под солнцем горел, огнем коптился,— продолжал Дугин.— Пришлось еще — почти на два месяца,— передых сделать, на ремонте побыть. И опять воевал. Месяц за

командира отделения управлялся. И тут произошло... Вспомнить страшно.

Надя плотнее прижалась к Дугину, но он снял дочь с колен, сказал ей:

— Пойди, поиграй. Что тебе интересного в том. Пойди.

Она послушно отошла, села у печи, подобрала под себя ноги.

Дугин помолчал, вспоминая, на чем остановился. Сам себе кивнул головой.

— Вот и произошло. Бились мы однажды на одном месте семь дней и ночей. Сопка была. То немец ее возьмет, то мы одолеем. И опять он теснит, а мы силу собираем. Ранило меня в руку... Бились, словом... Взяли последний раз, ночью темной, как сейчас помню. Укрепились. Известие в штаб послали. Все по чести. А к утру, видим, обратно отступать требуется. Танки подогнал он, немец этот, пехоту за ночь подбросил. Пока разглядели, он и окружил нас. До рукопашной дошло. Только все бесполезно, его раз в десять было больше, немца-то. И взяли нас, кто живой остался. В плен увели... Теперь это прошлое дело, но помню все: застрелиться хотел, была такая минутная возможность, не больше. Поднял автомат к лицу, а меня словно кто-то за руку схватил: сдурел, что ли, говорит. Ты же еще не всю месть свою отдал, живи, грызи их зубами за Татьяну Ефимовну, за Володю, за солдат своих, что сам хоронил, глаза им закрывал навечно. Поживи, помереть всегда времени вдосталь!.. Пока это подумалось, у меня и автомат выбили из рук, и в общую кучу оттолкнули.

Не опишешь всего, сколько пришлось мук натерпеться,— все еще словно о чужой жизни, рассказывал он, не спеша, без волнения. Потом слова Дугина, казалось Татьяне, были как бы отшлифованы и лежали ровно одно к другому, рядышком. Большой дорожкой, как на телеграфной ленте. Начало ушло далеко, но все еще виделось отчетливо.— Попал я в лагерь. Работали на канале, рыли землю... грязь, холод, в воде по колена, как только терпели — ума не приложу. Больше года. На людей стали непохожи — тени одни! И однажды убежали. Трое. Знали, недалеко чешская граница, туда и подались. Три недели скрывались, траву ели, пока наткнулись на хутор. Речь не немецкая, слышим; выходит, чехи. Про-

брались ночью во двор, открылись перед хозяином. Так, мол, и так, из плена. Хочешь — губи, хочешь — милуй, все равно смерть уже на спину дышит. Не выдал. Четверо суток в хлеву продержал, одежду собрал. Потом переправил в другое место. Тоже на хутор. Как раз осень, уборка урожая. Стали мы как бы батраками. Хозяин добрый, говорит: переждать надо, война скоро кончится, домой уедете.

Так бы мы и прожили, Татьяна Ефимовна, потому что немцы к хозяину с уважением относились: сын его офицером был, награды имел от немецкого командования. На фронте воевал. Верили хозяину, что только чехи у него батрачат... Сын-то и подвел нас. Приехал домой на сутки с дружкой, с немецким офицером. Смотрим, идут к нам по полю два эсэсовца. Подошли, что-то спрашивают. Опять спрашивают, на другом языке. И тут немецкий офицер как закричит на нас по-русски: «Большевики, сволочи, из плена бежали!» — и за пистолет. Видим, крышка! Сказал я ему тогда всю правду в глаза, что не нам, а ему с его фюрером крышка подходит. Бей, говорю, собака, завтра за нас и твою поганую голову снесут. Хозяин подбегает, чуть в ноги не падает сыну. А тот налил кровью глаза, ничего не признает. Один из нас, Вася Клименко, — совсем молодой был, лет двадцати — заплакал. Я ему: перед кем плачешь? Они же покойники, только видимость!..

Так-то, Татьяна Ефимовна, и вышло. Отвезли они нас в село, километров за двадцать, сдали в комендатуру. Сидим в подвале, ждем смерти. У Васи Клименко мать осталась, все о ней говорил. А у третьего из нас — четверо детей, жена портниха. Он про детей вспоминал. Только мне не о ком было говорить. Убьют — и вся наша фамилия изойдет... Утром отпирают дверь — двое: офицер и солдат. Офицер, видать, с похмелья, икает, крутит носом. Солдат в очках, шинель как на колу висит. Тотальный, вроде. Посмотрел офицер, кивнул Васе — выходи! Пожали мы ему руку, мол, держись, два раза не помирают. Сидим вдвоем, ждем своей очереди. Часа через два приводят Васю обратно, вместо него моего соседа вызывают. «Где ты был? — спрашиваю. «Могилу копал, — говорит Вася. — На всех троих. Половину выкопал, устал, немец недоволен». Того, третьего, так и не привели в подвал. Опять Васю вызвали. Потом и меня.

Вышел я на свет, Татьяна Ефимовна, в глазах боль от солнца. Офицер увидел на мне ремень, показывает: сними. Снял. Отдал. К чему он мне? Тут кто-то из комендатуры крикнул: «К телефону, господин оберлейтенант!» Ушел он, солдата со мной оставил. Потом выскочил, побежал, сказал солдату: «Отведи туда же!» — и в машину, укатил. Срочное, видать, стряслось.

— Убили тех?

— Ясное дело, куда же больше!.. Повел меня солдат, в спину автоматом тычет. Свернули от комендатуры в переулок, вышли за село. Синь такая небесная, солнышко, листья на деревьях золотом покрашены. Иду и думаю: хоть бы в бою погиб, а то так, при понятии всей земной красоты помирать! Бежать бесполезно, солдат автомат на взводе держит, сразу прошьет. Хоть ребят своих увижу, думаю, в одну могилу с ними ляжу. Поднялись, значит, на бугорок, после в ложбинку спустились. Смотрю: свежая земля кучей...

Татьяна лежала не шевелясь, потрясенная рассказом Дугина. Слез больше не было, только щемящая боль у сердца. Слушая, Татьяна представляла переулок, огороды, багрянец урючини и позолоту тополей, нити сверкающих на солнце паутин уходящего бабьего лета, густую тишину, которая окутывала кучу свежевырытой земли. Но представление рисовало не чехословацкое село, а ее родную Каменку.

— В плену я научился толковать по-немецки, плоховато, правда. Смотрю на солдата и говорю ему: «За что же ты меня убивать хочешь?» А он зыркает очками, как сын, разглядывает меня. Спрашивает: «Дети есть?» — «Нет, — говорю. — Был сын, бомба убила. И жену. И мать. Всех сразу». — «Командир?» — «Ефрейтор — говорю. — В пехоте служил». Помолчал немец, а глаз не спускает. Солнышко, помню, как в праздник. Птицы поют. Лесок рядом, травка... Да-а. Подошел я к яме, вижу оба мои друга лежат, лицами вниз. У Васи на гимнастерке пятно кровавое, видать, в спину били, сквозным. Такое зло меня взяло, до иступления. «Давай, — говорю, — собака, стреляй, все равно по мне плакать некому. Будешь подыхать — вспомнишь, как храбрился над безоружным. Бей!» А он, Татьяна Ефимовна, молчит. Потом по-русски мне: «Работа... работа!» — и на лопату показывает, мол засыпай могилу. Ничего не пойму. Он снова: «Работа,

русс, работа!» Неужели, думаю, самому заваливать неохота? А куда же он меня намерен деть?.. Очухался он, видать, и по-немецки: мол, засыпай скорее, да беги, пока господин обер-лейтенант не вернулся. Господи, боже мой! — схватил я лопату и изо всех сил стал землю сгребать. Немец как шарахнет очередь из автомата, в сторону, будто меня убил. И посмеивается, с опаской в сторону села поглядывает. Ему из кустов все видно, а из села не разберешь. Зарыл я, Татьяна Ефимовна, больше половины могилы, он шепчет: беги! И побег я, без огляда. Откуда сила только бралась, километров десять без передышки мчал... Неделя так, все на восток, к своим, домой. Много прошел. Если бы по прямой линии, так уже и до фронта добрался бы. Приходилось петлять, села обходить.

— И выбрались, Николай Михайлович?

Он вздохнул, посмотрел на Надю, горько усмехнулся:

— Выбрался из одного пекла. Да попал в другое. Нарвался на патруль. Думал, крестьяне, а оно полиция. Схватили, допрос устроили. Сразу видят — не местный житель. Э-эх! — махнул рукой. — Правду говорят: кому повеситься, тот не утонет. Признали меня за беглого — у немцев много работало русских. Один говорит: пристрелить его надо. Двое других — против. Сдали меня в комендатуру... Чаек поставлю, Татьяна Ефимовна? А вы не вставайте. Страсть испугался, когда вы грохнулись на пол. Еле поднял на постель... Поставлю, пожалуй, Надя тоже попьет.

Поднялся, прошел к плите, поворошил угли. Налил в чайник воды. Положил дров в плиту, долго сидел перед нею — раздувал огонь. Встал, подумал, вернулся к Татьяне.

— Вот и судьба, будь ей неладно. Снова попал я в лагерь и досидел до самого прихода наших. Кое-как дотянул: исхудал, желудком измучился, бородиншей зарос, не хуже старца. В мертвецкой работал, покойных таскал на сжигание. Но дотянул, дождался! Освободили нас за месяц до дня Победы. Не верил, хоть что делай! Вымыли нас, бельишко дали, накормили и, вроде бы, домой, прямой дорогой.

— Сколько мучений-то! — вздохнула Татьяна. — Как же, Николай Михайлович, после всего перенесенного в религию ушли? Вы же такое повидали.

— Повидал, Татьяна Ефимовна, не гневлю бога ложью. Можно сказать, заживо на том свете побывал. В геенне огненной... Вот вы с вопросом поспешили, о религии заметили. Расскажу, конечно. Только чуток позже. Я сегодня ровно на духу, ничего не таю, во всем открыт перед вами. Судите, как справедливость подскажет.

Доставили нас через границу. Но не сразу домой, а...— замялся, подыскивая подходящее выражение,— проверку сделали. Кто, откуда, как попал в плен, сколько пробыл. Это понятно, были единицы, которые добровольно ушли к немцам. Надо проверить. Дошла очередь до меня. «Дугин»? — «Я»,— отвечаю. Такой-то части, полка, дивизии. Прочие вопросы задают. Отвечаю как было: домой же возвратился, на землю родную. И тут один говорит: «Что же ты не застрелился? Струсил, к фашистам захотел?»

Это Дугин сказал уже не тем ровным, почти безразличным голосом, как говорил обо всем, что было до возвращения на родину,— словно о чужой жизни. Как говорил о смерти своей, когда его вели на расстрел. Он сказал о себе: неожиданно взволнованно, с тоской и глухой болью, как говорят о потере самого близкого человека, когда слезы уже выплаканы, но прикосновение к ране вызывает невыразимое мучение.

— Нет, говорю, не сам я пошел, случайно попал. И рассказал подробно, как вам сейчас. Ничего не утаил. Выслушали. Спрашивают: «Как же это тебя немецкий солдат добром отпустил?» А так, говорю, видно, душу имел человеческую. Немцы тоже люди, не все Гитлером довольны,— так, мол, думаю. Как я мог все это объяснить?.. Не поверили. «Врешь ты все от начала до конца. Тысячи людей ни за что расстреляны, а тебя помиловали!..» А как проверишь, правду я говорю или нет? Васю Клименко и второго моего друга по несчастью — убили. Немца того тоже не найдешь. Вот я и пострадал. Крутили, крутили меня, да... в Сибирь, за колючую проволоку. За что? — почти выкрикнул он.— За что, скажите?.. Что в яме той рядом с Васей не сгнил, дохлой кониной питался в лагере немецком, лишь бы выжить? Не был я врагом!

И опустил голову, закрыл ладонью глаза, видно, вспоминая, как все это было. Потом убрал руку, но головы не поднял. Заговорил в раздумье:

— Какого-то другого Дугина упоминали в разгово-

ре. Власовца, будто... Так-то вот и получилась у меня очная ставка с жизнью. Голова пухла от дум: как же ты, жизнь, за чужого приняла? Неужели с кем другим спутала? Дугин я, тот же самый, что и до войны был, посмотри хорошенько. Неровен час, снова какая заваруха случится, кто-то решит напасть, ты ведь, жизнь, опять мне винтовку в руки дашь, на передовую пошлешь. Так за что же сейчас так измываешься?

Нет, не отчаялся я и тогда, не сдался. Разберутся, думаю, установят личность. Хотя и было отчего отчаяться. Амнистию объявили, воров, убийц выпустили, а нас как забыли! Нет нас, вроде, Дугиных на свете... И все же верил: вспомнят! Не один я такой. Русский человек все перетерпеть может, что ни придумай. Это особый человек, Татьяна Ефимовна. Из корня вырубленный, смолистый... Извините, взгляну чаек, плита как разошлась!

Огонь открытой дверки осветил его большое лицо, широкие плечи, и рыжие волосы на голове стали ярче, словно подернулись искрами. Чайник закипал, Дугин поднял его, набросил на пылающую пасть плиты два кружка, поставил чайник. Знающе подошел к шкафчику, прикрепленному на стене, взял баночку с чаем, бросил в чайник заварку. Постоял, взглянул на Надю. Улыбнулся чему-то.

— Что такое человек? — возвращаясь к Татьяне, спросил он. — По религии — божья тварь. Как птица, как червь какой. На самом же деле человек сложнейшая штука. Должен все уметь, все знать и, главное, во что-то верить. В себя, понятно, в друзей. Но должна быть и выше вера — в бога или в безбожие. Человек без веры, что небо без звезд. Пустота. Ведь я был безбожником. Но в лагере, видать, появилась у меня трещинка. Пустяковая — от обиды, от боли. В нее религия и просочилась. Как вода сквозь подопрелый кирпич. Было там несколько баптистов. Поразило меня: работа тяжелая, еда неважная, а они хоть бы раз пожаловались, недовольство выразили. Стал я с ними разговаривать. Чепуха, конечно, что за бога страдаем, но день за днем толкуем, толкуем, и захотелось мне тоже стать таким — спрятаться от жизни. Стал молитвы учить. Случится тяжело на душе, читаю про себя молитву, отвлекаюсь. Так оно начало в привычку входить. Правда, нет-нет и прорвет: что же ты дурака из себя строишь? Если есть бог, то уж кого дру-

гого проглядел бы, а тебя, Дугин, заметил. Сколько тебе на долю выпало — на десятерых хватит. Ты же солдат, стыдно тронутым прикидываться... Раздумаюсь, хоть петлю на шею набрасывай. А под боком молитва. Вытаскиваю скорее, как курящий кисет с табаком. Начинаю тарыхтеть: «Господи! Спаси меня и помилуй. Сохрани мне разум и силу, отведи от меня несчастье и болезни. Только ты, единый и праведный, видишь, как тяжело мне...» Смотришь, вроде и легче. Спор с собою забылся, отвлекся. А потом опять: «Зачем же меня спасать от несчастий и болезней, кому я нужен? Часовому на посту лишь. Да пням, что корчевали».

— Уморил я, Татьяна Ефимовна, разговором, — оправдываясь, добавил он.

— Что вы, я такого еще никогда не слышала. Как же дальше вошли в веру, Николай Михайлович?

— Так и вошел. Болеть стал часто. Вызвали на комиссию, потом другой раз. И списали. Куда податься? Переписывался с теми баптистами и рискнул к ним. Хоть знакомые люди, переночевать пустят. Прибыл. Встретили. И застрял. Вскоре на Полине женился... Она тогда только начинала к религии приобщаться.

— Чайник кипит! — крикнула Надя.

Дугин вздрогнул от окрика. Посмотрел на девочку с грустью, словно хотел сказать: не уберегли мы с тобой мать, не уберегли.

— Как же теперь, Николай Михайлович? — Татьяна поднялась с кровати, села, измученная тяжестью рассказа.

— Кто знает как! — устало проговорил он. — Надо как-то жить.

— С богом? Самому сойти с ума, как жена ваша сошла?

Он ответил не сразу. Подумал. Сказал неопределенно:

— Жизнь покажет.

— Она и так немало показала. Должна была научить.

Чай пили молча. Надя ни разу не вспомнила о матери; последнее время ей было несладко в этом доме. «Куда же теперь девочку, — думала Татьяна. — Дугин живет один, говорил как-то. Оставить здесь — нельзя, мала еще. Отмыть ее, человеческий облик вернуть...».

И предложила:

— Пойдем ко мне, Наденька?

— Пойду,— согласилась та без размышлений.

Дугин облегченно вздохнул, он тоже думал как быть с девочкой.

— Иди, иди, Надюша, к Татьяне Ефимовне. Она добрая женщина. Захочешь когда, ко мне придешь. Мама заболела... скоро поправится. Поживи у Татьяны Ефимовны. Жаль вот, Лены нет дома, а то бы играли вместе.

— Лена к весне вернется, не раньше,— сказала Татьяна.

Она все еще была под впечатлением рассказа Дугина и, когда закончили чаепитие, собрались расходиться, не утерпела, высказала ему, что думала:

— И религия ваша, Николай Михайлович, убийственная, и верующие все собрались по несчастью. Кого жизнь обидела, кого стороной обошла... сами вы себе бога выдумали. А радость-то какая от этого? Все равно живете без покоя.

Он пристально посмотрел на нее, но промолчал. Не потому, что не хотел спорить. Татьяна будила в нем то, что он отчаянно скрывал многие годы от себя — правду. Он боялся, как бы совсем не оказаться на распутье.

Волнения этого большого, насыщенного событиями дня не прошли бесследно. Дома у Татьяны разболелась голова, а к ночи появился жар. Она с трудом нагрела воды, искупала Надю, постирала ее белье. Когда уложила девочку на диван, где раньше спала Лена, ей стало совсем тяжело. Подушка казалась твердой, в висках отчаянно стучало, и глухая тоска дышала на нее, как не любимый муж, с которым вынуждена спать в одной постели.

3

Конец недели тянулся утомительно долго. Настя Свистелкина отказалась от ученицы, которая «отбила» у Клавдии парня. Отказалась и другая ткачиха, Мария Попова, хотя Татьяна знала, что Мария недолюбливала

Клавдию. Ученица Агнессы, эта маменькина дочка, оскорбительно молодая девчонка, сказала в буфете, что и она не стала бы работать рядом с такой, открыто кивнув на Татьяну. После переговоров Татьяну определили к хмурой, немного глуховатой Надежде Праховой. Она отнеслась к новой ученице с совершеннейшим безразличием. Ничего не показывала, ничего не говорила, только изредка поглядывала на нее, словно хотела уточнить, так ли это Высотина, о которой и до Надежды дошли разговоры ткачих. Глуховатая Надежда не все поняла и считала, что Татьяна уже вышла замуж за дружка Клавдии. На сторону Клавдии встало большинство женщин в цехе. Это Татьяна видела по тому, как сторонились ее, старались отмолчаться, когда она обращалась к кому-либо. Если бы не поддержка Варвары Петровны, ей следовало бы немедленно попроситься в другой цех, либо уйти из комбината. Но Варвара Петровна в первых числах декабря уезжала на учебу. Татьяна со страхом думала, как она останется без этой строгой, но по-матерински доброй покровительницы.

Василий не показывался три дня. Был ли он дома, знал ли обо всем, что произошло? Татьяна не хотела его видеть, не хотела слышать ни оправданий, ни клятв, ничего на свете. Возвращаясь с работы, она запирала калитку, зная, что Дугин может войти в дом через двор Полины. И он приходил каждый вечер. Садился у стола в кухне, глядел на свою дочь, брал ее на колени, скупно спрашивал и так же скупно отвечал ей. Полина еще находилась в больнице. После того как ее увезли, на второй день Дугину разрешили навестить жену. Но она не узнала его. Незадолго перед свиданием, как сказал врач, ей было «плохо», она сидела на койке в плотной полотняной рубашке с длинными рукавами. Окна в палате были забраны решеткой из металлических прутьев.

— Как тюрьма ее палата, — сокрушался Дугин.

В субботу он пришел раньше обычного. Когда Татьяна возвратилась с работы, он сидел уже с Надеей, выложив перед нею кучу вещей и угощений.

— К себе зову! — заявил он. — Ботиночки с калошками купил, платочек, пальтишко. Великовато пальтишко малость, да подрастает девонька, сил набирается. На другой год самый раз выйдет. Из большого не выйдет, как говорится.

Татьяна тоже обрадовалась, что Дугин намерен забрать девочку. Она оказалась слишком молчаливой, и когда Татьяна приходила домой, то всегда видела ее на том месте, где она оставалась утром. Словно Надя была живой куклой, неспособной передвигаться без помощи людей. К тому же в воскресенье Татьяна собиралась ехать к Лене. Но, пожалуй, главным в этой радости было то, что Татьяне хотелось побыть одной. Чтобы плакать, если придут слезы, или посидеть молча, бездумно глядя перед собою. Надя все время была свидетелем.

— Хочешь к отцу, Надюша? — спросила Татьяна.

— Пойду, — ответила девочка.

— Вы уж смотрите за нею, Николай Михайлович! — помогая одевать, говорила Татьяна. — Мала еще. Сама ничего не попросит, если не позовешь.

Она уже ложилась в постель, когда раздался стук в окно. Это был Василий. Татьяна узнала его. Понятно, она тотчас опустила штору, не сказав ни слова. Он опять постучал. Татьяна не ответила. Стоило ей заговорить, она даже через окно обрушилась бы на него со словами обиды и гнева, боли и ненависти, потому промолчала, когда он постучал и в третий раз. Выключила свет, села на диван, давая понять, что никакая сила не заставит ее открыть дверь, впустить его, о чем-то толковать.

Прошло несколько минут. Видно, Василий успел дойти до магазина, ругаясь в душе или улыбаясь над ее детским поступком. Он может встретить Татьяну на улице, по дороге на комбинат, в самом комбинате, если захочет. Там от него не отгородишься шторой или дверью. Но и там, подумала она, прислушиваясь к тишине, он не заставит выслушать свои извинения.

Стук оборвал мысли. Он донесся со двора, в кухонное окно. Видно, Василий перелез через забор, или вошел в калитку смежную со двором Полины. Раз пришел, он не откажется от намерения поговорить с ней. Он будет стучать всю ночь и добьется своего. Не лучше ли открыть дверь и высказать ему в лицо свою боль и презрение. Как ждала она его каждый день, сколько думала! Пусть выслушает все и никогда не приходит, не встречается ей на пути.

Она встала с дивана, включила в кухне свет и открыла дверь.

Когда Василий вошел, и она увидела его лицо, глаза, тугой ком подкатил к горлу, лишил голоса. Она упала бы, если б Василий не подхватил, не усадил на табуретку. Но и после этого Татьяна не сразу разобрала, что он говорит, о чем.

— Да, все против. И Варвара Петровна, Клавдия, ее подруги — все против нас с тобою. И мать моя. Она уже знает... Я вернулся из рейса, был в аварии и... лучше бы мне не возвращаться...

Наконец она начала понимать отчетливее.

— Я не могу без тебя, Таня. Пусть весь мир против нас... пусть будет что угодно, я не отступлюсь. И если ты меня станешь гнать — бесполезно. Я уйду от тебя, но не затем, чтобы вернуться к Клавдии. С нею все кончено. Она не плохая, но это была не любовь.

Во рту у нее было сухо и горько, как от полынной пыли. Вот чем закончилась игра в любовь — мужней женщины, дурной деревенской бабы — слезами! Слезами на виду у человека, который, быть может, говорит ей о своих чувствах вовсе не от избытка их, но чтобы оправдать себя, обелить в ее глазах. Мать его все знает! — великая откровенность. Она должна была раньше знать, коли они уже с Василием не просто знакомы, а жили, как... Как кто? Муж и жена?..

— Хочешь, — говорил он, — давай уедем. Хоть куда! Везде место найдется...

Уедем! Словно она одинокая, сумасбродная какая-то, чтобы ринуться, кто знает куда. В город, к тётке мужа перебралась и то натерпелась горя. Хорошо, люди добрые попали, помогли, совет дали. Нет, Вася, пустые это разговоры, только время тратить, мечтой тешиться. Пустое все, Вася, если ты и вправду согласен куда-то уехать.

— Не могу я без тебя, пойми, Таня!

Ничего, Вася, не случится. И Таня забудется, как забылась Клавдия. Другая встретится, понравится, привяжет к себе. Жизнь как река, смотришь — свернула, пробила себе новое русло и бежит, будто ни в чем не бывало.

— Чем хочешь поклянусь! Всегда буду с тобой.

Не клянись, не надо, Вася. Не бери тяжести на совесть. Зачем такие слова!..

— Ты меня совсем не слушаешь,— сказал он, пытаюсь пододвинуться.— Совсем не слушаешь.

Она посмотрела на него и кивнула: да, не слушаю.

— Скоро же ты меня позабыла!

Это вернуло к действительности.

— Подумай, Таня!

— Уйди! — с болью сказала она, готовая снова разреваться.— Уйди... Муж у меня!

Василий опустил голову, взглянул под ноги. А когда посмотрел на Татьяну, понял, что нет таких слов, которые могли бы оказаться равными против «муж у меня». Третьего из них выбросить было невозможно. Он не присутствовал, не вмешивался в отношении Татьяны и Василия, но он неизменно жил в этом доме, был равноправным членом семьи и, при случае, его имя — только имя! — оказывалось решающим голосом.

Татьяне казалось, что теперь все кончено, Василий никогда больше не придет, и она перед Клавдией в какой-то мере оправдана. Он от нее сразу пойдет к Клавдии, все может быть, она не испытывала ревности. Так или иначе, он рано или поздно станет встречаться с Клавдией, либо еще с кем, ей нет надобности следить за его поведением. Решение было принято, приведено в исполнение, и ей стало легче. Впервые за эти сумасбродные дни она не думала о будущем. Как-то все наладится. Пересуд будет, возможно. Григорий вернется...

Что же потом?.. Бежать, немедленно бежать в деревню! И не вспоминать о городе, обо всем, что было здесь. Выбросить из памяти, забыть, как дурной сон.

Утром она спешно собралась к Лене. Погода стояла морозная, и ветер сердито метался по стылому снегу, налетал на прохожих, безжалостно отбирая у людей остатки домашнего тепла. На автостанции Татьяна растворилась в большой толпе, с трудом достала билет до Ивановки. Говорили, где-то прошел снегопад, видать, в предгорье, дорогу перемело, потому автобус в сторону Ивановки идет только первым рейсом. Она окончательно поверила этому, когда в машину набилось пассажиров больше положенного. Дорога тянулась однообразно, автобус надсадно гудел, содрогался, взбираясь на подъемы, но Татьяна почти не замечала шума и скрипа, бродящих в машине разговоров. Ей было легко, что она нашла силы порвать с Василием.

Дарья Ивановна ждала Татьяну. Старушка Фиса медленно усадила гостью за стол, рассказала почти все, что могла бы сказать и Дарья Ивановна. Лена лечится. Ножка у нее забинтована и в дощечках,— делают вытяжку, догадалась Татьяна. Проводывает ее Дарья Ивановна каждый день. Носил...— шел перечень Фисиных лакомств, заготовленных в зиму.

— Сегодня еще не ходили,— проговорила Дарья Ивановна, сумев проскользнуть в просвет Фисиного повествования о Лене.— Тебя ожидали. Чего мы одни лвимся?

— Вместе пойдем! — поддержала Фиса.

Лена встретила мать с болезненной радостью. Ткнулась лицом в грудь и ни за что не хотела отрываться. Пожаловалась, что с гипсом ей больно, спит только на спине, гулять не разрешают даже по комнате. А остальные девочки выходят на крыльцо, когда хорошая погода. Пусть мама попросит тетю Елизавету Прокофьевну, чтобы разрешила вставать.

— Попрошу,— пообещала Татьяна, с волнением слушая Лену. Кажется, у нее и голос стал другой, тоже больничному тихий, глуховатый.— Скоро ты совсем поправишься.

— Через полгода,— ответила Лена.

— Может, и раньше.

— Не-ет,— протянула она, прищелкнув языком.— Я знаю.

— Какие здесь хорошие игрушки,— Татьяна взяла с постели плюшевого зайчика.

— Это насовсем мой! — похвалилась Лена.

— Откуда он у тебя?

— Дядя Вася привез!

Татьяна оглянулась: не слышала ли Дарья Ивановна.

В комнате, кроме больных девочек, подружек Лены по палате, никого не было. Старухи остались в коридоре, чтобы не мешать встрече Татьяны с дочерью.

— Когда он приезжал?

— Вчера. Мокрый весь, грязный-прегрязный!

— Ты говорила о нем тетке Дарье? — и поймав ответное: нет,— поспешно добавила: — Не говори, Лена. Дядя Вася уехал далеко, никогда больше не вернется.

— Куда далеко?

— Даже не знаю. Очень далеко.— Она заметила в

глазах Лены откровенное огорчение. И попыталась успокоить: — Не нужен он нам, пусть едет. Правда?

— А мне нужен,— ответила Лена, отворачиваясь от матери.

Вошла врач. За нею как-то боком протиснулась в дверь Дарья Ивановна и вкатилась Фиса. Разговор пошел о зиме, о снеге, но Лена так и осталась хмурой, словно она достаточно поговорила с матерью, устала и хотела отдохнуть.

— Серьезная у вас девочка,— сказала врач Елизавета Прокофьевна, когда Татьяна вышла из палаты.— Я удивилась, как она вчера бросилась на шею тому мужчине, который приезжал с вами первый раз. Он такой грязный пришел, знаете, ужас! А она — на шею! Оказывается, авария случилась. Он шофер?

— Водитель,— ответила не без ехидства Дарья Ивановна, оказавшись свидетелем случайно раскрытого секрета.

— У них машина перевернулась,— любезно пояснила Елизавета Прокофьевна, раздражая Татьяну разговором о Василии.

Она еще раз зашла к Лене, на несколько минут, попрощаться. Пообещала приехать в следующее воскресенье. Спросила, что ей привезти, и удивилась просьбе: старую куклу с отбитыми пальцами и совсем отклевшившимися волосами.

Снова все втроем зашли к Фисе. Дарья Ивановна спросила, нет ли от сына писем. Татьяна рассказала, что соседка Полина сошла с ума. На это Дарья Ивановна ответила, мол, так ей и надо. Одной шмакодявкой меньше.

— Когда вернетесь, тетка Дарья? — спросила Татьяна.

— Мне и здесь неплохо,— ответила она.— Ничего с домом не стряслось? Протапливай кажен день.

— Топлю.

— Водитель-то ходит?

— Нет,— с обидой в голосе сказала Татьяна.

— Шофер-то тот? — немедленно встрепенулась Фиса. Видать, она была достаточно посвящена Дарьей Ивановной в семейные дела.— Не ходит, значит?

— А что ему ходить! — грубовато ответила Татьяна.— У него свой дом есть.

— Чужая баба вкуснее кажется,— хихикнула Фиса.

— Все на один лад,— примирительно заключила Дарья Ивановна.— По одной мерке кроены.

Видно, не раз придется мне услышать такое, подумала Татьяна. Что же, пусть говорят. Не всякое пятно враз отстирывается.

4

— Письмо тебе, Высотина!

Дежурный в проходной комбината знал по фамилии почти всех ткачих. Он работал уже несколько лет.

Татьяна взяла письмо, недоуменно посмотрела на незнакомый почерк. Тут же нетерпеливо разорвала конверт.

«Уважаемая тов. Высотина!

Я обещал сообщить вам, как только выяснятся обстоятельства по пересмотру дела вашего мужа. Новое судебное рассмотрение, составом выездной сессии областного суда, назначено на 3 декабря. В связи с тем, что по делу в качестве обвиняемых привлекаются дополнительные лица, рассмотрение дела состоится в селе Каменка».

Письмо было от следователя.

За подписью стоял постскриптум: «Мой телефон 42-58. Звонить лучше всего в начале рабочего дня».

Татьяна молча спрятала конверт в карман и вышла, даже забыв поблагодарить дежурного.

То, что пересмотр дела уже назначен и состоится скоро, всего через неделю, это непонятно радовало. Татьяна достаточно подготовила себя к тому, что все окончится хорошо. Однако было совсем не ясно, почему дело намечено рассматривать в Каменке? И кто эти «дополнительные» лица? Завхоз Кузьма Миронович? Он — одно лицо. А в письме сказано: в качестве обвиняемых привлекаются дополнительные лица. И не совсем обдумав это, вспомнила другое, которое стало более главным: дело будет разбираться в Каменке, в ее селе. Как же она туда поедет? Не то, что дорога дальняя, вдруг Гришу не оправдают? Как она перенесет это на виду у всего села?

— Будешь ходить сонной, сроду ничему не научишься,— впервые сделала замечание своей ученице Надежда Прахова.

— Я письмо получила,— сказала Татьяна.

— Назаводила ухажеров, работать некогда... Вставай к машине, не то мне такая помощница не нужна.

Татьяна промолчала. Ссориться с Надеждой она не могла, это окончилось бы новым изгнанием, и трудно сказать, кто бы еще согласился взять ее в ученицы. Татьяна полагала, что Клавдия настроила ткачих и ждет случая, чтобы публично выступить в защиту Надежды, либо кого другого. Понятно, против Татьяны.

После работы она позвонила по телефону следователю. Но, видно, в прокуратуре никого не оказалось, звонок не ответили. Она выкроила несколько минут следующим утром. Следователь, как ей сказали, куда-то вышел. Раньше она определенно рассказала бы о предстоящем суде Варваре Петровне, посоветовалась с ней. Но теперь не осмелилась, хотя Варвара Петровна, вроде, относилась к Татьяне как и прежде. После разговора о Василии она как бы забыла обо всей этой истории.

Советчиком оказался Дугин. После того как он увел Надю, Дугин на некоторое время запропал. И появился как раз в нужную минуту. Рассказывая о первом суде, о переезде в город, она доверительно, как близкому, выложила все, включая и дружбу с Василием и разрыв с ним, пока дошла до предстоящего суда, на котором будет пересматриваться дело мужа. Она говорила ему так же чистосердечно, как в свое время поведал ей Дугин грустный рассказ о своей жизни. Слушал он не перебивая, боясь потревожить течение слов неуместным вопросом или сочувствием, глядя на Татьяну тем плохо уловным страдальческим и вместе с тем как бы радостным взглядом, как во время встречи у магазина.

Выслушав, он кивнул головой, вроде, подтверждая: так я и знал. Но сказал другое, совсем малоуместное для данного случая:

— На все бог, Татьяна Ефимовна.

Ей показалось, что Дугин не понял ее.

— Что же мне делать, Николай Михайлович? — спросила она.

— Молиться, сестра,— довольно серьезно ответил он.

— Какому же богу? — проговорила Татьяна, думая,

что он ответил двусмысленно. — Следовательно или самому судье?

— Нашему единому богу — Иисусу Христу.

Нет, он не смеялся. На лице Дугина появилась некая торжественность. В душе он радовался, что встретил сестру по несчастью.

Татьяна не могла знать всех событий, происшедших со времени болезни Полины. Нервное расстройство соседки началось давно. Еще старый проповедник — брат Михаил, заметил слепую приверженность Полины к религии и, собираясь сделать ее «пророчицей», стал готовиться к разрыву с мужем. «Святая» должна была, по его словам, стоять выше всех сестер и братьев. Осененная божьим знамением, она как бы становилась непосредственной связной между богом и людьми, получив высшее соизволение предсказывать другим грядущие события. И Полина готовилась к этому. Она отказалась от связи с Дугиным, предложила уйти ему из дому. Затем просто выгнала, когда Дугин пытался остаться. Но проповедник побоялся сразу отобрать и дочь. Пусть Полина сначала привыкнет жить без мужа, затем легче справиться с одиночеством. Чтобы смягчить разрыв, Дугин имел право приходить в дом жены, но уже на положении «брата» по вере. Однако и здесь проповедник все предусмотрел. Обычно Дугин приходил, когда собирались на моление, он не имел возможности поговорить с Полиной наедине.

По преемственности от пресвитера Михаила эту линию проводил и новый пресвитер — брат Кондратий. Он вряд ли мог найти лучшую «пророчицу». И стал внушать Полине, что дочь ее — ненужный свидетель в доме, отвлекает Полину от постоянного общения с богом. Но не говорил, что делать с Надей; отдать ли ее в другую семью, либо отправить к отцу. Жестокая случайность чуть было не помогла решить эту «проблему», волновавшую и проповедника и Полину. Надя бегала по двору раздетая, простудилась, заболела воспалением легких. Полина поняла это как знамение свыше, волю бога забрать ее дочь к себе «непорочной невестой Христа». Брат Кондратий помог ей уверовать в это. Дугина проповедник привлек как свидетеля, который мог бы рассказать другим о чуде «свершения» — вознесении души ребенка. Обстановка вокруг больной девочки была так мрачна,

что спаслась она действительно чудом, благодаря Татьяне.

Полина уже тогда была не в здравом рассудке. Когда она пригласила Татьяну шить платье, болезнь ее устрашающе прогрессировала.

Все происходило на глазах Дугина. Временами в его сознании появлялись нотки протеста, но он тут же глушил их молитвами. Не только потому, что был верующим. После того как Полина отказалась от Дугина, по настоянию пресвитера, община построила ему новый дом. Ко всему прочему Дугин нигде не работал. В лагере он научился столярному делу и с годами стал хорошим столяром. Делал шифоньеры, буфеты, этажерки, письменные столы. Община не утруждала его добыванием леса, продажей изделий. Кто-то привозил доски, кто-то забирал продукцию, продавал, отдавал ему деньги. И Дугин боялся оторваться от общины. Это означало бы потерять спокойную жизнь, остаться без жилья, без заработка. Но страшнее всего было потерять семью. Не только его уход из общины, но всякое свободомыслие окончательно оттолкнуло бы от него Полину, а он все еще не терял надежды снова жить с ней вместе. Для пресвитера же Дугин был отличной рекламой: живой страдалец советской власти. Его рассказы о войне, особенно о жизни в лагере, вызывали слезы даже у мужчин.

Понимая крепость обоюдных обязательств, брат Кондратий не боялся, что Дугин может выйти из повиновения. Потому так внешне спокойно оставлял его с Татьяной, когда она вступала в спор. Но от лишних соблазнов оберегал. Посоветовал взять Надю к себе, чтобы Дугин реже заходил к Татьяне. Несколько дней подряд поручал ему то навестить больного, то подменить его, пресвитера, и выступить с толкованием глав евангелия. При этом подбирал такие тексты, где речь шла о соблазнах мирских, о том, сколько разных искушений стоит на пути верующего. Эти последние дни снова вернули Дугину «святость» и, слушая Татьяну, он подумал, что ее тоже можно вовлечь в число верующих. Потому и сказал: «Молиться надо, сестра».

— Не то говорите, Николай Михайлович,— ответила Татьяна.— Судебные дела бога не касаются.

— Во всем он. Во всем. И в любви он дал вам испытание.

— Ну уж это бросьте,— недовольно проговорила Татьяна.

— Поверьте мне!

— Да вы что, Николай Михайлович, всерьез?

— Только по-серьезному, никак иначе не понимайте.

— Я к вам за советом, а вы... кто знает что говорите,— сказала Татьяна, жалея, что так доверчиво рассказала ему о себе.

— Не обижайтесь,— просительно посмотрел Дугин.— От чистой души.— И перешел к другому, что сейчас больше всего волновало Татьяну.— Не надо ездить на суд. Какой толк? Будете присутствовать или нет — ничего не изменится. Все в руках...— запнулся, хотел сказать — бога, сказал: — власти.

Это слышалось искренне. От ее присутствия на суде в самом деле ничего не изменится.

— Как же я узнаю про результат?

— Будет сообщение, известят.

— Кто? — торопливо спросила она.

— Оттуда, из колхоза.

— Никого там у меня нет, Николай Михайлович,— вздох вырвался сам собой.

— Муж напишет.

— Нет, нет, все это плохо.

— Как же тогда? — И неожиданно предложил: — Давайте я поеду. Кому какое дело, почему окажусь на суде? Там меня никто не знает.

Это был хотя и единственный, вместе с тем наиболее удачный выход. Развивая мысль, Дугин добавил, что вернется в тот же день, если суд окончится скоро. Будет поручение к мужу, он сумеет передать. А по поводу подробностей расскажет после, все до последнего слова. Татьяна была ему благодарна.

— Скажу, что вы приболели, не смогли поехать. А я, мол, по соседству живу, решил поинтересоваться. По вашему желанию, понятно.

— Спасибо, Николай Михайлович, спасибо вам! — Словно гора свалилась у нее с плеч.— Какой вы добрый!

— Жаль мне вас, Татьяна Ефимовна,— сказал он с грустью, теряя выражение слащавой покорности, как несколько минут назад, когда говорил о боге.— Если разобратся, то и у вас очная ставка с жизнью получилась. По-другому чем у меня произошла, но тоже мало радости.

— Очная ставка? — переспросила Татьяна, словно впервые слышала эти слова и не совсем отчетливо понимала их значение. — Какая же у меня очная ставка? Никто меня не трогает, живу как хочу. А то что с Василием, это от меня зависело.

Короткая радость совсем померкла, когда он случайно или умышленно, предательски стал будоражить забытое:

— Народ, говорите, избирал вас депутатом своим. Беда не беда случилась, но депутат исчез, выехал. Понтересовался кто: куда депутат девался? Нет. Хотя бы в райисполкоме. Пусть ради учета... Только разговоры, Татьяна Ефимовна, про заботу о живом человеке. И правление колхозное на таком же уровне получилось. Утверждали, поди, когда звеньевой назначали? Определенно утверждали. А сняли втихомолку... Орден имеете, тоже надо учитывать. А учли? Опять-таки нет.

— Я сама уехала! — возразила Татьяна.

— Понятно, — согласился Дугин. — Только при определенных обстоятельствах. — И свел к страшному: — Вы все о власти хорошо говорите. А что они с вами сделали?

— При чем власть? — испуганно взглянула Татьяна.

— Кто как не она ведет.

— Не-ет, Николай Михайлович, власть не трогайте! Власть ни при чем. Лишку берете.

— Кто же тогда повинен?

— В чем? Что мы сами себе места найти не можем? Мы и повинны. А власть не надо сюда подсоединять.

Так как начал, он и закончил разговор вдруг полным согласием:

— Не надо — не будем. К чему такие речи. Дело у нас впереди. Зайду я к вам загодя, как ехать соберусь. Третьего суд? Не забуду.

После его ухода на душе у Татьяны остался неприятный осадок, словно Дугин занес на сапогах что-то нехорошее, и теперь надо основательно проветривать комнату.

5

Весь день Надежда Прахова не замечала Татьяну. Лишь в конце смены остановилась рядом, поглядела с сожалением.

— Не пригласила или ты сама отказалась?

— Кто?

— Варвара Петровна.

Татьяна не поняла вопроса.

— В два с чем-то поезд отходит, — пояснила Надежда, показывая на стенные часы. На них было без четверти четыре. — Многие провожать пошли.

Только теперь стало ясно: Варвара Петровна уехала! Потому ее не было весь день. Потому вместо Клавдии, Нasti Свистелкиной, Агнессы работали их сменщицы.

— В Иваново! — многозначительно тряхнула головой Надежда. — С Гагановой повстречается. Она у нас такая, наша Варвара.

Уехала!.. Не сказала, подумала Татьяна, совсем не слушая Надежду. Не захотела, чтобы я ее провожала. Клавдия отправилась, Агнесса, они давно с нею. А я... Назло Надежде она ответила, что сама не пошла провожать. Шесть месяцев, не шесть лет, скоро вернется.

— Может, тогда и директором станет. Такая хоть куда! — не совсем веря Татьяне, что она сама не пошла, проговорила Надежда.

Постыдилась меня, шли в голову слова обиды. За Клавдию сердится. Но боли не было, наоборот, она восприняла отъезд Варвары Петровны почти безразлично. Не Клавдия, а именно Варвара Петровна казалась ей судьей и, пожалуй, лучше, что она какое-то время не будет с ней встречаться.

Ветер лениво гнал поземку. На переезде дети соорудили снежную горку.

— Тетя Таня! — подбежал Степан. — Я вас сколько времени жду.

— Зачем?

— Отойдемте немного, — оглянулся он на ребят. И когда отошли шагов на десять, расстегнул пальто, вынул из кармана брюк записку. — Вот! — подал радостно. — А пуговица опять у меня! — На его ладони сверкнула та самая медная пуговица с якорем в центре, которую Степан отдал в день знакомства Василию, как бы в память за подаренный перочинный ножик. Увидев пуговицу, Татьяна догадалась, от кого записка, сухо сказала «спасибо» и хотела идти. Но Степан остановил ее. — Там он, — показал в улицу, — ждет вас тетя Таня. Сказал: буду недалеко от дому.

Ей не хотелось встречаться с Василием. Татьяна свернула в узкий переулок и вышла на площадь почти у авто-

бусной остановки. Стоять на ветру было бессмысленно, к тому же Василий мог тоже оказаться на площади, увидеть ее. Когда подошел автобус, Татьяна вошла в него, села, совсем не думая куда она поедет. Ей просто надо было убить время, где-то проболтаться час—полтора. Безразличие, с каким она восприняла отъезд Варвары Петровны, стало еще как бы ошутимей; она сидела, не слыша разговоров, не замечая стуков и тряски автобуса, бездумно глядела в окно на отступающие дома, встречные машины. Кто-то сходил на остановках, кто-то садился сбоку и впереди нее, спорил с кондуктором — это шло стороной, не поддаваясь ясному восприятию. Только названия остановок — Школьная, Некрасова, Парковая, — вырывались из общей массы звуков, словно сигналы рожка стрелочника, сообщающего, что путь и дальше открыт. Таким сигналом прозвучало название остановки: «Гастроном». Но когда донеслось: «Следующая — Больница», Татьяна, еще не зная зачем, поднялась, стала пробираться к выходу. Только после этого мозг отработал: в больнице Полина, надо навестить ее. Не потому, что хотелось узнать о здоровье соседки. Это посещение тоже как бы входило в сумму обязательств перед Дугиным. Специально поехать Татьяна не нашла бы времени, ей и в голову не приходило такое.

День оказался неприемным. Дежурная няня в проходной больницы посоветовала прийти в воскресенье. Татьяна молча села на скамейку. Тишина, тепло, белый халат на няне, все это еще больше окутывало Татьяну спокойствием и, когда няня спросила, кем Татьяна приходится больной, она ответила без всякого интереса: просто знакомая.

Видно, няню удивил такой ответ, удивило то, что Татьяна не ушла сразу же, когда ей сказали, что день неприемный, а тихо села на скамейку, словно собираясь здесь, в проходной больницы, дожидаться приемного дня. Няня кому-то позвонила. Назвала фамилию больной. По односложным «да» и «нет» и заключительному «хорошо», трудно было догадаться, с кем говорила няня и что ей отвечали. Но скоро появилась сестра, снова спросила Татьяну о родственных отношениях с Полиной, дала халат и повела за собой.

Их встретил полный, медлительный в движениях и в разговоре врач, с задумчивыми темными глазами. Он

тоже захотел узнать, кем доводится Татьяна больной. Ответ Татьяны, кажется, его вполне удовлетворил: соседка. Затем он расспросил Татьяну о жизни Полины, ее родне и она рассказала все, что знала. Врача заинтересовал рассказ. Он не перебивал Татьяну и задавал вопросы так осторожно, что она ни разу не подумала, надо ли на них отвечать подробно.

Врач разрешил Татьяне повидаться с Полиной в его присутствии, предупредив при этом, что болезнь еще не прошла и Полина может не узнать Татьяну. Не следует огорчаться. Она и это приглашение приняла равнодушно, не проявив ни радости, ни страха. Проходя длинным, удивительно светлым коридором больницы, Татьяна испытывала только усталость, словно она сама была больна и врач вел ее на короткое или длительное лечение.

Кажется, Полина не сразу узнала Татьяну. Когда отворилась дверь в ее палату, Полина сидела на кровати, сжимая и разжимая ладони рук. Приход людей отвлек ее от этого занятия. Она мельком взглянула на врача и пристально посмотрела на Татьяну. Потом отвернувшись, поправила рукой подушку, поднялась. У нее был вид человека, обвиняемого в преступлении, которого он никогда не совершил. При этом человек никак не мог доказать свою невиновность, оттого смирился, смотрел на других без надежды на помощь. Татьяну поразили ее спокойный усталый взгляд, взгляд обреченной, терпеливо ожидающей исполнения приговора. Затем в глазах Полины мелькнуло что-то просящее. Она подошла к Татьяне, нерешительно прикоснулась к руке.

— Где Надя?

— Дома она,— поспешила ответить Татьяна.

— Дома,— повторила Полина, косо взглянув на врача.

— Ничего она, Надя,— добавила Татьяна, лишь бы не молчать под пристальным взглядом Полины.— Здорова, бегают.

— Бегают... ты приведи ее ко мне, посмотреть хочу.

— Ладно, приведу,— согласилась Татьяна.— Большая она, чего не привести.

— Большая...— она словно с трудом осмысливала слова, но отвечала правильно.— Пусть наденет платье со цветочками... в котором маленькая бегала.

— Скажу ей.

— Береги ее,— Полина нахмурила брови,— пусть не выходит на улицу. Утонуть может. Воды-то кругом...

Врач шепнул Татьяне:

— Пойдемте, довольно.

Но Полина успела взять ее за рукав:

— Береги,— заговорила торопливо,— не пускай к отцу... ни к кому не пускай. Я вчера велела тебе...

— Больная! — громко проговорил врач, заставив Татьяну вздрогнуть от неожиданности.— Ложитесь в постель.

Рука у Полины безвольно опустилась. Окрик этот, видно, хорошо был ей знаком. Так и не договорив, она покорино повернулась, пошла к постели.

В коридоре врач сказал мужчине в белом халате, вероятно, санитару, как подумала Татьяна, что больной может быть плохо, пусть он понаблюдает. И добавил несколько слов не по-русски.

— Если сможете,— попросил врач Татьяну, когда они вернулись в его кабинет,— приведите девочку. Дочь больной,— уточнил он.— Как видите, болезнь отступает. Мы даже не намерены отправлять больную в специальную лечебницу.— Ему очень хотелось подчеркнуть, что Полина чуть ли не накануне полного выздоровления.— Возможно, через недельку—две мы переведем ее в общую палату. Сейчас она хорошо кушает, это очень важно!.. Навешайте ее. Если вас не станут пропускать, звоните мне,— и назвал номер телефона, который Татьяна тут же забыла.

Только дома она вспомнила о записке Василия. Достала из кармана пальто, хотела порвать, но раздумала, прочла начало:

«Тебе тяжело, Таня. Скажи, что надо сделать, я готов на все. Разреши зайти хоть на минуту или давай встретимся в другом месте. Пусть после этого наступит конец нашей любви, но нам необходимо поговорить. Прошу тебя...»

Он уже наступил, этот конец, Вася, подумала она, разрывая листок пополам. Неужели ты еще веришь во что-то? Пустое все, выдуманное. Сами себя обманываем. От такой любви, как наша, люди не бросаются под поезд, не теряют рассудок. Да и можно ли это назвать любовью?

Не будь меня, ты писал бы такие письма Клавдии. Или еще кому.

Она подошла к плите, положила скомканные кусочки бумаги и подожгла, словно опытный преступник, уничтожающий улики. Бумага от огня вздрогнула, зашевелилась, казалось, хотела что-то сказать, но пламя быстро охватило ее, оставив от любви маленькую кучку пепла.

Глава пятая

1

Ветер надрывно выл за окном. На крыше сеней глухо громыхал оторванный кусок железа. Снежные хлопья бились о стекла, лепились друг к другу и, срываясь, падали в темную бездну ночи.

— Стужа, Татьяна Ефимовна, первобытная. Не верил, что доберусь, жив останусь,— говорил Дугин.— Как доехали — ума не приложу. Шофер попался бывалый... а то бы дважды два замерзнуть в степи.

— Чаю я сейчас, Николай Михайлович,— суетилась Татьяна.

— Не откажусь.

— Картошки поджарю?

— К Наде тороплюсь, у людей оставил.

— Привели бы ко мне...

Ей не терпелось выспросить все о суде, но по виду Дугина, когда он вошел, Татьяна догадалась, что вести он принес не совсем ладные. Медлительность Дугина еще больше насторожила. Будь все хорошо, он не утерпел бы, сразу выложил.

— Так что же, Николай Михайлович? — спросила Татьяна.— Гришу-то хоть видели?

— Как же, повидал!— ответил он.— Побеседовать довелось подробно. Два дня шел суд, полных два дня. Правильно поступили, что не поехали, Татьяна Ефимовна. Не хватило бы терпения все переслушать. Дело у них вышло групповое, сложное. Всех собрали: мужа вашего, завхоза бывшего, кладовщика... Рассольникова.

— Красильникова?

— Вот, вот,— поправился Дугин,— этого Красильни-

кова. Так старался запомнить его фамилию. И председателя не оставили в стороне, тоже прихватили. Только скидку дали ему — партийный все ж. Отпредседательствовал полностью. Нового назначили, из тамошних. Бригадиром, кажись, был раньше.

— Валуева?

— Вот, вот, его, — подтвердил он.

Это показалось невероятным. Она еще раз переспросила, не ошибся ли Дугин в фамилии, напонила внешние приметы Валуева и убедилась, что председателем стал именно он. Татьяна не смогла бы ответить, почему так пристально отнеслась к новому назначению Валуева, ничего особенного в том не было. Но теперь пути к возвращению в колхоз казались окончательно отрезанными.

За чаем Дугин стал говорить более подробно. Оказывается, завхоз и раньше продавал на «сторону» пшеницу, картофель, овощи. Не без участия колхозного кладовщика. Вozил продукты главным образом Григорий. Вozил и молчал. Хотя на него не падало прямого обвинения в хищении, но соучастие оказалось налицо. Выпивал с завхозом, делился кое-чем, покрывал воровство. Строго, конечно, подошел суд, слов нет, но справедливо. Завхоза осудили на шесть лет тюрьмы, Григория на четыре, Красильникову три года дали.

Странно, что, слушая, Татьяна думала совсем не о суде, не о муже, а о Василии. «Тебе тяжело, Таня, — отчетливо вспомнились слова из письма. — Скажи, что надо сделать, я готов на все...»

«Скажи, что надо сделать...» — это ветер бился в окно, швыряясь снегом. «Тебе тяжело», — грохотал на крыше сеной кусок железа.

— Пожалуй, я пойду, — проговорил Дугин. Он слишком неосторожно отодвинул пустую чашку, задел ею о сахарницу. Раздался тонкий стон фарфора. Этот звук отвлек Татьяну. Она увидела Дугина уже с шапкой в руках.

— Пойду, — еще раз проговорил он. Но не ушел сразу.

— Спасибо, Николай Михайлович, — сказала Татьяна.

— За что же! — вздохнул он. — Весть нерадостная.

— Вы из-за меня мучились. Такая плохая погода.

— Погода тяжелая.

— Заходите, пожалуйста.

— Зайду.— Он надел было шапку, снова снял и просяще сказал: — Зайдите хоть раз ко мне. К Наде. Она о вас часто вспоминает. Я ведь всегда дома, в любое время.

— Спасибо, Николай Михайлович.

— У вас беда и у меня несчастье... Я всегда дома.

— Поправится Поля, врач так сказал.

— Только на это и надеюсь. Иначе трудно будет нам с Надей без матери. Отец отцом...

Татьяна проводила его с непонятной радостью, словно он без дела отнимал у нее время, которого так не хватало для чего-то более важного. Она не стала убирать посуду со стола. Ей хотелось обдумать, что же будет дальше, но голова отказывалась работать. Ветер яростно метался за окнами, и похоже было, что не железо, а кто-то живой, замерзающий на дворе, стучится в сени. Она подошла к зеркалу и, взглянув, отшатнулась: молодое, красивое лицо в зеркале совсем не было печальным. Печаль жила только в сердце.

2

В обеденный перерыв Настя Свистелкина отозвала Татьяну в сторону. Ее лицо, с двумя сдобными булочками вместо щек, с трудом держало напускную озабоченность.

— Можешь мне сказать правду? — спросила Настя, неуклюже поправляя коротко постриженные волосы. У нее были хорошие косы, недели две назад Настя остригла их: мода!

— Я ни от кого ничего не скрываю, — ответила Татьяна.

— Ну, положим... — хотела возразить Настя, очевидно, колкое, но сдержалась: — Это твое личное дело. Я потому, поскольку мы работаем вместе. — Она явно не знала, как подойти к разговору: спросить прямо или не решалась, или считала не совсем удобным. — Ты одна сейчас живешь?

— Одна.

— Не... скучно?

— С чего бы?

— Да так, — замылась Настя. — Все одна и одна.

— Скоро тетка приедет.

— Когда?

— Через неделю. А что?

Настя неопределенно пожалала плечами.

— Какую тебе правду? — настойчиво спросила Татьяна, догадываясь, что могло интересовать Настю — О Василии? Или о муже? Спрашивай, раз захотела узнать.

— О Василии, — кивнула Настя. Ее озабоченность немедленно сменилась любопытством, хотя Настя и старалась выглядеть не особо заинтересованной.

— Жив он и здоров, — спокойно ответила Татьяна, чувствуя свое превосходство над Настей. И подумала: сама она захотела узнать или Клавдия подослала. — Что тебе еще? Если все, пойду в буфет.

— Нет... обожди. Скажи, ходит он к тебе? Это, конечно...

— Понимаю, мое личное дело, — договорила Татьяна. — Не ходит. Устраивает тебя?

— Что же он, — горячо заговорила Настя, — отирается у твоего дома? — Из нее вряд ли мог выйти опытный конспиратор.

— Столбы по улице считает! — сердясь, ответила Татьяна. — Если подрядились караулить, смотрите за ним хорошенько.

— То-то из-за столбов он позабыл о Клавдии!

— Почему я знаю.

— Ты все знаешь! — не сдержалась Настя. — Такие как ты...

— Ну, договаривай! Что, такие как мы? Отбиваем? На веревке уводим? Привораживаем? — Татьяна понимала, что последнее слово в разговоре за ней. Она сама порвала с Василием и если бы захотела, то силой никто не смог бы его отобрать. Тем более, при содействии таких посредников. — Вот, что, Настя. Скажи Клавдии: я с ним не встречаюсь... Это честно. С того дня, как узнала обо всем от Варвары Петровны. Понятно?.. И не лезь не в свои дела.

— Ты считаешь, это нас не касается? Я с Клавой еще в ФЗО вместе училась! Девчонками были, можно сказать, — Настя как-то сразу потеряла солидность, стала такой, какой бывала всегда, даже хуже — просящей. — Напрасно так думаешь!..

Татьяна отвернулась и молча пошла в буфет. Ожидая, пока буфетчица ставила на стойку обед, она смотрела,

как дрожит ее рука. Снова вернулось спасительное безразличие ко всему на свете: к Насе и существованию Клавдии, к румяным сосискам в золотистой оправе из тушеной капусты, к приглушенному говору ткачих, ко всему, что было и что будет. Только рука все еще продолжала передавать сигналы тревоги. Этот нервный тик продолжался до тех пор, пока она не задумалась о том, что после работы ее опять ждет одиночество. Зайдет Дугин, но он не принесет радости. Их случайно возникшие обязательства друг перед другом оказались исчерпанными, они оба понимали это. Теперь и с приходом Дугина одиночество не будет покидать ее. Оно лишь отойдет в сторону, присядет на диван, либо постоит в углу — даже не выйдет из дому! — и снова станет коротать вместе долгие вечерние часы, будить утром, провожать на работу. Тишина в доме, которой Татьяна так радовалась первое время, теперь пугала ее.

Ее несказанно удивил и обрадовал свет в окне, когда Татьяна возвращалась с работы. Неужели дома Дарья Ивановна? Конечно! — она уже делала уборку, выметая, выгоняя все, что было связано с одиночеством. На углу кухонного стола Татьяна увидела перчатки Василия. Они лежали подчеркнуто открыто — темным пятном на светлой клеенке, словно экспонат на стенде музея: вещественное доказательство неопытности преступника. Следовало убрать их или сказать, что это перчатки Дугина. Но Татьяна не сделала ни того, ни другого. Она считала все это достаточно прошлым, чтобы придавать значение.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



Глава первая

1

Она пришла первый раз в этот дом и постучала громче, чем следовало. Калитку открыла незнакомая женщина.

— Проходите, Татьяна Ефимовна! — женщина улыбалась ей, как старой приятельнице.

— Я к Николаю Михайловичу, — сказала Татьяна.

— Он скоро будет дома. Проходите.

Нет, Татьяна определенно не знала эту женщину. Но, кажется, где-то видела, мало ли встречается людей.

Маленький дворик полукольцом охватывали навесы и сарайчики, почти вплотную примыкая справа к веранде дома. Эти навесы и сарайчики, летняя кухня, были сделаны слишком заботливо, словно для показа. Чистота и опрятность жили здесь, видать, постоянно.

Женщина пропустила Татьяну впереди себя, услужливо открывая двери на веранду и в комнату.

— Маня! Дай тряпицу ноги вытереть, — негромко крикнула она кому-то, — Татьяна Ефимовна пришла.

Слева из-за русской печи вышла девушка, разбросила у порога мокрую тряпку, поклонилась, сказала:

— Здравствуйте! Мир вам и любовь.

Татьяну удивило необычное приветствие, но сказано оно было не заученно, а очень душевно.

Девушка снова ушла за печь. Женщина взяла у Татьяны пальто и платок, повесила у двери под занавеску. Пригласила пройти в горницу. Полы еще блестящи после мытья, Татьяна сняла туфли. Женщина это отметила одобрительно.

— Надюша! — позвала она. — К нам тетя Таня пришла!

Похоже было, что ее все здесь ждали, специально вымыли полы, прибрались к приходу Татьяны.

Надя сидела за столом над книжкой. Только на минуту подняла голову и снова стала рассматривать рисунки. Она совсем не походила на ту девочку-зверька в доме Полины, что сидела постоянно в углу за плитой, настороженно наблюдая за людьми, или на стуле, пряча под себя ноги калачиком. На ней было чистое платье, волосы заплетены в косички.

— Галгафа! — сказала Надя, показывая на картинку.

— Голгофа, — поправила ее женщина. — Господа нашего Иисуса Христа, как говорит святое учение, изуверы распяли на том месте, Наденька.

— Тут?

— Да.

Татьяна прошла к столу, взглянула. На рисунке был изображен голый холм, меж камней поросший редкой мелкой травой. Крест на холме. Выше — голубое небо, ровное по цвету, словно затянутое однотонным полотном. Слева — кусочек не то моря, не то залива.

— На этом кресте они его казнили? — спросила Надя.

— На этом самом. Видишь, гвозди, вот? — показала женщина. — За руки и за ноги прибили.

— Как же он убежал?

— Воскрес.

На следующей картинке по знойной улице двигалась толпа мужчин и женщин в длинных восточных одеждах. Вид у них был крайне сердитый. Передние держали в руках камни и палки. Вероятно, они собирались убить женщину, которая бежала впереди. Но рядом с ней уже стоял Христос. Он поднял руку, остановил толпу и что-то говорил. Видно, то, что было написано внизу: «Кто из вас безгрешен, пусть бросит в нее камнем».

— Садитесь, Татьяна Ефимовна, — предложила женщина. — Маня! — сказала она в дверь. — Готовь на стол.

Дугин говорил, что живет один, и Татьяна недоумевала, какое отношение имеет к дому эта женщина и Маня, распоряжающиеся на правах хозяек. Женщина была полна, даже грузна для своего среднего роста. Особенно эту грузность подчеркивала слишком большая грудь. Однако лицо у женщины было волевое. Маню Татьяна не успела разглядеть. Бросилось в глаза лишь то, что у девушки не совсем здоровое лицо, какое-то серое, отечное.

— А это та Варвара, — сказала Надя, показывая на очередную картинку. — Великая мучительница.

— Великомученица, — поправила женщина.

— Я знаю ее, Александра Тимофеевна. Вы мне рассказывали.

Но женщину больше интересовала Татьяна. Она несколько раз поглядывала на нее, вроде мельком, но с вниманием. Татьяна тоже отметила про себя, что женщина здесь не случайный гость: Надя знает ее имя и отчество. Когда Татьяна села, женщина взяла стул, поставила рядом, опустилась на него со вздохом. И сразу же сказала:

— Тяжело, когда ребенка нет дома. Как она там, Татьяна Ефимовна, Лена-то, поправляется?

— Лежит, — ее подкупил участливый голос.

— Домой не думаешь забирать?

— Рано еще.

— Да. Лишь бы дело на лад шло. Я, правда, не совсем доверяю этим врачам. Сколько у них больных, не уследишь за всеми. Дома всяк час на глазах.

— Была дома, да хуже стало.

— День на день не совпадает, — заметила женщина. — То погода отзывается, то продует где. Мне тоже говорили: ложи Маню в больницу. Ничего, бог миловал, сама не хуже выходила.

Значит, Маня — дочь Александры Тимофеевны, подумала Татьяна. И спросила:

— Что с ней было?

— Кто знает! Простуда приключилась. Потом водянка пошла по всему телу. С год не поднималась.

— А теперь?

— Бог миловал, пронесло. Малость прибалливает, да против прошлого сравнения нет.

— В хроническую перешло?

Татьяна расспрашивала излишне подробно не потому, что ее очень интересовала болезнь какой-то Маня или сама эта Маня. Если бы она знала, что Дугина нет, она определенно зашла бы позже, или вообще не стала бы заходить. Она чувствовала, что Александра Тимофеевна слишком пристально ощупывает ее глазами.

Надя нашла что-то интересное, воскликнула:

— Гости собрались! Посмотрите сколько, Александра Тимофеевна!.. Один какой пузатый!

— Что ты говоришь так, Надюша! Нельзя.— Она поднялась, взглянула через плечо, погладила девочку по голове: — Это тайная вечеря. Ученики собрались ко Христу. Позвал он их.

— Почему они с бородами?

— Взрослые, потому. А этот — Иуда. Он и показал врагам Христа.

— Вы говорили мне про Иуду. Дядя Павел, что ушел от нас к мирским, он Иуда.

Александра Тимофеевна была захвачена врасплох этим признанием. Но не растерялась, изобразила улыбку и скороговоркой, полушутливо оправдала промах Нади: мол, дядя Павел по-другому Иуда, что ушел и стал неправильно рассказывать о братьях и сестрах.

— Глупа еще,— обернулась к Татьяне, кивая на Надю.— Все ей надо знать. А ума,— показала палец,— с ноготок. Муж-то пишет, Татьяна Ефимовна? Сколько их там, страдальцев! Одного недавно ни за что покарали, как есть ни за что.— Ее груди волнами переливались под кофтой.— Две или три булки хлеба нашли в корыте у поросят. Что ж из того! Купленный хлеб был, магазинный, не краденый. Если у человека корм израсходовался?.. Покарали. Год тюрьмы.— Подумала, посмотрела перед собою, как бы в пустое пространство, где совершенно не на чем задержаться взгляду, родиться новой мысли, и сокрушенно повторила: — Шутка сказать — год тюрьмы. Просто год прожить — и то труда сколько. А им, страдальцам, тот год за век кажется... Маня! Собрала на стол?

— Брата Николая не будем ждать? — спросила из кухни Маня.

— Как же! Он подойдет. Картошку пока придержи в загнетке. Ставь хлеб, посуду.

— Чашки или стаканы?

— Господи боже мой! — поднялась Александра Тимофеевна. — Что есть, то и доставай, — проговорила на ходу, отправляясь на помощь Мане.

Это тоже не ускользнуло от Татьяны: Маня не часто хозяйничает в доме Дугина, не знает, что брать из посуды для стола.

Так образовалась цепочка открытий. Первое из них — Татьяну здесь знают. Не только хозяин дома, но и еще кое-кто, в частности, Александра Тимофеевна и Маня. Знают и о ней: Лена больна, муж в тюрьме. Второе: религия в доме прочна и нерушима. Надя говорит о Голгофе, о Варваре-великомученице. С нею занимаются, достают для нее особые книжки с рисунками религиозного характера. Кто-то из «братьев» порвал с сектой — дядя Павел, — его стали звать Иудой: в секте есть трещина. Маня болела водянкой, «выходили» дома — к врачам баптисты не обращаются, считают грехом. Выживет человек, значит бог помог, скончается — тоже воля бога. Все от бога, люди не должны вмешиваться в его дела и заботы.

Но все это подумалось как бы само собою. Татьяне было совершенно безразлично, что какой-то Павел наречен Иудой, что ее знала Александра Тимофеевна и говорила будто со старой знакомой. Не иначе как Дугин рассказал этой женщине о Татьяне. Только одно вызвало некоторый интерес: как же они теперь поступят с Полиной? Ведь Полина лежит в больнице, набирается: «мирских» грехов. Вряд ли с нею врачи станут толковать о боге. Если и станут, то определенно не в пользу религии. И спросила, когда вошла Александра Тимофеевна:

— Полю-то в больнице навещаете?

— Ходим. Николай Михайлович заботится.

— Хоть бы вылечилась, молодая еще. И дите к тому же.

— Дите не без присмотра, — отвечала Александра Тимофеевна. — Дите и без нее проживет.

Вошел Дугин. Надя медленно отодвинула книжку, бросилась к отцу. Что-то шепнула ему на ухо, полезла в карман пиджака. Татьяна вспомнила, как Дугин приходил к Полине, тихонько совал девочке хлеб и колбасу, получая в ответ благодарный взгляд Нади. Прикармливал, как настоящего зверька, которого ему так хотелось

сделать ручным. И это вышло. Несчастье с Полиной еще больше укрепило отношения между отцом и дочерью. Что же будет, когда вернется из больницы мать, подумала Татьяна. Опять грязный угол за плитой для Неди, молчаливая радость для Дугина, когда ему разрешат побыть с дочерью?

— Нашлись квартиранты,— сказал Дугин.— Завтра переедут.

— Брат Леонтий так и отказался? — спросила Александра Тимофеевна, видно, хорошо зная, о чем разговор.

— Какой толк ему переезжать,— ответил Дугин.— Через месяц войдет в свой дом.

— Кто такие квартиранты?

— Из Кемерова. Рабочий народ.

— Большая семья?

— Шестеро. Сами, трое детей да старуха.

— Пожилые сами-то?

— Не молодые уже. Ему — лет сорок пять будет.

— А дети?

— Малы. Видно, поздно семью завели. Старшему лет двенадцать, другие того меньше.

— Ты мне отдай ключи, сама поселять буду,— Александра Тимофеевна основательно верила в свою значительность; выражение внутренней силы наиболее отчетливо проступало на ее лице и действовало на всех в этом доме равно.

— Пустует Полин дом,— словно оправдываясь, сказал Дугин, обращаясь к Татьяне.— Пускай люди живут, сохраняют. Вот и Александра посоветовала: пусть квартирантов.

Он не мог признаться, что сам высказал мысль о квартирантах. Дугин боялся возвращения жены из больницы, новых ссор с нею, нового раздела семьи. Ему хотелось сразу же привезти Полину к себе, в свой дом, дать ей возможность забыть прошлое, снова жить вместе. Татьяна отчетливо видела в его волосах седину и искренне жалела этого большого человека с нескладной судьбой.

За столом сидели молча, изредка произнося: «Подвинь хлеб» или: «Дай соль».

— К дочери собираетесь, Татьяна Ефимовна? — спросила после обеда Александра Тимофеевна.

— Да,— ответила Татьяна и подумала: и это знает. Что ей Николай Михайлович полный отчет дает в своих делах?

— Утречком Виктор подъедет, договорились,— сказал Дугин.

Казалось, он стеснялся присутствия Александры Тимофеевны, ее участия во всем, настойчивости, с какой она вмешивалась во всякий разговор. В то же время Дугин слишком осторожно выказывал эту стеснительность, неуловимо для Александры Тимофеевны, как бы только для Татьяны. Но ей не к чему было разбираться в их отношениях.

За столом Татьяна внимательнее разглядела Маню. Ей было не более семнадцати лет. Но по отеку серому лицу, не столь одутловатому, сколь мятому, напоминающему большую дряблую редиску, можно было равно дать и двадцать и тридцать. Остатки болезни удержались и на руках, они выглядели уродливо-серой массой, с пальцами, вылепленными мастером, не имеющим малейшего понятия в анатомии. «Выходили»,— подумала Татьяна, вспоминая слова Александры Тимофеевны. Где же выходили! Так и останется больной на всю жизнь: ни в люди показаться, ни с парнем встретиться. Дом вылечили!.. Обошлось... против прошлого сравнения нет... Ей стало жаль Маню. Девушка была так тиха и послушна, что сама, видно, не понимала каким оказалась уродом благодаря заботам матерн.

Сумерки заволакивали окраину города, на небе уже мерцали первые звезды огоньками далеких сторожевых постов, когда Татьяна вышла из дома Дугина, унося на плечах напутствие Александры Тимофеевны: «Мир и любовь тебе, мятушаяся душа». Почему мятушаяся? Откуда она знает все про Татьяну, или почти все? И сколь искренне ее пожелание?.. У нее у самой больна дочь, но эта женщина нисколько не сокрушается о болезни. На бога надеется? Пожалуй, да. Неужели религия так помогает человеку переносить страдания?..

У соседних ворот, по другую сторону дома Дарьи Ивановны, стоял мужчина. Он был хорошо виден Татьяне; спиною к ней, широкий в плечах, вглядывающийся в сторону площади. Она растерянно приостановилась и, не задумываясь, торопливо открыла калитку, юркнула во двор, боясь оказаться замеченной. Правильно, правильно,

на ходу отстучал мозг, нет никакой надобности с ним встречаться. Ты уже сделала достаточно много, чтобы порвать с ним. Теперь надо забыть о нем, выбросить из памяти.

Дверь в дом оказалась не заперта.

— Это ты? — недоуменно встретила Татьяну Дарья Ивановна, словно ждала кого-то другого. — Мальчик Степан весь порог обтоптал, все прибегал, спрашивал. Чего ты ему так понадобилась!

Татьяна знала, что хотел ей сказать мальчик Степан.

2

— Вы должны нам помочь. Болезнь пошла на убыль, но я затрудняюсь вести речь о гарантиях на будущее. — Врач говорил так, словно Полина могла окончательно выздороветь только при участии Татьяны. Его темные задумчивые глаза глядели устало. — Сам случай нельзя назвать особым, необычным... — он подумал, подбирая слова. И добавил: — Из ряда вон выходящим. Характерное нервное потрясение. Однако прошлые религиозные убеждения больной вызывают тревогу. Ведь она снова вернется к баптистам, не так ли?

— Да, — ответила Татьяна.

— Вот видите!.. Снова ей начнут туманить голову.

Она кивнула, соглашаясь.

— Не исключена возможность, что Кондова вторично окажется у нас. В таком же состоянии, как оказалась и этот раз. — Он снял с чернильницы никелированную крышечку, покрутил в пухлых пальцах. — Возможно, и в худшем, — сказал равнодушно, опуская крышечку на чернильницу. — Вы хорошо поступили, что рассказали о ее религиозных убеждениях. Это, видите ли, для нас важно: знать, на какой почве возникло заболевание. Как вы думаете, муж... любит ее?

— Да, — подтвердила Татьяна и добавила, что Дугин сильно переживает.

— А к кому из них больше расположен ребенок?

Сейчас, понятно, к отцу. Но с возвращением матери все может измениться. Если, конечно, Полина останется такой, как прежде. Ведь она была очень тиха, душевна, когда Татьяна впервые познакомилась с ней. Она сама

оттолкнула от себя дочь. Но это на время. Мать остается матерью, в любом случае дети ближе к ней, чем к отцу.

Он долго молчал, меланхолически глядя перед собою на пустой стол. Слишком долго, как бы обдумывая решающий шахматный ход в последней партии чемпионата. И, вероятно, пришел к первоначальному соображению, сказал: Татьяна должна ему помочь. У больной образовались провалы в памяти. Она не плохо помнит себя, мужа, дочь. Но совсем не знает, в силу каких обстоятельств оказалась на лечении. Врачу удалось убедить ее, что она лежит с воспалением легких. И Кондова поверила. Это очень важно. Он просит Татьяну говорить ей то же самое.

Но и после решающего хода нельзя рисковать конем, даже пешкой. Ему снова пришлось подумать, прежде чем продолжить разговор.

— Надеюсь, дня через три-четыре мы переведем ее в общую палату.

— Сегодня она разговаривала совсем нормально,— сказала Татьяна.

— Да. Но вы заметили, что она ни разу не вспомнила о доме? Кто в нем сейчас живет?

— Ее муж пустил квартирантов. Неделью назад.

— Куда же она вернется после больницы?

— У Дугина свой дом. К нему.

— Это уже лучше.

— У него живет и дочь.

— Вы обещали ее привести к матери,— напомнил врач.

— Сегодня я зашла случайно.

— Понимаю.

— Следующий раз...

Но он не дал договорить. В его большой, красиво вылепленной голове окончательно созрел план, и медлить не следовало.

— Послушайте, Таня,— сказал он и поправился, извиняясь.— Я значительно старше вас, не обидитесь, что называл по имени? Вот и хорошо. Вы говорите, что больной есть куда перейти, поскольку в ее доме живут другие? Отлично. Муж, как вы заметили, уважает ее. Так сказать, любит. Прекрасно. Выйдя из больницы, она попадет к нему. Там ее дочь. Все складывается наилучшим

образом. Остается одно, пожалуй, самое главное: чтобы они выехали из этого района. Например в другой край города.

— Как же они уедут?

— В этом и вопрос. Надо поговорить с Дугиным. Посоветовать ему. Конечно, если он действительно желает ее сохранить. Как жену. Как мать своего ребенка. Следует изолировать больную от людей, с которыми она общалась ранее, убрать ее из привычной обстановки.

— Вряд ли это возможно! — не удержалась Татьяна,

— А почему — нет?

— Да... дом же свой...

— Вот и надо все это нарушить!

Этого Татьяна не могла понять, хотя, в конце концов, кое в чем и согласилась с доводами врача. Трудно сказать, как ко всему отнесется Дугин. Да и сама Полина.

— Ее я подготовлю, — убежденно проговорил врач. — Так сказать, беру все на себя. Безусловно, постараюсь убедить и Дугина. Но предварительно с ним надо поговорить кому-то другому. Пусть он придет после этого ко мне. Я тоже дам ему совет. У этого Дугина грустные глаза. Вы не замечали?

— У него была тяжелая жизнь, — ответила Татьяна.

— Что вы имеете в виду: тяжелая?

— Много неприятностей в прошлом.

— Неприятности есть у каждого из нас.

Ей пришлось ответить, что это так.

План врача оказался в принципе прост. Как в свое время она помогала Дугину, взволнованная его откровенностью, так и сейчас Татьяна чувствовала, что ей надо помочь врачу.

3

Она проснулась от непонятной боли и не сразу разобрала, что же это такое. Опять сердце или нога продолжает ныть — настойчиво и тягуче, как ветер за окном; в темноте вчера Татьяна оступилась, упала. Она попробовала вытянуть ногу, пошевелить ею под одеялом и успокоилась: боль почти не чувствовалась.

В слабый шум ветра за окном вплетались ровные, успокаивающие звуки падающих с крыши капель. Оттепель наступила дня два назад, а по ночам все еще осно-

вательно подмораживало; теперь, видать, погода явно изменилась. Но ненадолго. К новому году снова выпадет снег, нагрянут морозы.

Отчего же боль, подумала Татьяна. Или приснилось что плохое. Но она не помнила сна. Ветер утихал. Стук капли стал более отчетлив. Капли срывались с крыши и глухо шлепались в лужицы. Одна... две... три, четыре... пять... шесть, семь, восемь... девять... Какой этот доктор интересный: умный, видать!..

Но Дугин! — никогда Татьяна не ожидала увидеть его таким. Она зашла к нему в тот же вечер, возвращаясь от Полины. И обрадовалась: он был дома один. Понятно, она поторопилась сказать ему все сразу, ошеломила его столь неожиданным разговором: надо уехать, надо порвать с «братьями» и «сестрами», забыть прошлое, начать жизнь по-иному. Разве он не видит, что баптисты довели Полину до сумасшествия, разбили его семью, калечат Надю. На кого она похожа — эта маленькая девочка, забившая голову страданиями Христа, верой в несуществующий рай и ад, разной чепухой. Привычка, только она держит людей, не дает им раскрыть глаза и увидеть окружающий мир. Татьяна била карты Дугина его же козырями. Верил Дугин в бога, когда жил со своей первой семьей, пошел на войну, томился в плену у врага? Даже когда попал в лагерь, и душа обливалась кровью от несправедливости? Да нет же! В жизнь верил, в солнце, в свет дня. Нужда, боль, отчаяние загнали его к баптистам, подружили с богом. Что же будет дальше? Скоро Полину выпишут из больницы. Она вернется домой. Снова начнет молиться, терзать себя, гнать Дугина, Надю и, в конце концов, окончит жизнь в доме умалишенных.

— Думаете, они оставят вам дочь, Николай Михайлович? Нет! Они сделают из нее такую же святошу, как Маня. И если вы станете возражать, отбирать ее, они отнимут силой! Они на все способны, ваши «братья». Живого человека, Надю вашу, отпевали словно покойника. И умерла бы она, убили бы они ее своими молитвами... Да что они! — вы, родной отец, самый близкий, помогали убивать ее! А теперь конфеты носите, смотрите с жалостью. Не прячьтесь за бога! Все равно когда-то придется посмотреть жизни в глаза, может, перед смертью вспомнить, для чего столько лет дурака валяли, отгораживались от мира молитвами. И горько пожалеете,

Николай Михайлович! Плакать будете, проклинать день, когда вас «братья» затащат к себе.

Он вскочил слишком поспешно, словно услышал сирену пожарной машины. Прыжком бросился к Татьяне, с силой ухватил ее за плечи, готовый ударить или убить. Волосы Дугина были всклокочены, а в глазах сверкала неподдельная злоба. И выкрикнул:

— Перестаньте мучить!

Татьяна испугалась его горящих глаз, сильных рук, от которых на теле определенно останутся следы и, повинувшись чувству самосохранения, толкнула его, что было духу. Но Дугин крепко держал ее. Он не опустил рук, когда она со страху ударила его в грудь и уже готова была закричать, хотя и понимала, что криком вряд ли чего могла добиться. И хорошо, что не закричала: Дугин странно обмяк, опустил руки, стал на колени. Татьяна отступила на шаг и ужаснулась: он плакал! Слезы скатывались крупными каплями, падая на колени, на его крепко сжатые жилистые руки. Он показался Татьяне в этот момент каким-то бессмысленно старым, изношенным.

— Встаньте, Николай Михайлович! — она растерянно подхватила его под руки, попыталась поднять. — Нельзя так!

Он поднялся обессиленный, совсем по-стариковски, упираясь в пол ладонями. Татьяна помогла Дугину дойти до стула, сесть. Что же она сказала такого? Чем обидела, заставила заплакать? Она готова была сама разреваться, чтобы только умалить его боль или обиду.

— Правду ведь я вам говорю, — сказала Татьяна, считая, что она обязана чем-то успокоить Дугина. — Чистую правду, Николай Михайлович. Жизнь-то какая у вас произошла — подумать тяжело. А в награду что? Опять-таки одному, до старости лет. Когда умрет кто — легче: оплакал, перестрадал...

— Да, — отозвался он, словно из подземелья — глухо и отчужденно.

— Полина боится идти и к вам! Стоит ей вернуться, как прибежит Александра Тимофеевна, еще кто-то, все пойдет по-старому.

— Да.

— Вот видите! Вы и сами понимаете.

— Понимаю.

— Тогда надо что-то делать.

Он вздохнул так тяжело, вроде все это время сидел в душной комнате. В щетине усов с правой стороны все еще искрилась, вздрагивая при каждом движении, слезинка. Мокрые от слез глаза Дугина — враз припухшие и красноватые, — казались близорукими.

— Если бы она согласилась! — проговорил он, с отчаянием сжимая руки.

— Вы сами должны сказать ей об этом!

— Как я скажу?

— Подумайте.

Она оставила его в том состоянии, когда человек вынужден думать, когда он не может заглушить в себе тяжелого течения мыслей.

Вспомнив о Дугине, Татьяна снова прислушалась к мятому стуку падающих за окном капель. Она не могла определить время, но знала, что еще рано и до рассвета далеко. Боль, от которой она проснулась, где-то снова неуловимо мелькнула, но где — она не смогла понять. Ей показалось, что на диване кто-то пошевелился, повернулся на бок. Это было так отчетливо, что Татьяна невольно приподняла голову. Будь дома Лена... Лена! Дочь сейчас спит и совсем не знает, что матери так тяжело. Вот она приняла горячее участие в судьбе Дугина. Совсем не потому, что кровно заинтересована в его будущем. А почему? — спросила себя. И горько улыбнулась в душе: чтобы не быть одной. Когда-то она искала покоя. Она нашла его в доме Дарьи Ивановны. Но покой со временем принес одиночество. Возвращение Дарьи Ивановны не нарушило одиночества. Она растеряла почти всех своих добрых знакомых — Варвару Петровну, Акопа Ивановича, Клавдию, Василия: одни забыли ее, от других сама отказалась. И осталась одна.

Капли падали и падали. Донесся слабый голос петуха. Это было так неожиданно, что поверилось лишь когда петух пропел второй раз. Откуда он мог взяться на сонной, почти мертвой по ночам городской окраине. Петушиное пение повернуло мысль в сторону. На память пришла Каменка. Но помнилась она не такой, какая была на самом деле, а двумя рядами домишек под камышевыми крышами обочь пыльной дороги, которые она видела на фотографии у Клавдии. Татьяна устыдилась, что только теперь подумала о Григории, после всех, в последнюю

очередь. И подумала так, как думают о чем-то рассказанном, но не увиденном своими глазами — слишком расплывчато. При всем ее желании Григорий не появлялся в воображении отчетливо. Она не видела его почти год, а те фотокарточки, которые иногда попадали в чемодане под руку, только путали память — на них он был совсем молодой, к тому же в армейской форме, слишком чужой и далекий.

Она слышала, как проснулась Дарья Ивановна. Весь вечер накануне старуха была чем-то расстроена: молчала, поглядывала на Татьяну косым настороженным взглядом, будто пустила на ночь незнакомого человека и опасалась его. Татьяна пришла поздно и скоро легла в постель, иначе Дарья Ивановна определенно рассказала бы, чем она недовольна. И вспомнила — у нее была гостья! Когда Татьяна подходила к дому, из калитки вышла женщина; молодая или пожилая она не разобрала в темноте. Как раз в тот момент, когда женщина прикрывала за собою калитку, Татьяна оступилась и упала.

Скрипнула кровать. Дарья Ивановна опустила на пол босые ноги. Они виднелись в темноте двумя гипсовыми слепками, долго валявшимися без нужды в сарае — мутно-серыми от пыли и сырости. Слепки прошагали на кухню, унося на себе такое же мутное нагромождение человеческого тела. Загорелся свет. Татьяна притворилась спящей. Ей не хотелось вставать, о чем-то говорить с Дарьей Ивановной, выслушивать уличные новости, в которых никогда не было чего-либо стоящего. Но Дарья Ивановна так громко стучала совком, выгребая из плиты золу, затем чайником, кастрюлями, что могла разбудить кого угодно.

— Не выпалась? — спросила она, как только Татьяна поднялась с постели. В голосе Дарьи Ивановны прозвучало не сочувствие, а открытая насмешка.

— Сегодня пели петухи! — делая вид, что не заметила этих недобрых ноток, ответила Татьяна. — Как в деревне.

— Спать не дали.

Татьяна промолчала.

Наступление началось, и Дарья Ивановна теперь не могла удержаться:

— Что-то ты зачастила к этому рыжему.

— У него жена в больнице, — ответила Татьяна.

— Его жена?

— Да.

— А тебе какое дело?.. Это та самая шмакодявка сковырнулась? Слава богу, домолилась!

— Она тяжело больна.

— Так ты что: вместо жены у него пока?

Татьяна остановилась, будто ей дали пощечину. Неужели Дарья Ивановна могла подумать такое!

— Как не стыдно, тетка Дарья!

— Чего бы это мне было стыдно! Ты бегаешь, а я буду глаза от людей прятать — интересное дело.

— Бегаю! — с обидой проговорила Татьяна. И подумала: что же теперь с тобой сидеть сутками? Но сказать этого она не могла.

— Перешла бы к нему на квартиру, чем каждый день тропку протаптывать. Ноги заболят.

— Да вы что в самом деле! Уж не думаете ли всерьез, что я хожу к Дугину?

— Всякое придет в голову, когда слушаешь.

— Меньше слушать надо, — Татьяне не хотелось зазевать ссоры, но и молчать не стоило. Промолчи, подумает, что виновата.

Дарья Ивановна села на край табуретки: плохой признак, грозящий длительным и неприятным разговором. Однажды такой разговор уже был, вот так же поутру, на второй день возвращения Дарьи Ивановны из деревни. О Василии. Началось со злополучных перчаток. Татьяне удалось тогда выкрутиться, может, и убедить тетку, что ничего особого между нею и Василием не было и нет.

— Сядь-ка, — сухо приказала Дарья Ивановна. — И расскажи все, что ты думаешь делать в дальнейшем.

Татьяна непонимающе поглядела ей в глаза. В тишине было слышно, как отчетливо шлепались в лужу за окном редкие капли с крыши.

— Вот и расскажи, — напомнила Дарья Ивановна.

— О чем? — Татьяне вдруг пришли в голову слова следователя: «Расскажите все, что вы знаете о Григории Высотине».

— Встречаешься со своим водителем?

Ах вот о чем надо рассказать! Но разве это относится к будущему, к «дальнейшему», как сказала Дарья Ивановна. Нет, она с ним давно не встречается.

— Что же он сохнет по тебе?

— Кто?

— Водитель твой!

— Не пойму я вас, тетка Дарья, к чему разговор.

— Отчего же понимать перестала? Такое понимать — простое дело. Невесту бросил, дома не ночует, под окнами прохаживается, вроде в караульные нанялся, — чего не понять? Это мне надо удивляться, непонятные виды делать, а тебе все должно быть ясным. Раз ты провела меня, дуру старую, когда с Леной на свои гулянья уходила. Второй раз обдурила, сказку выдумала про серого бычка — когда перчатки я нашла. И опять пыль в глаза пускаешь! Не-ет, дорогая, не верю я тебе, ни единому слову. Не пойму и теперь: к рыжему бегаешь почитай каждый день или рыжий только ширмой у тебя нанялся служить!

Она была и была Татьяну словами, но они как-то странно пролетали мимо, не задевая ее. Вероятно, потому, что Татьяна не могла догадаться, что послужило причиной для этого разговора. Она молча смотрела — даже с некоторым интересом, — как после каждой фразы тетка заглатывала ртом новую порцию воздуха, но старые порции не выдыхала, словно они растекались по организму, заполняя пустоты.

— Долго смотрела я на тебя, матушка, глаза заболели. Молодая, разумею, да ведь надо не только о себе помнить... В мои годы такого позора я терпеть не стану, так и знай. Мы, бывало, молодые тележного скрипу боялись, а вы очень уж норовистые стали.

— Да скажите наконец что случилось?

— Ты мне скажи! — немедленно ответила она. — Ты скажи!

— О чем?

— О славе, что привела в мой дом! — она не кричала, но получалось у нее хуже, чем бы кричала, — острее, больнее. — Дожила, что начальству на тебя жаловаться ходил.

— Кто? — пряча испуг, спросила Татьяна.

— Знамо не я! Кому надобно, тот и ходил.

— Откуда вы знаете?

— Не надо было бегать вчера к рыжему, сама б узнала. Мать его пожаловала, водителя твоего. Сидела вот на этом месте.

Татьяна отшатнулась, словно Дарья Ивановна в самом деле ударила ее. Мать Василия приходила! — боже, какой позор. И они сидели вдвоем: Дарья Ивановна и она, родная мать Василия. И Дарья Ивановна теперь все знает! Что Василий просил разрешения у матери жениться на Татьяне, что он ночевал у нее, что... Боже, боже! Она беспомощно оглянулась, словно кругом — на полу, на табуретках, на столе и кровати, на диване — везде были его следы, оставленные посещениями, встречами, разговорами, и их уже невозможно спрятать, скрыть, уничтожить. И, не видя их, она еще мучительнее ощущала их присутствие.

— Вот и не знаю теперь: к рыжему ходишь или опять дуришь меня,— не давая Татьяне ответить, добавила она.— Мать-то какая у него интеллигентная женщина. Говорит: сраму боюсь! Будто и слушать не хочет твой водитель о старой невесте, на глаза ее не надо ему... Понятное дело, с замужней бабой мужику все двадцать четыре удовольствия враз! Что захотел, то и делай. Не то что...

Она говорила и говорила, как бы без конца лила воду на мельничное колесо: оно крутилось, скрипело, стоило, а кругом была вода и вода. Не думая оправдываться,— да это было бы и нелепо, когда Дарья Ивановна оказалась осведомленной из самых надежных источников, Татьяна прошла в комнату и упала на постель. Она слышала, как скрипнула за нею кухонная дверь. Но прежде чем дверь закрылась, донеслись слова: «Поищи себе другую квартиру...» Она лежала не шевелясь, задыхаясь в подушке, и с трудом догадалась, чего ей не хватает: слез. Но их не было. И заплакать сейчас было бы полнейшим унижением самой себя.

4

Прежде чем войти в проходную, она оглянулась: не смотрит ли на нее кто со стороны. Татьяне казалось, что мать Василия обязательно станет преследовать. Будет пытаться отговорить от встреч с сыном, усостыжить — как всякая мать, желающая сыну добра. Ведь все зло, на взгляд матери, заключается только в Татьяне: сыновья удивительно скромные существа, агнцы, телки, и если они начинают встречаться с женщиной, то не иначе как

соблазненные кем-то. В таких случаях постоянно вытаскивается на свет единственный аргумент: «Тебе что, мало девушек?»

Она обернулась всего на миг, чтобы посмотреть, в то же время не привлечь внимания на себя. И успокоилась. Со всех сторон к комбинату шли женщины — до начала работы оставалось пятнадцать минут. Яркая афиша извещала текстильщиц, что в ночь на первое января состоится грандиозный бал-маскарад, с танцами, играми и другими затеями. Рядом афиша — меньше, в четверть первой, — была занята всего одним словом: ЛЕКЦИЯ. Остальное: о чем лекция, где и когда, лепилось худосочными полосками по верху и по низу, задавленное и оттиснутое основным.

— Здравствуй, Таня!

Голос заставил замереть на месте, затаить дыхание. Буквы на афише ожили, зашевелились, стали сползать в сторону.

— На маскарад собираешься?

Нет, конечно! Но она не могла пошевелить языком. Как это Василий решился подойти, на виду у всех, перед сменой, когда на работу идут сотни женщин! Вот теперь будет разговоров. Где-то позади или сбоку идет Клавдия, смотрит на них со злой усмешкой. Нет — так ей немедленно другие передадут: видели парочку!

— Мне с тобой надо поговорить, — сказал Василий, не обращая внимание на ее молчание.

Это уж слишком! Нашел время и место. Татьяна круто повернулась, собираясь уйти, но он успел взять ее за руку.

— Десять минут можешь найти?

— О чем говорить? — пугливо спросила Татьяна: не могла же она начать вырываться, тем самым еще больше обратить на себя внимание, на то, что стоит с Василием.

— О тебе поговорить.

— Обо мне нечего.

— Только на десять минут можешь прийти? На переезд. Придешь? Часов в семь вечера.

— Приду, — коротко бросила она, лишь бы прекратить разговор.

— Буду ждать, — с надеждой ответил Василий и, не прощаясь, повернул в другую сторону.

Она вошла в цех в числе последних, досадуя на себя,

что остановилась у афиши, что разговаривала с Василием и пообещала прийти на свидание. Именно на свидание, какой у нее может быть с ним разговор? Слишком много воды утекло с тех пор, когда им было о чем говорить. Конечно, она не пойдет на переезд в семь часов вечера: нечего там делать. Если он явится, пусть поймет, что прошлого назад не воротишь.

— Жива-здорова? — что-то слишком любезно встретила Татьяну Надежда Прахова.

— А что мне,— громко сказала она, зная глухоту ткачих.

— Конечно, чего? — дружелюбно ответила Надежда.— Я в твои годы...— но не сказала дальше, что именно она делала или какой была двадцать лет назад. Подошла ученица Агнессы — эта неженка с химической завивкой, Татьяна почему-то ее недолюбливала,— подала Надежде конверт. Взглянула так, будто хотела сказать: «Тоже мне, ученица!»

Татьяна знала, что письмо от Варвары Петровны. Она их слала аккуратно раз в две недели. Вчера письмо обошло половину ткачих: читала Агнесса, Клавдия, Настя Свистелкина, еще кто-то — близкие Варваре Петровне. Сегодня оно начало свой путь с Надежды. Она подержала в руках конверт, прочла адрес, посмотрела на обратную сторону и протянула Татьяне.

— Читай вслух!

Начиналось оно знакомым выражением, словно Варвара Петровна сама говорила с листка бумаги: «Здравствуйте, мои дорогие бабы!» — с присущей ей интонацией. Писала, что много приходится заниматься, знакомиться с новыми машинами, учиться трудовому волшебству ивановских ткачих. Но главное, на взгляд Татьяны, было в конце письма. «Скучаю о вас, мои дорогие бабы, просто тоскую. Были бы крылья, летала бы к вам каждый выходной день. Передаю свой горячий привет Агнессе, Людмиле, Нине, Клавдии, Надежде...» Татьяна прозвела все имена, их было около двадцати. Но слова: «Татьяне» — не встретила. Понятно, не могла же Варвара Петровна перечислять всех ткачих, однако было неприятно, что о Татьяне она забыла. После перечня, еще до точки, значилось: «и другим». Но имела ли в виду Варвара Петровна среди «других» Татьяну? Вряд ли, подумала она, возвращая письмо Надежде.

— Ничего, дождемся,— уверенно проговорила Надежда.— Как думаешь?

— Дождемся,— поддакнула Татьяна, что ей оставалось еще сказать.

— Вставай-ка, берись сама за дело. А то из меня учительша неважнецкая. Вот, смотри,— стала показывать на основу, на челнок, поясняя процесс работы, рассказывая между тем, что сама она случайно ткачихой стала, никто не учил. Уборщицей была, приглядывалась, прислушивалась — глухота после наступила,— помогала ткачихам. Потом раз заболела одна, а подменной нет. Туда-сюда — станки стоят. Ну и дали возможность Надежде показать себя. А через неделю зачислили уже ткачихой. Техминимум прошла. Курсы трехмесячные. Но это все после.

Слушая, Татьяна поглядывала на нее с интересом: чего вдруг Надежда так разговорилась. То, бывало, слова не дождешься за весь день. И подумала, наверное, и Надежда видела ее с Василием?

В обед подошла Настя Свистелкина.

— На маскарад записать, Прахова?

— На какой еще? Мне каждый день дома маскарад с ребятишками.

— А... ты? — нехотя обернулась к Татьяне.— Пойдешь? — и настороженно застыла: неужели пойдет?

— Нет,— коротко ответила Татьяна. Чего она там не видела?

— Как желаешь! — кажется, Насте стало на душе легче, что Татьяна отказалась.

Неприязнь к Татьяне у Насти прошла — дело-то, в конце концов, чужое, хоть она и подруга Клавдии! — но товарищеской близости, пожалуй, уже не суждено было вернуться.

Обед отключил людей от дел. Ткачихи заполняли буфет шумной толпой. Татьяна и раньше приходила в числе первых, когда работала сортировщицей, не была связана с машинами. И теперь оказывалась первой — станки Надежды Праховой стояли почти у дверей. Потому она давно облюбовала себе место: в самом углу, на крайнем столике. Там было спокойно.

Она села, стала есть, слушая глухой говор жепщиц. И снова вспомнила неожиданную встречу с Василием. Она так и не посмотрела на него, не обернулась, не ви-

дела его лица: какой он, такой же, как и прежде или изменился? Потом пришло в голову, что он обязательно придет в семь часов на переезд, станет ждать ее. Будет стоять, вглядываясь в полутьму улицы — ведь в семь часов почти темно, сейчас самые короткие дни года. Пусть придет, давно он не ходил к ней. Постойт и уйдет. Интересно, что он хочет ей сказать? Опять о любви? — и вздохнула: пустое. Или извиниться за мать? К чему? Мать смотрит на все со своей колокольни, ее не следует обвинять. Надо было самому поговорить.

Она видела, как вошла девушка из конторы и не сразу поняла, что именно ее разыскивают.

— Я Высотина, — отозвалась наконец Татьяна, когда девушка вторично назвала ее фамилию.

— После обеда зайдите к начальнику отдела кадров.

Это сообщение вызвало тайный страх. Татьяне вспомнились слова Дарьи Ивановны: «Дожила, что начальству на тебя жаловаться ходили».

Ей пришлось посидеть несколько минут в коридоре, пока начальник отдела кадров вернулся с обеда. Он прошел мимо, совсем не обратив на нее внимания: это тоже показалось подозрительным. Неужели он так близорук?

Она вошла, не смея сделать шага от двери.

— Присаживайтесь, — пригласил начальник.

— Спасибо.

— Присаживайтесь, — повторил он.

— Я постою.

— Садитесь! — он поднялся за столом, показывая рукой на стул. Когда она села, сказал: — Мы же не на улице!

Ему потребовалось время, чтобы убрать со стола одни бумаги, вместо них достать другие, посмотреть, отложить в сторону, поправить очки и попытаться изобразить на лице подобие любезности. Он был сух по характеру, и никто не помнил, чтобы начальник отдела кадров когда-то смеялся, либо рассказывал анекдоты.

Он начал издали, и Татьяна слушала настороженно, боясь пропустить главное.

— Вы можете со мной не согласиться. Мало того, можете обжаловать в профсоюз. Я заранее говорю вам об этом. Действия администрации — это...

Его руки лежали на столе ладонями вниз, и пальцы

слегка пошевеливались, как бы прошупывая: а что там, под зеленым сукном. Он действительно был очень близорук, то и дело наваливался грудью на стол, чтобы лучше видеть Татьяну. Предупредив о праве обжалования, начальник отдела кадров сказал, что новая сортировщица — некая Дударева, — уходит в декретный отпуск. При этом так странно пожал плечами, как бы совсем не понимая, зачем люди уходят в декретные отпуска. Работали бы на здоровье! — так нет, все же идут. Выяснилось, что брать на четыре месяца нового человека для подмены Дударевой нет смысла. Дирекция решила перевести Татьяну из учениц в сортировщицы. Временно, разумеется. Пока Дударева в своем отпуске. Так и сказал: «в своём», подразумевая, что это совсем иной вид отпуска и с трудовым, либо без содержания его путать не следует.

Слушая, Татьяна успела вспомнить почти все прозвища этого человека, которыми окрестили его ткачихи: «Осина сухостойная», «Ржаной сухарь». За что его недолюбливали? Он просто близорук, здорово близорук, отчего не видел далеко, не здоровался с каждым, видимо, страдал от этого.

— Как вы смотрите? — спросил он, считая, что пояснения окончены.

— Не пойду сортировщицей, — ответила она не слишком энергично.

— Так я и полагал, — откровенно признался начальник отдела кадров.

— У нас в цехе есть еще ученица, — сказала Татьяна, подумав, как было бы хорошо заставить поработать сортировщицей Агнессину девчонку.

— Я знаю. Но...

— Нет, нет, я не пойду, — решительно заявила Татьяна.

— Дело ваше. Администрация имеет право переставлять людей по своему усмотрению, если, разумеется, не ущемляется заработная плата. Ученицей вы получаете меньше, чем получает сортировщица!

Дело упиралось совсем не в деньги. Ей было страшно и стыдно возвращаться на старую работу.

— Я предупредил вас: можете обжаловать. Но сегодня будет приказ.

— Все равно не пойду!

— Дело ваше. Кстати,— он порылся в бумагах, достал газетную вырезку,— тут у меня... недавно был суд... Это не родственник ваш, Григорий Высотин? По делу Кротова, Кривошеина, Метелкина,— и наклонился над столом, вбирая Татьяну в фокус стекол очков.

— Муж! — ответила она с явным вызовом.

— А-а-а!

— Его дело касается меня?

— Нет-нет, ни в коей мере.

Понятно, не касалось, но зачем он вырезал статью, хранил, подумала Татьяна.

Она заметила, когда вошла в цех, что вызов к начальнику отдела кадров Надежду Прахову здорово интересовал.

— Чего он с тобой надумал?

— Так,— неохотно ответила Татьяна.

— Насчет работы поди? — и проговорила, как школьница: — Я ему сразу сказала — какая из меня учительша! Сама своим умом дошла, другая лучше тебя научит.

— Он сказал, что вы от меня отказываетесь,— солгала Татьяна.— Все рассказал.

— Не отказываюсь, а к другой попросила перевести.

Кажется, Клавдия улыбалась, поглядывая на них.

5

Поведение Надежды Праховой Татьяна сочла предательством. Она поняла, что Надежда накануне говорила о ней с начальником отдела кадров. Оставалось сыграть спектакль. Его исполнили по всей форме. Вероятно, в этом какая-то роль — и не последняя! — принадлежала Клавдии. Роль суфлера, без которого такие артисты, как Надежда, не рискнут выходить на сцену. Так думала Татьяна. На самом же деле все обстояло куда проще — именно так, как говорил начальник отдела кадров. Он действительно накануне беседовал с Надеждой и вынудил ее отпустить ученицу на четыре месяца. Но Надежда почему-то постеснялась правдиво сказать Татьяне; желая смягчить ее временный перевод в сортировщицы, ляпнула, что из нее плохая «учительша».

— Сходи в магазин, посмотри, есть ли крупчатка,—

сказала Дарья Ивановна.— К новому году испечем кое-чего.

— Завтра узнаю,— ответила Татьяна.— Буду идти с работы, найду, спрошу.

— Я бы сегодня ночью опару поставила. А завтра печь пора. На последний день нечего все дела откладывать.

Татьяна не хотела выходить из дому. Чего доброго еще Василий встретится, ведь она пообещала прийти на переезд. Но подумав, стала собираться слишком поспешно. Желание встретиться с Василием пришло вдруг, совершенно внезапно. Да, да, надо повидать его, сказать: хватит ходить, останавливать, позорить перед людьми! Нечего писать записки, гонять Степана. Пусть возвращается к Клавдии, скажет ей, что Татьяна уже давно не желает его видеть. Какая-то часть обиды была незамедлительно переложена на Василия: не будь его, Татьяна никогда не оказалась бы в ссоре с Клавдией, не было бы неприятного разговора с Варварой Петровной, спокойно училась бы на ткачиху. И еще — бог знает что! — во всем был в известной мере он виновен. Да, да, надо повидать его!

Было без пяти семь. Следовало торопиться, чтобы Василий не вышел навстречу: опять кто-нибудь увидит их вместе. Опять разговоры дойдут до Дарьи Ивановны, начнутся выговоры. Сейчас она особенно дорожила спокойствием в доме. Короткая фраза Дарьи Ивановны, камнем брошенная вдогонку Татьяне: «Поискала бы себе другую квартиру», — заставила подумать о многом. В самом деле, зачем ей нужен Дугин, его жизнь, страдания и радости? Будут ли они вместе с Полиной, либо все станет идти по-прежнему, как шло до того, пока она попала в больницу — не Татьянина это нужда. Пусть думают сами за себя. И решают сами. Врачу пообещала поговорить с Дугиным — тоже зря. Что она, умнее врача? Нет же. Женская добродетель — совать нос в чужие дела. Все это надо ломать. Ей достаточно своих забот.

Воздух был полон талой весенней сырости. После обеда — с час не больше, — шел снег, удивительно мягкий и нежный, но капель с крыш не прекращалась. Трудно было верить, что послезавтра новый год, первый день нового года. Скорее всего такие теплые дни бывают где-то в марте, когда зима идет на явную убыль.

Муки высшего сорта, которую Дарья Ивановна называла крупчаткой по старому давнему времени, было сколько угодно. Татьяна вышла из магазина, свернула на улицу к переезду. Она опоздала на несколько минут к условленному времени, тем не менее Василия еще не было. Она увидела парочку у калитки крайнего дома — парня с девушкой. Они стояли, тесно прижимаясь друг к другу. Это вызвало легкую, короткую грусть. На переезде показалась фигура мужчины, но Татьяна сразу отметила, что это не Василий. Молодой парень шел торопливо. Проходя мимо нее, он замедлил шаг, остановился. Поздоровался.

— Откуда ты, Виктор?

— Был... у друга,— замялся, желая скрыть откуда возвращался.— А вы, Татьяна Ефимовна?

— На свидание пришла! — ответила она, окончательно смутив парня.— Ты же ходишь на свидания?

— Хожу,— признался он, улыбаясь.

— Хоть бы показал мне свою девушку.

— Покажу как-нибудь.

— Красивая?

— Не знаю. Для меня — красивая.

— Лишь бы тебе она нравилась.

— А маме?

— Не мать же ходит на свидания! Девушка из ваших или мирская? — она специально спросила так, как называют баптисты непричастных к их религии.

Он опустил глаза. Сказал тихо, опечаленно:

— Не из наших она.

— Мать знает?

— Нет.— И попросил: — Вы ей не говорите, пожалуйста, Татьяна Ефимовна. Мать у меня строгая.

— Не скажу. Зачем мне мешать твоей любви.

Этот тихий, умный парень — сын Александры Тимофеевны, работал шофером. На легковой машине директора автобазы. Он возил Татьяну в Ивановку, к Лене, вместе с Дугиным. Так и познакомились. Иногда приходилось встречаться, здороваться, но Татьяне всегда казалось, что она знает Виктора с детских лет, и разговаривала с ним, как с близким. Он чувствовал ее доброе отношение к нему, слышал о Татьяне от Дугина, старался поддерживать, хранить человеческую дружбу.

— Когда к Лене собираетесь?

— Хорошо бы первого января съездить,— ответила Татьяна.

— В любое время!

— Спасибо, Виктор.

— Вы только скажите Николаю Михайловичу, сразу мне передаст.

Он ушел. Татьяна подумала: опять Дугина не миновать! К Лене поехать — через него. Можно и автобусом, да ждать по часу на остановках — не лето. Толкаться, трястись несколько десятков километров. Километра четыре, не меньше, от остановки в Ивановке до детского санатория — пешком.

Вероятно она простояла с Виктором минут пять, то и дело поглядывая на переезд. Но Василий появился с другой стороны — подъехал на «москвиче». Разговор с Виктором в какой-то мере остудил ее пыл, и она встретила Василия почти равнодушно. Он открыл дверку, позвал Татьяну.

— Что ты хотел сказать? — спросила она, не двигаясь с места.

— Сядь в машину.

— Я и здесь слышу.

Он вылез, подошел. Проговорил смущенно:

— Люди ходят... Пойдем, лучше отъехать немного.

— Раньше ты не стыдился, что нас могут увидеть.

— Не в этом дело,

— Ты стал слишком боязлив.— Она понимала, что говорит не то, что нужно, но не могла сдержать себя, настроить на другое. Она очень давно не видела его и теперь рассматривала с волнением. Он изменился за это время: лицо обветрело, взгляд стал строже. Кажется, похудел. Неужели он ее по-прежнему любит и надеется, что они когда-то снова смогут быть вместе?

— Сядь, Таня, в машину.

— И что дальше?

— Ничего.

— Ничего, и здесь достаточно.

— Я понимаю тебя, Таня... хорошо понимаю. Мне очень нужно поговорить с тобой. Спасибо, что пришла. Давай отъедем.

Странно было видеть взрослого человека, который с трудом отыскивал слова, убеждая Татьяну сесть в машину. Парочка у калитки — парень с девушкой, за ними

кали. Ей стало неловко за Василия, и Татьяна первой шагнула к «москвичу». Куда он меня думает везти, пронеслось в голове и вспомнилось, как увез ее за Каменку, в степь, Григорий, чтобы сказать, что любит. Вспомнилось первый раз за все время с момента ареста мужа. Василий вывел машину на площадь, свернул в улицу, сразу же попал в унылый поток машин. Он смотрел и смотрел в ветровое стекло — слишком сосредоточенно, словно ехал один и не с кем было обмолвиться словом.

— С матерью решено, — сказал он так неожиданно, что Татьяна вздрогнула.

— Что?

— Все!

Конечно, она ничего не поняла, потому переспросила с усмешкой:

— Ушел от нее, что ли?

— Согласилась она! — в голосе Василия чувствовалась победа, добытая тяжелым трудом. — Согласилась, чтобы я сватал тебя!

Вероятно он полагал, что Татьяна удивится, может, и обрадуется, ведь ему столько пришлось потратить сил, пока удалось уломать родительницу. Только вчера, наконец, она сказала: «Ладно, Вася. Ты ее, вижу, в самом деле любишь». Но Татьяна не выразила ни радости, ни удивления. Наоборот, резко отодвинулась к дверке и с раздражением бросила первое слово, пришедшее в голову:

— Дурак!

Он машинально притормозил, обернулся к ней, посмотрел растерянно: в каком, мол, смысле понимать? Перед «москвичом» тотчас образовалось пустое пространство. Донесся сигнал. Еще сигнал. Одна за другой машины стали объезжать «москвича», стараясь догнать уходящий поток, заполнить звено порванной цепи.

— Неужели ты думаешь, — сердито проговорила Татьяна, — что дело только в твоей матери? А я? Ты спросил меня: нужно ли говорить с ней? Она приходила к Дарье Ивановне, и потом Дарья Ивановна устроила мне настоящий концерт. Тетка считает меня чуть ли не потаскухой, разбивающей чужие семьи. Она думает, что и к Дугину я хожу не ради Полины. Она даже сказала, чтобы я подыскивала другую квартиру. А ты: все решено! Что решено? Кто просил решать за других?..

— Что ты говоришь, одумайся!

— Я давно все обдумала. Это тебе не приходило в голову спросить меня. Полагал, как решишь, так и будет. Ошибаешься! Решай о себе, а обо мне позволь самой подумать. Мне советчики не нужны.— Она вспомнила стыд и боль, когда Варвара Петровна вызвала Татьяну в конторку, стала говорить о Клавдии, косые взгляды Клавдии, разговор с Настей Свистелкиной — все это пришло на память, сваленное воедино, общей массой. Шумели и поскрипывали машины, объезжающие «москвичи», а ей казалось, что это в голове у нее так шумит, грохочет что-то, и если она сейчас не успеет сказать все, что думает, так уж никогда больше не расскажет.

Откуда-то появился милиционер. Василий открыл дверку, сказал ему что-то, тронул машину. Снова поплыли дома справа. Снова поток нес их от перекрестка к перекрестку, заставляя останавливаться перед красными огнями светофоров и пробегать мимо зеленых огней.

Она еще говорила какое-то время, что сама способна решать свои дела, и Василий молчал.

— Мне пора домой,— сказала Татьяна, видя, что они заехали слишком далеко и надо возвращаться.

Он немедленно свернул в улицу, где было меньше машин, добавил газ.

Больше говорить оказалось не о чем. Татьяна отвернулась к стеклу дверки. Неужели он так равнодушно принял ее отказ? Может, он сейчас думает, что действительно зря спутался с Татьяной, поссорился с Клавдией, с матерью; не лучше ли набраться смелости и отступить, повернуть колесо назад. У него для этого достаточно оснований — Татьяна сама настаивает на полном разрыве. Он пытался встречать ее, посылал ей записки, наконец, эта прогулка в машине, разговор. Понятно, он что-то скажет, когда она откроет дверку и будет уходить. Бросит в спину какую-нибудь колкую фразу. Или раньше, еще по дороге.

«Москвич» круто свернул влево и пыхтя попятился, осторожно втискиваясь между другими машинами. Скрипнули рессоры, Василий протянул руку, повернул ключ зажигания. Наступила тишина. Потом он показал на знак, укрепленный на телеграфном столбе, и сказал:

— Здесь специальное место для стоянки.

Что же дальше? — подумала Татьяна. — Решил сходить за папиросами?

— Видишь ли, я не могу вести машину и говорить с тобой, — сказал он серьезно. — Потому и остановился.

— Надолго?

— Нет. На десять минут. Можешь проследить по часам.

Видно, не так много хотел он сказать, потому что достал папиросы, спички, положил все на колени, словно у него была уйма свободного времени и торопиться совсем не стоило. Закурил. Потом вынул какую-то бумажку, посмотрел, сунул в карман. Он молчал, по крайней мере, еще минуты две, пока сказал, скорее про себя, только получилось вслух:

— Нет, без тебя я просто не смогу жить. Все эти неприятности — чепуха. Они пройдут. Надо смотреть дальше. А дальше — это только вместе с тобой.

Он не дал ей ответить, слишком быстро повернул ключ зажигания, нажал на стартер, вырвал «москвича» из машин и погнал в сторону дома. Он вел машину совсем другими улицами, где не было скопления транспорта, обгонял грузовики, проскальзывал под боком у автобусов. Татьяна сидела как пьяная, качаясь из стороны в сторону от лихих поворотов машины, удивляясь, на какую прыть способен этот маленький «москвич», если его подгоняют. Переднее сиденье было не столь широким, чтобы могли свободно помещаться два человека, и качаясь, она задевала плечом Василия.

Неужели он так ничего не понял из ее слов, несколько не обиделся на нее, думала Татьяна. Станный человек. Что же еще ему сказать? Как втолковать, что это совершенно пустая выдумка — быть вместе!

— Вася! — неожиданно для себя, она положила руку на его плечо. Он так резко затормозил, что Татьяна чуть не ударилась лицом о ветровое стекло. — Забудь все, Вася, все, что было, — сказала устало, стараясь придать голосу сердечность. — Не надо помнить, Вася!

— Хорошо, — ответил он, не веря своим словам. — Только я никогда ничего не забуду. Этого забыть нельзя. Даже на том свете, — добавил, подумав, он. — Я не стану надоедать тебе, но буду ждать тебя — год, пять лет, сколько угодно. И ты придешь ко мне, я знаю, — это прозвучало как пророчество.

Он остановил машину на площади, у автобусной остановки.

— Спокойной ночи, Вася,— сказала она, легко тронув его за руку.

— До свидания, Таня,— он ответил так, будто они расставались до завтрашнего утра или вечера.

6

Ей пришлось стать сортировщицей. Она восприняла это почти как должное, словно и не говорила начальнику отдела кадров: «Нет, нет, я не согласна». Ей даже подумалось, что все идет к лучшему. У Надежды в самом деле ничему не научишься, только время зря проведешь. Придется подождать возвращения Варвары Петровны, она найдет к кому прикрепить для обучения. И с отделом кадров ссориться не следует. Ничего не случится за четыре месяца, пока Дударева вернется из декретного отпуска. А там видно будет.

Татьяна пробиралась к дому Дугина кружным путем: от переезда по линии, затем тропкой мимо крайних домов улицы. С возвращением из деревни Дарьи Ивановны Дугин совсем перестал заходить.

— А ведь я только что от Поли! — радостно проговорил он, встречая Татьяну. — Господи, какое счастье, совсем она здорова!

— Что говорит доктор?

— Вот человек! — воскликнул Дугин, прежде чем ответить. — Благороднейшей души! Как брат родной. — Последнее время он все больше терял жалостливую святость в разговоре, становился таким, каким был, вероятно, раньше, много лет назад — самим собой. — Будет, говорит, жить! Она, Поля-то, знаете, Татьяна Ефимовна, совсем как ребенок. Как только на свет произошла.

— Видели ее?

— Как же! Беседовал сколько. Прижалась ко мне так, — неуклюже показал руками, только лицом выдавая радость, — говорит: не уходи, Коля! Раньше она меня всегда Колей звала. Не уходи, говорит. Так и сказала! Мне, говорит, плохо без тебя. Я, говорит, каждый день тебя жду... Вы с работы?

— Да.

— Посидите, сейчас Маня придет, обед сготовит.

Ушла погулять с Надей. Скоро вернется. Так вот, сижу я рядом с ней, в коридоре, на скамеечке, а Поля и говорит: «Не уходи, Коля!» И вспомнилось мне, Татьяна Ефимовна, как говорила она мне эти слова десять лет назад. Господи, думаю, да откуда же мне снова счастье пришло? Знаете, ну хоть плачь, слезы из глаз текут! Куда я от тебя уйду, говорю ей, жить нам да жить с тобой, Полюшка! И она плачет, слезы утирает. Расстроился я, расказать невозможно.

— Ее уже перевели в другую палату?

— Как же, перевели! Три новых женщины и она, четверо выходит. А палата, что зал какой: просторно, чисто, воздух приятный.

Татьяне хотелось сказать: что же вы больницы боитесь, к врачам не ходите? Видишь как там, не нахвалишься!

— О Наде, говорит, сильно соскучилась,— продолжал Дугин.— День и ночь, говорит, вспоминаю. Привести опять просила. Свою, свою, обязательно. Женщины с нею лежат, видать, самостоятельные. Особенно одна, видная такая, серьезная. На костыле ходит. Поскользнулась и попала под машину, вот ногу и повредила. Со мной беседовала эта женщина, Верой Ивановной звать. Тоже советовала переехать куда-нибудь, поместить Полю в новую обстановку. О себе рассказывала, замужняя, трое детей.

Дугину необходимо было выговориться, поведать все, что составляло сегодня его радость, саму жизнь, и Татьяна терпеливо слушала подробности о «серьезной женщине», о разговоре с врачом, о том как Полина поцеловала его в щеку, когда он собирался уходить. Последняя подробность была рассказана особенно трогательно, будто Дугину было всего семнадцать лет и Полина наградила его первым девичьим поцелуем.

— На что же вы решаетесь теперь, Николай Михайлович? — спросила Татьяна, зная, что и врач и та женщина советовали ему куда-нибудь уехать, отвлечь Полину, изолировать от баптистов.

— Ума не приложу,— ответил он, сразу растеряв радость.— Надо уехать, но куда? Думаю вот.

— А с Полиной не говорили о переезде?

— Согласна она. Хоть куда, говорит, лишь бы вместе.

— Надо решать.

— Надо, надо, Татьяна Ефимовна.

— Когда ее выпишут?

— Недели через две. Врач сказал: будет доводить до полного выздоровления. Какой человек!

Татьяна знала, что причинит ему боль, но не побоялась спросить, все равно когда-то придется Дугину подумать над этим:

— Так кто, Николай Михайлович, бог помогает больным или врач?

Он не уклонился от ответа, хотя и сказал окольно: —

— Не надо, Татьяна Ефимовна. Я ведь давно родился, все понимаю.

— Что же теперь говорят братья и сестры?

— У них свое,— ответил он со вздохом.

— А у вас?

— У меня... ничего. Пустота.

— Так и должно быть. Не все сразу. И у Нади пустота, только она еще ничего не понимает. А поймет, пойдет за матерью: сначала в религию, потом в больницу. Или сразу в дом умалишенных. И Маня пойдет, если не умрет от водянки. Вот она вера — во что? Кто спасся благодаря молитвам?.. Извините, Николай Михайлович, я вам неприятные вещи говорю. Да ведь это правда, никуда не денешься от нее.

— Правда,— неуверенно кивнул он.

— Слава богу, прозревать стали. Если бы не этот случай, все бы еще у родной жены гостем иногда сидели у печки, она вас даже в передний угол не приглашала. А уйдете от «братьев», поможете еще двум близким настоящий свет увидеть.

— Вы-то как, Татьяна Ефимовна,— перебил Дугин. Ему, видать, было больно слушать ее слова.

— По-старому, Николай Михайлович. Я сама себе хозяйка, куда хочу, туда и поворочу.

— Что же у вас с Василием, без продолжения?

— Что у нас с ним может быть! — и рассказала о последней встрече, о разговоре, не постеснялась поведать и самое неприятное: Дарья Ивановна намекает подыскать квартиру.

— Знаете, я сейчас за вас больше беспокоюсь, Татьяна Ефимовна, чем за себя. Ведь это вы... даст бог наладится моя жизнь, за вас мне молиться, за ваше участие.

Это было сказано искренне.

— Тетя Таня! Какой выпал снег!

— Всю ночь валит, — подтвердила Александра Тимофеевна. — На новый год не собрался, так теперь старается.

Татьяна подошла к окну, взглянула на улицу. Не снег, а белый покой покрывал ее ровной чистой одеждой. Безмолвный белый покой, которого так недостает иногда домам, деревьям, людям, всему на свете в мире солнца, ветров и дождей. Снег накрыл выбоины на дороге, кучу мусора под окном, разбитый кузов автомашины и ее, Татьянино, несчастье. Словно не было больше ни зла, ни добра, ни комбината и глуховатой Надежды Праховой, ни надобности идти куда-то, делать что-то: белый покой остановил все, окутал тишиной вечности. И люди закрылись в домах, отделились друг от друга безмолвием, уединились от сует, вступив в жизнь совсем иную, предсказанную пророками несколько тысяч лет назад.

— Холодно, наверно, тетя Таня, на дворе.

— Не знаю, Маня.

— На проводах — посмотрите: дорожки белые!

— Не приставай, Маня, к Татьяне Ефимовне, — вежливо одернула ее Александра Тимофеевна. — Тебе лишь бы поговорить, а у человека дела.

— Сегодня воскресенье, — отозвалась Татьяна. — Не работаю я.

— Так отдохни. Посиди.

— Не умею сидеть без дела.

— Как и я, — подхватила Александра Тимофеевна. — Все на ногах. То одно надо, то другое подоспеет. А на помощников моих надежда плохая. Маня совсем ребенок, Витя — день-деньской на службе. Сама и кручусь по дому.

Нет, от сует ничем не отгородишься. Белый покой постепенно нарушался. На улицу выбежал мальчуган из противоположного двора, огляделся по сторонам, бросился на дорогу, топча в рыхлом снегу петляющую тропку. Вошел Виктор, свалил у печи охапку дров. Поздоровался, смущенно глядя на Татьяну. Загромычала ведрами Маня, собираясь к колодцу за водой.

— Сбегаю я на минутку к брату Николаю,— Александра Тимофеевна набросила платок, телогрейку.— Готовьте тут, Витя, я быстренько.— Оделась, ушла.

Татьяна вздохнула. Все ей было непривычно в этом доме: тихий говор, странная дружба семьи — до излишней услужливости, хрустяще накрахмаленные занавески, простыни, наволочки, к которым боязно прикоснуться, чтобы не помять.

— Как спали, Татьяна Ефимовна?

— Спасибо, Виктор. Я, видать, простыла, голова побаливает.

— Пройдет, Татьяна Ефимовна,— от него еще пахло холодом, свежим воздухом улицы.— Позавтракаем — ложитесь, отдохните.

— Сегодня хочу к Полине сходить.

Он помолчал, посмотрел на дверь:

— Скоро, говорят, она домой возвратится.

— Видно, скоро.

— Да-а,— протянул в раздумье и умолк.

Александра Тимофеевна вернулась слишком быстро. Сбросила телогрейку, пошаркала в русской печи ухватом, переставляя одни чугуны из загнетки в печь, другие вытаскивая совсем. Ее полные груди под кофтой трепыхались и, казалось, стонали от порывистых движений. За столом она раза два взглянула на Татьяну так, будто хотела сказать что-то очень колкое, но утерпела, оставила на другой раз. Татьяна сразу заметила: Александра Тимофеевна расстроена.

После завтрака Александра Тимофеевна позвала Виктора в другую комнату, прикрыла за собою дверь. Семейное совещание длилось минут пятнадцать; Татьяна успела вымыть посуду, убрать со стола. Виктор вышел из комнаты озабоченный, хотя и старался казаться спокойным. Он тут же оделся, сказал: «Так я немного похожу». Татьяне тоже хотелось пойти, побродить по рыхлому снегу. Главное, рассеяться, сбросить какую-то часть груза дум, от которых, наверно, и шумело в голове.

— Вот так в этом миру и хлопочешь,— сказала Александра Тимофеевна, присаживаясь на стул.— Туда, сюда — и день в сторону. А придет время, ничего тебе с собой на тот свет не понадобится. Все оставишь, все бросишь. Прах и тлен наша земная жизнь, Татьяна Ефимовна. И короткая, и сумасбродная. Говорят, старые

люди по двести лет жили. А тем, что после нас будут, дак им еще меньше срок уготован. Лет по двадцать. Родился, подрос, а тебя уже господь к себе забирает.— И согласно кивнула: — Оно лучше, меньше человек греха натворит за такую короткую жизнь. Испытаний меньше.

— Как же тогда семьи будут? — без интереса спросила Татьяна.

— Будут как-то! Без отцов дети повырастают, без матерей.

— Плохо это!

— Чего хорошего! Сейчас все машины кругом, а потом человеку совсем нечего станет делать. Силы-то не будет пользоваться, вот и охлябнет, квелым станет. И пойдут все на вымирание. Маня! — окликнула она дочь: — Вымой туфли Татьяне Ефимовне! Да просуши хорошенько. К теплу близко не ставь, а так, в сторонке.

— Не надо! — запротестовала Татьяна. — Я сама!

— Сиди, милая, — остановила ее Александра Тимофеевна. — Маня помоложе. Ей не в труд такое.

— Я хотела... сходить на улицу, — добавила Татьяна, но Маня уже протирала мокрой тряпкой ее туфли.

— Пойди, пойди, погода нынче приятная. Я тебе сейчас сапоги достану, самая подходящая обувь для снега. И сухо и тепло. Маня! Вынь из ящика резиновые сапоги. Да посмотри: там носки должны быть шерстяные. — Подождала, пока дочь копалась в ящике под кухонной кроватью, спросила: — Есть? Давай сюда! Вот, померь, надень на ногу.

— Они же совсем новые! — воскликнула Татьяна.

— Новые, — кивнула Александра Тимофеевна. — Надевай, надевай. Вишь, как хорошо! Вот и ходи, мне-то ни к чему они.

Сапоги оказались в самый раз. Мягкие, блестящие, они смотрелись на ноге удивительно красиво. Татьяна смущенно поблагодарила Александру Тимофеевну.

— Не за что, — остановила та, — небольшой подарок. У нас так заведено: помогать один другому. Говорят: баптисты! А кто как следует вник в нашу веру, в нашу жизнь? Только болтают.

Татьяна насторожилась, думая, что Александра Тимофеевна начнет расхваливать религию. Но та махнула рукой, мол, что зря толковать. И добавила:

— Хочет человек молиться — пусть, кому какое дело. Религия не запрещена. В законе о том сказано.

Татьяна согласилась, что это так.

— Так ты, Ефимовна, к сестре Полине собиралась? — повернула разговор Александра Тимофеевна.

— Схожу сегодня.

— Я ей соберу кое-чего. — И тут же распорядилась: — Маня, приготовь сестре Полине подарок. Там все, в шкафу. Заверни поаккуратней.

Для Татьяны ее слова означали: надумала, то и пойдн сейчас, зачем время тянуть. Она собралась, взяла сверток, приготовленный Маней. Александра Тимофеевна смахнула с ее пальто прилипшую где-то нитку и напутственно попросила:

— Посмотри на нее, Ефимовна, хорошенько, на Полюшку. Не доверяю я врачам этим, как бы хуже чего не сделали. Сама думала навестить, да где мне!.. Что говорит послушай. Расскажешь мне подробно. Она у нас была святая душа, столь уж благолепна — сказать трудно. А с братом Николаем, с супругом ее, ты, Ефимовна, не особенно распространяйся. Не нравятся мне некоторые его разговоры: пустомыслие находит!.. Расскажешь после о сестре Полине. Иди, иди, Ефимовна, в час добрый!

Следовало разобраться в событиях последних дней, разложить все по местам, взглянуть со стороны, чтобы оценить общим словом: «хорошо» или «плохо». Будущее так не разглядишь, его могут изменить десятки совершенно непредвиденных обстоятельств. А прошлое — все на виду. Из него не изыметь ничего и ничего в него не добавишь. Оно как завершенное здание, сданное в эксплуатацию и обласканное светлыми улыбками людей, а может, как могильная плита, вызывающая только скорбные воспоминания.

Вторые сутки Татьяну окружало настойчивое внимание Александры Тимофеевны, Мани и Виктора. Вторые сутки она носила на себе их взгляды, дыхание, тихие голоса. Постепенно она переходила в собственность этих людей, их дома, хотя по-прежнему считала себя независимой, как и раньше, в доме и обществе Дарьи Ивановны. Главное — независимой, это был маяк, на который Татьяна всегда держала направление.

Начиная разбор событий последних дней, Татьяна неизменно воскрешала в памяти вечер, проведенный с

Василием. Этот вечер послужил стартовой полосой для стремительного рывка во что-то новое. Они не виделись недели три после поездки и довольно странного объяснения. Похоже было, что Василий умышленно избегал встреч с Татьяной, при желании он мог найти время для этого. И избегая, будил и будил в ней подробности встречи. Конечно, он хотел ей сказать тогда многое, определенно хорошее. Он специально подъехал на машине, чтобы не стоять на холоде, не быть похожими на молодых влюбленных, которые не имеют пристанища для встреч. Татьяна вела себя в тот вечер крайне раздраженно. Она нагрубила ему, обидела. Можно было все сказать по-иному, без зла, без выкриков. Ей хотелось извиниться перед Василием, попросить у него прощения. Но он не показывался. И когда они встретились, Татьяна постаралась быть более внимательной, чем прошлый раз. Они долго бродили по улицам, говорили о погоде и других мало что значащих для них вещах, старательно избегая воспоминаний о прежней прогулке. Василий пригласил Татьяну зайти в кафе. Она согласилась. Было пиво, играл джаз, время шло незаметно. Они сидели как старые знакомые, как друзья детства, не опасаясь, что дружба может перейти в любовь. Оттого им обоим было легко и весело. Выйдя из кафе, они еще долго бродили, то молча, то смеясь над чем-то, что в другое время и не вызвало бы смеха. Шел снег, подмигивали огни светофоров на перекрестках.

Когда Татьяна вернулась домой, был второй час ночи. Дарья Ивановна не спала. Она посмотрела на Татьяну с презрением. Татьяна отлично поняла этот уничтожающий взгляд. Люди не бывают добродетельными бессменно, изо дня в день, из года в год; кто делает добро, тот имеет право когда-то получить обратно часть добра. Татьяна, по мнению Дарьи Ивановны, платила только злом, черной неблагодарностью.

— Я была...— заговорила Татьяна, совсем не собираясь оправдываться, но чтобы нарушить молчание.

— Вижу,— перебила ее Дарья Ивановна. И добавила: — Ищи себе квартиру. Хватит.

— Хорошо, уйду,— ответила Татьяна. Она давно знала, что это может случиться.

— Вот и уходи.

Куда она могла уйти? Только к Дугину. На время.

пока подыщет что-то более подходящее. Она не обиделась на Дарью Ивановну, наоборот, в какой-то мере обрадовалась этой неожиданной развязке: как сразу упростится жизнь, когда она станет жить одна. Она может в любое время запереть комнату и пойти куда вздумается, вернуться когда угодно, сходить в кино — ведь за год она видела только два кинофильма! — почистить книгу. Вообще побыть одна, совсем не думая, что кому-то это, быть может, не нравится. Дугин одобрил ее решение, а Александра Тимофеевна любезно предложила комнату — все равно пустует! — совершенно отдельную. На следующий день она ушла.

— К баптистам подаешься! — язвительно проводила ее Дарья Ивановна.

— А что вам баптисты? — огрызнулась Татьяна. — Такие же люди. Не воруют, не убивают, лучше некоторых других! — Не потому вступилась в защиту, что рядом стоял Виктор, — он пришел помочь Татьяне унести вещи. Религия у них особая, так Татьяне до религии нет никакого дела. Силой верить в бога ее никто не заставит.

Она так и не оценила все прошедшее — к добру или к худу. Но пока о хude нельзя было говорить.

— К Кондовой вам? — встретила ее в проходной больницы та сама сестра, которая дежурила, когда Татьяна приходила к Полине первый раз. — Подождите минуточку, нет свободного халата.

Люди входили и выходили. Человек десять, видать, дожидались возвращения посуды — сидели с пустыми сумками и сетками.

— Поправляется ваша больная? — спросила сестра. Татьяна улыбнулась, кивнула головой.

— К вашей больной мужчина ходит один. Такой высокий и рыжий.

— Муж ее.

— Этой больной? — удивленно спросила сестра.

— Да.

— Вот бы не подумала! Кондова совсем молодая против него. И... приятней куда!

Да, Полина выглядела хорошо. Она поправилась, побелела, словно все это время отдыхала на курорте и в больнице оказалась благодаря простым формальностям: проверить давление крови, быть может, или что-то в этом

роде. Потому пришлось снять свою одежду и временно нарядиться в больничный халат.

— Скоро домой! — радостно проговорила она, встретив Татьяну. — Наверно, Варвара Петровна заждалась!

— Она на курсах, у ивановских ткачих. — К маю вернется, не раньше.

— Вот как! — удивленно сказала Полина. Потом спросила, как работает Татьяна, поинтересовалась здоровьем Лены. Говорила Полина нормально, только изредка задумывалась, словно слишком долго лежала в больнице и кое-что уже успела позабыть.

— Мы ведь с Николаем уехать собираемся! — сказала она, придвигаясь к Татьяне. — Он уже и работу нашел, квартиру приготовил. Знаешь, у него золотые руки, любую мебель делает.

— Он у тебя хороший, — поддакнула Татьяна.

— Надя на следующую осень в школу пойдет. — Оглянувшись, склонила голову и шепотом спросила: — Таня, правда это, что люди в небо летали? Гагарин и Титов. Ты слышала такое?

— Летали, Поля, — подтвердила Татьяна, улыбаясь в душе.

— Вот чудеса!

— А ты что, не верила?

— У нас в палате одна лежит, — торопливо зашептала Полина, — Верой Ивановной зовут. Все знает. Особенно, как произошел человек, отчего день и ночь бывают, про древних животных. Послушала бы ты ее, до чего умная! Она и подсказала насчет работы моему Николаю. Муж у нее где-то начальником. Я тоже работать пойду. Будешь к нам в гости приезжать.

Татьяна отдала ей сверток, переданный Александрой Тимофеевной. Домашнее печенье, конфеты, варенье, мясо; все это Полина осмотрела и вернула обратно, сказала, что кормят хорошо. Татьяна почувствовала, что говорить не о чем, и стала собираться домой. Впервые ей стало неприятно слышать о здоровье и будущем отъезде Полины, о Дугине и совершенно неизвестной Вере Ивановне, и она в душе пожалела, что пришла в больницу. Здесь положено видеть больных, страждущих, обремененных страданиями, здоровый же человек производит обратное впечатление, словно он специально подрядился унижать больных своим бодрым видом.

Она распрощалась и вышла поспешнее, чем следовало, будто у нее были дома неотложные дела. Не заметила, как прошла автобусную остановку, и решила не возвращаться. Улица вывела ее к парку культуры. Татьяна сразу узнала это место, где сидела осенью, разглядывая прохожих. Но теперь была зима, и в парк вела не широкая, однако хорошо протоптанная тропа. Как и осенью, под массивную арку входа шли взрослые и дети, другие возвращались обратно. На щите виднелся кусок знакомой афиши: «Надежда Колоскова — русские народные песни. Виктор Лесняк — отрывки из оперетт...» Неожиданно она увидела в числе выходящих из парка Виктора. Он шел под руку с девушкой и смутился, даже покраснел, заметив Татьяну. Виктор что-то сказал девушке, оставил ее, подошел к Татьяне.

— Вы, пожалуйста, не говорите дома, что видели меня,— попросил Виктор.— Мать по делу послала, а я встретил Любу.

— Сегодня выходной, можно погулять,— ободрила его Татьяна.— Не торопись возвращаться, я тебя не видела.

— Спасибо, Татьяна Ефимовна.

Постояла еще минуты две, наблюдая, как Виктор бережно взял под руку свою подругу, и пошла к автобусной остановке. Она не успела рассмотреть девушку, но, кажется, у нее были красивые темные глаза и капризно вздернутый носик. Может, и наоборот, светлые глаза и носик совсем не вздернутый.

2

Планы Александра Тимофеевна имела дальние. Она давно заметила Татьяну, знала о ней все, что следует знать, чтобы при нужде помочь, при случае подсказать, приблизить к себе, сделать активной баптисткой. Люди без характера и в религии приносят мало пользы. «Не своди с нее глаз, сестра,— несколько раз напутствовал Александру Тимофеевну пресвитер.— Женщина мечется, сама к нам идет». Но делать все приходилось крайне осторожно. Первое время хорошо помогала Полина, ей удалось позвать Татьяну на моление. Александра Тимофеевна весь вечер наблюдала за гостьей, следила за каждым движением. И осталась довольна: Татьяна ушла

взволнованная, взбудораженная виденным. А ведь запомнится лишь то, что не похоже на обычное. Александра Тимофеевна не тешила себя мыслью, что Татьяна после первого посещения станет верующей. Наоборот, это на какое-то время оттолкнет ее от веры еще дальше. Она будет думать о баптистах кто знает что. Вот и хорошо, пусть думает, это очень важно: заставить думать! Сначала о виденном, потом о религии, постепенно и о боге.

— Не пересоли, сестра,— как-то сказал пресвитер.

— Понимаю, не первую приобщаю ко Христу.

Болезнь Нади тогда несколько спутала карты, но Александра Тимофеевна и здесь усмотрела положительное. Пресвитер не вступил в спор, не повысил голоса, смиренно ушел — это должно было заинтересовать Татьяну: почему у баптистов такая вера. Татьяна так и не узнала, что в тот вечер Александра Тимофеевна тоже была у Полины, вышла вместе с Дугиным, осталась в сених, слышала все, что произошло в доме.

Дугин включился в «приобщение» Татьяны тоже по воле Александры Тимофеевны. Ему довольно быстро удалось войти в доверие, тем самым Александра Тимофеевна оказалась в курсе всех событий, окружавших Татьяну. Она велела съездить Дугину в Каменку, узнать о суде; ей стоило труда разыскать мать Василия, рассказать о связях ее сына с «мужней бабой», дать адрес Дарьи Ивановны. Надо было сломить гордыню Татьяны, и Александре Тимофеевне это удалось. Татьяна была и оставалась главной ее заботой.

Теперь все выглядело проще. Татьяна оказалась в ее доме — изгнанная Дарьей Ивановной, потерявшая подруг на работе. Почти одинокая. Но еще более опасная своим одиночеством.

— Не пересоли, сестра,— снова напомнил пресвитер, когда Александра Тимофеевна с радостью рассказала ему: «Сидит в моем доме, голубка, бери голыми руками».

Как было бы хорошо теперь снова свести Татьяну с Полиной! Старые соседки, почти подруги, есть о чем поговорить. Но рассказ Татьяны расстроил Александру Тимофеевну. Она сумела не выдать особой заинтересованности и, расспрашивая, комментировала ответы чрезвычайно осторожно.

— Здорова, значит. По времени положено выздороветь, коли дело на поправку наметилось. Брат Николай частенько навещает ее?

— Не знаю.

— Не спрашивала?

— Она говорила: ходит.

— Надо ходить. Я ведь брата Николая почти силой первый раз отправила. Не к чужому человеку, к своему: надо ходить. Так что со школой-то говоришь, Ефимовна?

— Насчет Нади.

— Господи! Куда они ее отдадут, девочка совсем неразвитая.

— Она уже несколько букв знает,— возразила Татьяна, вспомнив, как недавно Надя еще неумело вывела на листке: «Мама».

— Знает, знает,— подтвердила Александра Тимофеевна.— Витя научил. Он с ней любит заниматься. И Маня. Маня у меня очень добрая.

— Да, она хорошая. Ласковая,— согласилась Татьяна.

— Не поняла я,— словно вспомнила Александра Тимофеевна,— что ты, Ефимовна, про отъезд сказала? Какую-то новую штуку придумал брат Николай!

— Уехать будто бы собираются,

— И куда же намерены?

— Она не сказала.

— Интересно! Вдвоем!

— Да.

— Что же, каждый своим умом мыслит! Только вряд ли соберутся. Уехать не вопрос, да кто ждет, куда голову приклонить на чужом месте. Хороших людей не встретишь на каждом углу.

— Так он и работу уже подыскал,— бездумно выдавала Татьяна чужую тайну.— И квартиру присмотрел.

— В нашем городе или на стороне?

— Не знаю.

— Поди на заводе где. Не думает, совсем не думает человек о себе! Сорвется с места, помается, снова придет, просить будет: помогите. Помню, приехал сюда: разут, раздет. Всем миром его до ума доводили.

— Из тюрьмы не запасешься одеждой.

Александра Тимофеевна посмотрела с удивлением:

— Что ли в тюрьме он был? — спросила почти шепотом. — Не зна-ала! Поди ка ты, а! Ты-то откуда, Ефимовна, прослышала?

Татьяна поняла, что ей совсем не следовало говорить о прошлом Дугина, но, в свою очередь, тоже удивилась: неужели Александра Тимофеевна не знает, что Николай Михайлович был в плену, отбывал срок в лагере. Или притворяется, скрывает его? И сослалась на Дарью Ивановну, будто бы она как-то говорила, ведь Дарья Ивановна давно живет здесь, всех наперечет помнит.

— Значит, на комбинат решает брат Николай направиться, — она с первой минуты, как Татьяна переступила порог дома, умышленно называла всех: «брат Николай» или «сестра Ольга», чтобы приучить Татьяну к непривычному для нее обращению. — Там, конечно, дадут квартиру на комбинате. Строят все, строят, конца не видно.

— Не знаю.

— А ты расспроси его, Ефимовна. Не то, что по просьбе от меня, а сама. Обо мне не поминай, мы с братом Николаем немножко не в мире.

— Что же так?

— Да по своим делам, — отмахнулась она. — По пустякам, можно сказать.

Вскоре после этого разговора пришел Виктор. Рассказывая ему о здоровье «сестры Полины», Александра Тимофеевна снова заставила Татьяну повторить почти все, главным образом о предполагаемом отъезде Дугина. При этом она подсказала возможные места, где Дугин сможет найти и работу и квартиру, и, кажется, обиделась, что Татьяна ничего не добавила к ранее сказанному.

С переходом на новую квартиру к Татьяне снова вернулась радость. Началось с того, что начальник отдела кадров при встрече в цехе поздоровался, спросил, как идут дела, и пообещал с возвращением из отпуска Дударевой поставить Татьяну к самой лучшей ткачихе. Затем ей пришло письмо от Варвары Петровны. Лично. Его принесла секретарь директора и подала у всех на виду. Письмо вызвало интерес даже у Насти Свистелкиной, хотя Настя по-прежнему все время старалась не замечать Татьяну.

— От Варвары Петровны? — спросила Настя, не скрывая удивления.

— Да. Вот адрес обратный: Иваново. Смотри.

— Лично тебе?

— Читай: «Татьяне Высотиной. Лично». — Гордая радость шептала на ухо: дай ей конверт в руки, пусть подержит; сейчас она пойдет к Клавдии, расскажет.

Разве можно дотерпеть, дожидаться конца смены с таким письмом в кармане — сил не хватит. Татьяна отошла в сторону, разорвала конверт. «Не ждала ты, видать, Татьяна, свет Ефимовна, от меня письма, а я о тебе не забыла. Давно собиралась черкнуть пару строк. Как ты там? Ругаешься, поди, с Клавдией, с Настей. Не надо. Они хорошие девчата. Опять я часто о тебе думаю, баба. Сюда бы тебя, в Иваново! Вот где люди умеют работать! А люди-то какие — золотые! Третьего дня приезжала к нам Валентина Ивановна Гаганова. Готовились как к празднику. А она — такая же, как и мы, простая женщина. Послушала бы ты ее — одно удовольствие...»

— В гости приглашает?

Татьяна обернулась. Насте определенно хотелось узнать, что пишет Татьяне Варвара Петровна.

— Приглашает!

— Не ври!

— Послушай. «Очень часто я о тебе думаю... Сюда бы тебя, в Иваново!» Ясно? С Гагановой встречалась!

— Неужели?

— Вот, могу прочесть.

Вполовину меньше показались ей все прошлые обиды, когда Татьяна дочитала письмо и принялась за работу. Не только не забыла ее Варвара Петровна, а велела держаться, «не вешать носа». Все наладится, все войдет в колею. Она чувствовала на себе завистливый взгляд ученицы Агнессы и радовалась, что сумела ей отомстить. Ей хотелось прочесть письмо вслух — всем! — пусть не воображают, что Татьяна хуже их.

3

— Вам будет неплохо у нас, Татьяна Ефимовна, — сказал Виктор, захлопывая дверку машины. — Мать у меня добрая.

— Очень добрая.

— Правда, религиозная, но это ее дело.

— Если ей хочется верить в бога, пусть верит.

— Вот именно.

— А ты, Виктор, тоже веришь?

— Да,— ответил он слишком просто, будто его спрашивали о чем-то далеко не существенном, вроде: «Ты любишь зиму?» Так просто отвечают люди, глубоко убежденные в чем-либо.

— И давно веришь?

Он посмотрел на нее с удивлением:

— Всегда.

— Ты совсем не похож на верующего! — рассмеялась Татьяна.— Такой, как все.

— А каким я должен быть? — он нажал на стартер, стал прогревать мотор.

— Не знаю. Я всегда думала, что верующие — старики и старухи. Им это как-то больше подходит.

Машина плавно тронулась. Татьяна обернулась к стеклу, помахала Мане рукой. Маня всегда выходила за ворота, когда Виктор подъезжал на «Волге», провожала его. В ее глазах каждый раз светилась радость за брата, умеющего управлять такой красивой машиной. Директор автобазы никогда не отказывал в «Волге», если Виктору надо было отвезти кого-то, положим, на вокзал, либо еще куда. Виктор считался одним из лучших водителей: не пил, не курил, за два года ни разу не попадал в аварии. Благосклонное отношение директора автобазы к своему шоферу было для Татьяны чудесной находкой; она могла почти каждое воскресенье навещать Лену.

— На работе знают, что вы верующий?

— Знают.

— И ничего.

— А что могут сделать? Я не нарушаю порядка.

— Не в том дело,— допытывалась Татьяна.— Не смеются?

— Бывает,— признался он.— Раньше смеялись. Теперь редко. У нас там несколько человек верующих. И шофера есть. Иногда директор рассердится, сам говорит: «Лучше бы вы баптистами стали, пить бы хоть бросили, материться перестали». Не о нас это, а о других. Выпивают многие, смотришь — и авария.

— Так ваш директор сам советует таким идти в баптисты? — улыбнулась Татьяна.

— А что — правильно советует. Из наших никто ему не досаждаст.

— Дело не только в том, что не досаждают. В самой вере дело.

— Вера у нас хорошая,— возразил Виктор.— Мы никому не мешаем. Наоборот, других от плохого отговариваем.

Ей не хотелось вступать в спор. Собственно, что она могла возразить Виктору? Полина сошла с ума от молений? Случается такое и по другим причинам. В Каменке один мужик «рехнулся» ни с того, ни с сего: работал, жил нормально. И вдруг пошел куралесить. Вообразил себя генералом! Командует, кричит... К врачам не ходят баптисты? Их дело. Приспичит — так пойдут! Может, и правда, что одни только разговоры: баптисты, баптисты! Александра Тимофеевна, видать, не зря сказала: «Кто как следует вник в нашу веру, в нашу жизнь?» Не режут друг друга, не убивают.

— Слушай, Виктор, есть бог или нет? — ей было приятно сидеть на мягком диване «Волги», разговаривать об отвлеченных вещах, не думать о зиме, о работе. Еще полчаса — и она увидит дочь.

— Есть.— Он сказал это с той же убежденностью и простотой, которую следует безоговорочно принимать за веру.

— Откуда ты знаешь? Кто видел бога?

— Мама видела. И сестра Прасковья, которая прошлый год умерла. Еще сестра Пелагея.

— Своими глазами? — удивленно посмотрела на него Татьяна.

— Да. Не каждому дано, но некоторые уподобляются.

— Интересно!

— Сестра Пелагея еще при жизни на том свете побывала. Такое рассказывала — одно удивление!

— Ты что, на самом деле? — Татьяна рассмеялась, думая, что Виктор шутит.— Как это она побывала на том свете? — Ей не следовало смеяться, Виктор рассказывал сказку не для детей. В его голосе было слишком много доверия, и Татьяна неосторожно спугнула это доверие, как птицу, прилетевшую на подоконник раскрытого окна. Маленьких за это ругают, больших наказывают молчанием, давая возможность обдумать поступок.— Ты рассердился? — смущенно спросила Татьяна, видя по его лицу, что он не намерен отвечать.— Прости, Витя! Я первый

раз слышу, чтобы живой человек побывал на том свете. Расскажи, пожалуйста!

Наказание следовало отбыть, перенести, чтобы научиться ценить доверие. Виктор отмолчался удивительно вежливо. Он остановил машину, вышел, поднял капот, что-то осмотрел в моторе, давая возможность Татьяне отвлечься, забыть о разговоре. И когда сел, направил разговор в другое русло:

— Я ведь тоже Лене подарок везу! Хорошая она у вас девочка. Ей бы сейчас не в больнице лежать, а на санках, вон с той горы! — Он нашел большое место Татьяны, как опытный хирург. — Заберите ее домой, Татьяна Ефимовна.

— Нельзя, Витя.

Они молчали почти до самой Ивановки. Машина разогнала стаю гусей среди села, посигналила возу с сеном и нырнула в снежный проход к дремлющим зданиям санатория.

Татьяна каждый раз испытывала одно и то же, когда поднималась на крыльцо, входила в коридор — нетерпение скорее увидеть дочь. Это нетерпение на нескольких метрах крыльца и коридора достигало предела, и сердце стучало так, что врач мог его прослушать без стетоскопа. Похоже было, что она могла не застать Лену, если промедлит лишних десять-пятнадцать секунд; ее куда-то уведут, либо запретят навестить. И постоянно останавливалась, переводила дух, прежде чем зайти к Елизавете Прокофьевне, поздороваться, увидеть улыбку в глазах врача.

— Сегодня она сама выйдет к вам, — сказала Елизавета Прокофьевна, отодвигая в сторону книгу. В ее кабинете было удивительно уютно, хотя кроме дивана и узкого коврика на полу ничего лишнего не находилось. Да стол — письменный, большой, со множеством ящиков, с медными кольцами, сверкавшими на старом полированном дереве, как серьги в ушах негров из далекой Африки. — Сейчас позову, — поднялась Елизавета Прокофьевна. Но не утерпела рассказать, что гипс снят, вытяжка прошла хорошо, надо сделать перерыв, отдых для организма. И что Лена поправилась на семьсот граммов. Не вообще прибавился ее вес, а именно поправилась. Ей было приятно рассказывать матери об улучшении здоровья ребенка, и слезы на глазах Татьяны Елизавета

Прокофьевна приняла как положенную плату за заботу.

— Лена! — сказала она в открытую дверь палаты. — К тебе пришли.

Лена выскочила очень поспешно, излучая великую радость. И вдруг остановилась в нерешительности, увидев мать, словно ждала кого-то другого. Это было секундное замешательство, оно тут же прошло, и радость не успела померкнуть, но от взгляда Елизаветы Прокофьевны не ускользнуло.

— Извините, — сказала врач, — я пойду. Разговаривайте.

— Мне уже лучше! — сразу же доложила Лена. — Видишь? — протянула ножку вперед.

— Вижу.

— И не болит.

— Скоро совсем поправишься.

— А бабушка приехала?

Пришлось на ходу выдумать, что Дарья Ивановна занята делами, некогда ей. Как-нибудь в другой раз придет.

— Тетя Фиса к тебе ходит?

— Нет. Не нужна она.

— Почему?

— Не хочу ее.

Все привезенное было выложено тут же, во время разговора. Лена разглядывала обертки на конфетах, зная, говоря: «шоколадная», «с начинкой варенье-вой». Большая шоколадная плитка — подарок Виктора, — лежала отдельно, на виду, старшей среди всего привезенного.

Как всегда разговор быстро подошел к концу. Не рассказывать же ей о работе, о больной соседке, подумала Татьяна. И спросила:

— Хочешь домой?

— Нельзя мне, — с рассудительностью взрослого, ответила Лена. — Рано еще. Весной можно.

— Какая ты у меня умная! — расчувствовалась Татьяна. — Весной я тебя увезу. Будем гулять с тобой. Будем?

— Да.

— В кино ходить!

— И в парк! Пойдешь со мной, мам?

— Обязательно.

— А на реку поедem?

— На какую?

— Забыла уже? Дядя Вася обещал. Ты сказала: после поедем.

— А-а-а! Помню. Поедем.

Подошла Елизавета Прокофьевна. Постояла, улыбаясь спросила:

— Соскучилась о маме, Леночка? К тебе часто ездят. А у других девочек мамы далеко живут. Поездом ехать надо, потом машиной...

Она не договорила. Татьяна обернулась и тоже умолкла. В коридоре стоял Василий. Только Лена не растерялась, наоборот, обрадовалась его приходу. Она соскочила с колен матери, бросилась к нему, забыв обо всем.

Следовало как-то разрядить этот неожиданный заряд внимания к Лене. Виктор поднялся, сказал, что выйдет посмотреть машину. Елизавета Прокофьевна проговорила Василию «здравствуйте» и попросила Татьяну зайти в кабинет.

— Я должна вам сказать,— заговорила она, как только прикрыла за собою дверь,— этот «дядя Вася» ездит к вашей дочери почти каждое воскресенье. Не волнуйтесь, пожалуйста. У девочки чисто детская привязанность, она знает, что дядя Вася не отец. Тем не менее Лена ждет его с большим желанием.

— Я это знаю,— кивнула Татьяна.

— Вот видите! С моей стороны не совсем хорошо поощрять подобные посещения, но поймите: мы лечим ребенка.

— Я вас понимаю,— сказала Татьяна.

Но чем больше старалась убедить ее Елизавета Прокофьевна, тем больше росло какое-то непонятное, но определенно нехорошее чувство к такому пособничеству. Может, эта была своеобразная вслышка ревности,— к Василию Лена бросилась куда радостнее, чем к матери, а Татьяне не хотелось, чтобы Лена относилась к Василию так тепло.

— Через неделю мы снова наложим шины,— сказала Елизавета Прокофьевна.

— Так быстро?

— Вы хотите сказать, что слишком мал срок отдыха? Что поделаешь, лечения нельзя прерывать.

— Это... очень больно?

— Я бы не сказала, что больно. Скорее утомительно, тяжело. Ребенку приходится много лежать, причем на

спине. Ходить разрешаем мало. Но дети сравнительно легче переносят страдания, чем взрослые.— Татьяна сразу подчеркнула слово «страдания».— Ваша Лена удивительно терпелива. Она верит, что будет ходить как все, совершенно свободно.

Они разговаривали с врачом до тех пор, пока не вошла Лена.

— Уехал дядя Вася,— сказала она.— Пойдем.

Нетерпение, с каким Татьяна шла к дочери, прошло. Перед отъездом человек живет не окружающим, а будущим. Наказывая беречься, ходить поменьше, пока еще ножка болит, слушаться врачей и обязательно хорошо кушать! — последние дни у Лены пропал аппетит, сказала Елизавета Прокофьевна,— Татьяна уже думала о дороге, о Мане, о своей комнатухе в доме Александры Тимофеевны. В этом чистом и светлом коридоре она впервые обратила внимание, что пальто ее выглядит слишком неважно: концы рукавов обмахрились, ворс местами вытерт; из темно-коричневого оно стало бурым. До основания был выношен и платок. Только резиновые сапоги Александры Тимофеевны сверкали весело, даже вызывая весело, подчеркивая контраст и, определенно, свое превосходство над пальто и платком. Татьяне в голову не приходило, что следует откладывать часть денег из каждой получки, чтобы собрать на пальто, на платок; сразу купить эти вещи она не могла, зарплаты хватало лишь на питание да на мелкие расходы, тем более когда она перешла в ученицы — тут не до покупок. И вдруг совсем неожиданный приезд Василия. Все это тотчас же сказалось на настроении. Вспомнилось, как два дня назад Александра Тимофеевна принесла из магазина отрез чудесной шерстяной материи на платье. Сказала: «Сестре Анисье хочу подарочек сделать». А кто ей сестра Анисья? Никто. Просто живет по-соседски, Татьяна узнала от Мани.

Татьяна поспешно простилась с дочерью.

С гор дул резкий ветер, солнце затягивала серая стылая муть. Пока Татьяна прощалась с Елизаветой Прокофьевной — та вышла проводить на крыльцо,— шла к машине и садилась, ее охватил озноб, словно на вытертых местах пальто не удерживало тепло, и ветер свободно проникал сквозь ткань.

Ей хотелось лишь одного: скорее домой, в свою комнатуху. Стать спиной к стенке русской печи, выходяв-

шей в Татьянину одиночку. И греться — закинув руки на плечи, ни о чем не думая, вбирать и вбирать в тело живое тепло от кирпичей. Но Виктору зачем-то потребовалось остановить машину у сельмага.

— На минутку, Татьяна Ефимовна, — сказал он. — Помогите мне выбрать туфли для Мани.

Глаза разбежались, когда Татьяна остановилась перед прилавком: черные; белые, красные, коричневые — сотни туфель смотрели с полок, улыбаясь глянцем кожи. Обувь была во всех магазинах, много обуви, но Татьяна всегда проходила мимо, равнодушно, бросая на нее лишь беглый взгляд, так смотрят люди на манекены в витринах.

— Для зимы, — попросил Виктор продавщицу. — Тридцать пятый размер. Вон те, пожалуйста! — показал на отделанные по верху светлым мехом.

— Померьте, — протянула продавщица Татьяне полуботинки, вероятно, полагая, что для нее хлопочет Виктор.

— Нет, нет, — отшатнулась она от прилавка.

— Вы хоть посмотрите, — смущенно попросил Виктор. — Я в них совсем не разбираюсь.

Полуботинки он купил — они были слишком хороши, чтобы не соблазнить любого покупателя отделкой, мягкой кожей, всем своим праздничным видом. Татьяна уже направилась к двери, как Виктор опять окликнул ее. Он держал в руках чудную, голубого цвета шерстяную кофточку.

— Только сорок восьмой размер, — говорила продавщица, когда Татьяна подошла. — Но вы посмотрите на шерсть, на качество. Импортная! Последняя осталась. Берите, молодой человек, это лучший подарок для женщины!

Цена ужаснула Татьяну: больше половины ее месячного заработка. Но вещь стоила денег. Рука сама протянулась пощупать, поддержать кофту. И когда Виктор сказал, что не знает как быть, померить бы, Татьяна сняла пальто, помогла убедиться, что продавщица права, кофта в самом деле отличный подарок. Будь у нее свободные деньги, она с удовольствием купила бы такую вещь для себя.

Ветер стал злее, зашвырялся колючим снегом, когда они вышли из магазина. Виктор включил отопление. Езда в машине всегда действовала на Татьяну успокаивающе, это переросло как бы в привычку, но сегодня она не на-

ходила покоя. Покой, казалось ей, наступит не скоро. Может, когда спадут морозы и не понадобится пальто, или когда рядом будет Лена. Три человека семьи, и все в разных местах! — тяжело. Всем тяжело: Григорию, Татьяне, Лене — каждому по-своему.

— Ты уже служил в армии, Виктор? — спросила она, думая о Григории, когда тот вернулся в Каменку в армейской форме.

— Нет. Отсрочка у меня. Желтухой болел прошлый год, не взяли.

— А теперь как? — ей было безразлично, что он отвечает, но сидеть молча не хотелось.

— Не знаю. Могут взять.

Татьяна помолчала и спросила с внезапным интересом:

— Вот ты, Витя, верующий. По вашей вере нельзя убивать?

— Да, — ответил он.

— Николай Михайлович говорил: убивать нельзя, воровать нельзя, что-то еще. А в армии, например? Возьмут тебя, и вдруг — не война, а... на границу поставят, к примеру. И идет шпион. Его тоже нельзя убивать?

— Нельзя.

— Как же так? Он тебя убьет!

— Возьмет грех на душу.

— Гре-е-ех! — протянула Татьяна. — Тебя-то не будет в живых! А шпион перейдет границу и таких дел натворит! Тогда и в армию нечего идти. Какой же из тебя солдат.

— Если бы армия была добровольно, не пошел бы.

— Кто же тогда б служил в ней? Убийцы? Для них в тюрьме место, не в армии. Отец твой служил?

— Да. Всю войну.

— Ну вот!

— Он был поваром.

— Все равно солдат.

— Он не убивал! — возразил Виктор.

— Но он же служил, кормил тех, кто воевал, убивал врагов! — Ей казалось, что она приперла Виктора к стене своим доводом. Татьяна была слишком большим новичком в религии, чтобы спорить даже с Виктором. Ему же, видеть, не хотелось затевать долгий спор на такую тему, Виктор мог довольно убедительно рассказывать кое-что

об этой заповеди, одной из главных в учении баптистов. Он задал ей контрвопрос:

— Разве хорошо, Татьяна Ефимовна, что бывают войны?

— Плохо,— немедленно ответила она.

— А если бы все люди стали верующими, они убивали бы друг друга?

— Наверно, нет.

— Значит, не было бы войн. К этому ведет и советская власть. Зачем убивать, когда все можно решать спокойно. Почему же обвиняют религию, призывающую: не убий? Разве мы против мира? Разве мы против, чтобы люди были по-настоящему братьями? Религия давно борется за это!

Что-то было слишком скользкое в его словах, хотя внешне все выглядело довольно правильно. Хорошо, что Виктор не стал говорить дальше, давая время осмыслить сказанное. Но из этой попытки у Татьяны ничего не получилось. Раньше, еще при царях, почти все были верующими, а воевали без конца. Разница в вере? Другая она у баптистов, возможно, не все ее как следует понимают. И говорят о ней так, как начальник отдела кадров на лекции: вообще, без фактов. Татьяна хотела вспомнить его мудреные слова, но кроме «перерыва постепенности» — это как-то удивительно запало в память, как монета сквозь дырявый карман в подкладку пальто, — другого ничего не пришло в голову. Да к чему все? — подумала она. Пусть веруют, мне-то какое дело до них! Спасительная защитная ширмочка, которой Татьяна пользовалась, когда хотелось отгородиться от чего-либо, пока что задерживалась легко.

Они вернулись домой около семи часов вечера и застали Александру Тимофеевну и Маню почти на пороге.

— Мы идем в молитвенный дом,— сказала Александра Тимофеевна.— Командуй тут, Ефимовна.

Татьяна ждала, что ей скажут: «Может, и ты пойдешь с нами?» Она ждала этого с первого дня житья у Александры Тимофеевны, но та ее ни разу не пригласила. И опять сказала: «Командуй тут, Ефимовна», — словно Татьяна была слишком молода, либо инакомыслящая, чтобы быть приобщенной к таинствам веры.

— Может...— у нее чуть не вырвалось: «Может, я пойду с вами», но она сумела сдержаться и сказать другое: — Может, ужин приготовить? Все равно делать нечего.

Александра Тимофеевна отлично поняла, что хотела сказать Татьяна, отчего запнулась на слове, перевела разговор на ужин. И ответила так же, повторяя запинку Татьяны:

— Пожалуй... не надо. Все успеется.

Взрослые напоминают во многом детей. Теперь Татьяна знала, почему еще по осени баптисты перестали собираться у Полины. Они построили молитвенный дом, совершенно отдельный, на соседней улице, почти на самой окраине города. Похож ли он на церковь, так же темен, как дом Полины — это вызывало интерес. И чем больше Александра Тимофеевна «придерживала» ее от встречи с верой, с «братьями» и «сестрами», с самим молитвенным домом, тем чаще появлялось желание приблизиться к запретному. Это вызывалось так же и определенными обязательствами по отношению к Александре Тимофеевне — платить добром за добро, как в свое время существовали негласные обязательства Татьяны и Дугина.

Начало к «приобщению» было положено в конце этой же недели. Александра Тимофеевна видела, что за полмесяца Татьяна достаточно свыклась с новой квартирой, с хозяевами, в религии слаба, можно начинать с нею «занятия». Но с осторожностью: никогда нельзя доверять необъезженной лошади, какой бы она податливой ни казалась со стороны.

Она пришла усталая в тот вечер, велела Мане готовить ужин и озабоченно сказала:

— Полы еще надо мыть в молитвенном доме, очередь сегодня моя. Не поможешь ли, Ефимовна?

— Пойдемте,— без промедления согласилась Татьяна.

— Уж извини меня,— начала было Александра Тимофеевна. Но Татьяна не дала ей договорить: пол мыть дело не трудное. Готовность Татьяны лишний раз убедила Александру Тимофеевну, что она делает правильно. Не вести квартирантку сразу на собрание, а действовать исподволь: показать ей молитвенный дом, посвятить сколь можно в религию. Помочь надо: пальтишко совсем износилось, еще что-нибудь подарить. Подарок лучше всего напоминает о зависимости.

Молитвенный дом походил на клуб — просторный и светлый. Она остановилась в дверях, увидела два ряда скамеек — слева и справа от прохода, возвышение вперед, вроде сцены, только без кулис и занавеса, фисгармонию в центре этого возвышения, пюпитр — справа от фисгармонии, и слева нечто вроде трибуны. Эта трибуна, пюпитр, фисгармония были покрыты белыми накидками с вышитыми на них цветами и словами из евангелия. На стенах висели написанные на бумаге тексты религиозного содержания. Один из них она прочла сразу же, как только вошла, он особенно бросался в глаза: «Мы славим Христа распятого».

Торжественность этого зала по сравнению с темной и душной комнатой дома Полины произвела на Татьяну большее впечатление, чем полагала Александра Тимофеевна.

— Здесь мы и собираемся, — сказала Александра Тимофеевна.

— А... икон нет? — Татьяна не видела ни одного изображения святых.

— Зачем же иконы? В писании сказано: если веришь, верь в душе. Носи в душе имя божье, не забывай его. Это давние, дикие люди поклонялись всяким фигурам. Сделают из камня и молятся. Потом рисовать стали. А бога не нарисуешь, он свят и незрим.

Это верно, подумала Татьяна.

— В душе — он всегда с тобой, — Александра Тимофеевна старалась говорить просто, как о чем-то само собою разумеющемся, чтобы не насторожить Татьяну, не показаться навязчивой. — Вот такой, к примеру, момент. Решил человек ограбить другого. Может, он и верующий, этот грабитель, в церковь ходит. Пока в церкви, думает о боге, а вышел — и забыл. Носи он имя господне всегда в душе, не пошел бы на дурное.

— Да, — сказала Татьяна.

— Ты еще не знаешь нашей веры, Ефимовна. Чистая она у нас, как вода родниковая. Денно и ночью с божьим именем живем в душе. У церковных как: родился человек, его поп сразу и крестит. После этот человек и не захочет принимать веру, а его уже во младенцах приобщили. А у нас по-другому. Вырос парень или девушка, вошел в разум, в сознание, разобрался во всем и сам выбирает себе путь истинный.

— У вас детей не крестят? — это она слышала впервые.

— Нет, нет. Дите еще глупо, ничего не смыслит.

— Почему же дети бывают на молениях?

— Да ведь как тут ответить: кому дома их не с кем оставить, а которые дети сами просятся. Пение у нас красивое. Да чтобы и по улицам меньше шастали. Улица, Ефимовна, добру не научит.

Тоже возражать не приходилось, Александра Тимофеевна говорила правду. Улица многих портит. Бегают, бегают да и залезут в сад к кому-нибудь. А там, глядишь, еще что. Так оно и до милиции доходит.

— Разговорились мы с тобой, будто время свободное, — спохватилась вдруг Александра Тимофеевна. — Пойдем к сестре Марфе за ведрами.

Татьяна мыла половицу за половицей и краска словно оживала под ее руками. Очень хотелось угодить Александре Тимофеевне. Ей снова пришло на ум, что, видно, в самом деле вера у этих людей особенная, не похожая на другие. По православной вере и курить не возбраняется и водку пить. Там все просто. А здесь — строго. Даже в лагере, как рассказывал Дугин, и то баптисты не жаловались на жизнь.

Пока Александра Тимофеевна управилась на «сцене», Татьяна вымыла зал. Стало еще светлее, просторнее, и цветы на материи, покрывавшей пюпитр, фисгармонию и трибуну, выглядели совсем живыми.

Возвращались молча, каждая думая о своем. После мытья они отнесли ведра обратно к «сестре» Марфе, горбатой старушке, приставленной для наблюдения за молитвенным домом. Она жила во дворе, в пристройке к дому, занимая одна комнатку. У Марфы было тепло, и морозный воздух на дворе казался густым и колючим. Так вот где они теперь собираются, думала Татьяна. Как бы попроситься сходить на их собрание, послушать, посмотреть? Не разрешат, пожалуй. Но ведь Полина говорила, что к ним может приходить всякий, лишь бы не мешал молению.

— Александра Тимофеевна! — Татьяна подошла к ней, почти касаясь плечом. — Можно сходить на собрание?

Та приостановилась, посмотрела на Татьяну:

— Зачем тебе, Ефимовна?

— Послушать.

— Не... знаю. Можно-то можно, запрету нет, к чему только?

В этот вечер Татьяна чувствовала себя почти равной в доме. Пока она ничем не могла отблагодарить Александру Тимофеевну за внимание и заботу, сегодня впервые представился случай помочь хозяйке. После ужина она как бы случайно взяла со столика маленькую книжку в темном переплете — евангелие, словно собиралась переложить ее на постоянное место, на комод, но заинтересовалась, открыла, стала смотреть. Конечно, ничего Татьяна в евангелии понять не могла, но знала, что это зание доставит удовольствие Александре Тимофеевне. Та действительно не замедлила сказать:

— Почитай, Ефимовна, не помешает. Умные люди собирали в книгу слова божьи.— Она подошла с кофтой в руках, с той кофтой, что Виктор купил в Ивановке и которая так понравилась Татьяне.— Маня! — позвала дочь.— Примерь-ка еще разок.

— Велика она мне,— ответила Маня.

— Примерь, посмотрим вместе с Ефимовной.

Кофта Мане была велика, на этом сошлись все единодушно.

— Прикинь на себя, Ефимовна,— попросила Александра Тимофеевна. Она обошла вокруг Татьяны, погладила плечи, одернула кофту на спине. Отошла, посмотрела со стороны, попросила застегнуть на пуговицы, потом расстегнуть. И совсем неожиданно сказала: — Как по заказу! Тебе ее и носить, Ефимовна!

— Что вы!—Татьяну бросило в жар от такой щедрости.— Она же очень дорогая! У меня и денег таких нет.

— Носи, носи, Ефимовна, сочтемся. Знаю я, сколь ты получаешь, все знаю. Хочешь, найдется где и подработать. Все равно вечерами дома сидишь, никуда не отлучаешься. Поговорить могу о тебе.

Месяц на небе казался слишком хрупким и немощным, неспособным на долгую жизнь. Снег под окном искрился от мороза, и редкие шаги прохожих доносились отчетливо и пугающе. В такие ночи Татьяна любила накрываться одеялом с головой, чтобы отгородиться от зимы, от стужи, но в этот вечер она засыпала спокойно, словно добрая Александра Тимофеевна могла уберечь от всех земных зол.

В середине марта случилось невероятное: Дугин ушел из общины. Событие оказалось равным извержению вулкана. Первые толчки вызвали неверие в возможную катастрофу, слишком все казалось прочным. Затем появилась растерянность. Эту растерянность, словно барометр, отмечали многочисленные короткие советы в доме Александры Тимофеевны. Наконец произошел взрыв — скандальный выплеск всего, что можно было придумать о Дугине. Будто бы его подкупили служители православной веры, вернули в церковь, вроде, на должность псаломщика; при этом называлась и цифра — не каких-нибудь тридцать серебряников, а две тысячи рублей в новых деньгах! Пополз слух, что Дугина принудили выйти из общины, припугнули судом за то, что он частно изготавливал на дому мебель. Дело рук милиции, утверждала Александра Тимофеевна. Но скоро сама отказалась от этой версии. Появилось новое: Дугин совсем не Дугин, ни в лагере, ни на войне он не был, а подослан «властью» испытать веру людей, разрушить религию, ввести общину в искушение. Надо молиться, благодарить бога за то, что он помог увидеть, распознать работу сатаны; молитвой искупать грех прошлого общения с неверным «братом».

Татьяна понимала, что все это вздор, чепуха, разговоры вызваны одним: очернить Дугина, не дать истинной правде дойти до «братьев» и «сестер». Она уже больше месяца не видела Николая Михайловича, только от Виктора слышала, что тот оставил дом и куда-то уехал. Она понимала и то, что в известной мере была соучастницей Дугина в отходе от баптистов, что этому поступку определенно содействовали разговоры с Дугиным, свидания с Полиной в больнице. И боялась. Боялась, что Александра Тимофеевна направит зло против нее. Боялась встречи с проповедником, которого так грубо дважды выпроваживала из дому Полины. Боялась, что может остаться без квартиры, без покровительства Виктора и Мани. Особенно теперь, когда она вошла почти в неоплатный долг к Александре Тимофеевне. Эта шерстяная кофточка, сапоги и новое пальто: из зарплаты Татьяне придется рассчитываться с хозяйкой не меньше года. Пальто тоже появилось как бы случайно в ее скудном гардеробе. Как-

то в воскресенье пошла Татьяна с Александрой Тимофеевной на рынок. Завернули по пути в магазин. Хозяйка почти насильно заставила квартирантку обзавестись хорошей вещью: «По тебе сшито! Рассчитаемся, даст бог!..»

И Татьяна старалась не вызывать недовольства Александры Тимофеевны. Каждый понедельник напрашивалась делать уборку в молитвенном доме, помогала Мане по хозяйству, а главное, уходила из дому на работу и возвращалась всегда в положенное время. Это нравилось Александре Тимофеевне.

— Ты веришь, что Николая Михайловича специально подослали навредить вашим? — спросила Татьяна однажды Виктора.

— Мама говорит, да.

— А сам как думаешь?

— Наверное, правда.

— Ты серьезно?

— Мне нельзя думать по-другому, — признался Виктор.

Он был откровенен с Татьяной.

— Все пекусь о тебе, Ефимовна, — заговорила после ужина Александра Тимофеевна. — Хороший ты человек. Работящая, послушная, а истинного счастья нет. Бьешься, что рыба об лед, да где этот лед пробить возможно. Суета...

— Многим тяжело, — на всякий случай согласилась Татьяна.

— Многим, — подтвердила Александра Тимофеевна. — Всяк свою дорогу в жизни ищет. Поди посмеиваешься когда над нами, мол, от мира отошли, в религию скрылись.

— Что вы! У вас религия не плохая.

Она немедленно закивала головой, потрясая обвисшими щеками. Седеющая прядь волос скатилась с виска:

— Разобраться в ней надо, в нашей религии, чтобы оценить. — Но дальше не пошла, перевела на другое. — Похлопотала я о тебе. Все равно все вечера дома, скучаешь. Из Мани какой для тебя собеседник, она дите еще. А я — редко когда свободная минута образуется. Витя уже подрос, женится в скором времени, надо на него кое-что справить, за одежкой, всем доглядеть... Деньги, что вода, сквозь пальцы текут... Брат Егор у нас в артели

работает, так нас надомниками держит. Рукавицы шьем, заготовки к туфлям, шапки. Тебя решили взять в компанию.

— Можно ли? — обрадовалась Татьяна. Ее угнетала зависимость от Александры Тимофеевны, положение бедной родственницы в доме.

— Упросила. Завтра сведу. У сестры Елены собираемся.

— Спасибо вам большое!

— Спасибо после, загодя не благодари. Возможно, что еще не понравится, откажешься.

— Нет, нет, — запротестовала Татьяна.

— Вот и ладно.

Татьяна ждала этого вечера с нетерпением. Казалось, что с ним придет что-то особенное, что определенно изменит ее жизнь, понятно, в лучшую сторону. Во всяком разе, у нее будут лишние деньги кроме заработной платы на комбинате. Она сразу же станет рассчитывать с Александрой Тимофеевной. Но потом ей пришла мысль, что Александра Тимофеевна немного подождет. У Татьяны сейчас такое хорошее пальто, с меховым воротником, а платок совсем никудышный. Шаль бы купить, пуховую, оренбургскую! Давно мечтала приобрести такую шаль; Григорий обещал купить, все не удавалось. Она уже мысленно делила новый побочный заработок: Лене пару платьев к весне, себе платье, кое-что из белья, туфли к лету. Простыни сменить бы, наволочки. И чем больше думала, тем больше набиралось предполагаемых покупок.

Пожалуй, она более тщательно одевалась, чем всегда, словно хотела кому-то понравиться. И когда Александра Тимофеевна сказала, что пора идти, Татьяна почувствовала страх и радость. Она несколько раз видела «сестру» Елену, молодую красивую женщину, но сказать о ней что-либо хорошее или плохое не могла. Кто еще будет там, как встретят, примут Татьяну?

Дом «сестры» Елены стоял рядом с магазином — высокий, просторный, с большими окнами на улицу. Не доходя до калитки, Татьяна увидела, как вошла туда женщина, за нею еще двое: старушка и совсем молодая девушка. Эта девушка показалась Татьяне знакомой.

У самой калитки Александра Тимофеевна остановилась, сказала с нескрываемым удовольствием:

— Дай бог тебе, Ефимовна, дружно жить с нами.

Она первой вошла в дом, на правах старшей, заслоняя Татьяну спиной. Поздоровалась приветствием:

— Мир и любовь вам, сестры во Христе!

Их приняли как долгожданных гостей: помогли раздеться, поинтересовались здоровьем.

— Проходите,— пригласила хозяйка дома, проводя в другую комнату.— Как хорошо, Татьяна Ефимовна, что ты насмелилась зайти,— Елена легко пожала ей руку.

— Александра Тимофеевна позвала.

— Знаю.— И объявила с порога: — Татьяна Ефимовна пришла к нам! — как в свое время объявила Александра Тимофеевна первый приход Татьяны в дом Дугина — с уважением, доброжелательно.

Татьяна не сразу определила, сколько женщин было в комнате; она увидела лишь двух из них: ткачиху Агнессу и ее ученицу, которая так вызывающе постоянно глядела на Татьяну в цехе. Они и здесь сидели рядом, будто только лишь вместе отошли от машин. Но во взгляде ученицы совсем не было оскорбительного выражения, она смотрела спокойно, почти кротко. Восемь человек, наконец считала Татьяна: старуха, пять женщин и две девушки.

Все, видимо, было решено заранее, и Елена не дала Татьяне даже минуту почувствовать себя чужой в этом доме. Она провела ее к столу в углу комнаты, усадила за швейную машину.

— Будем начинать, сестры,— сказала, садясь рядом с Татьяной.— Ты шила детские рукавцы? Это просто. Вот, погляди.

Елена взяла со стола раскроенный кусочек хромовой кожи, показала как прошить, чтобы вышел чехол для большого пальца. Затем этот чехол вшивается в вырез заготовки самой рукавицы. Так же делается и байковая подкладка. У нее все получалось ловко и быстро. Не больше как минут через десять появилась первая пара красивых кожаных рукавиц.— Вот и все,— улыбнулась Елена.— Ты заработала двадцать пять копеек. Приноровишься, пар двадцать за вечер можно шить.

Она отошла к другому столу, начала раскраивать материю.

Татьяне казалось, что весь вечер она будет в центре внимания, ведь новенькая, первый раз пришла. Но на нее никто не смотрел. Агнесса шила из цветной кожи заготовки к туфлям, ее ученица наклеивала на заготовки

подкладку. На третьей машине работала старуха, высокая, сухая, с большим крючковатым носом, как у бабы-яги. Остальные занимались отделкой меховых шапок. На минуту в комнату заглянул муж Елены, спросил что-то и вышел. Вместе с ним ушла и Александра Тимофеевна.

Работа оказалась в самом деле простой, требовалась лишь аккуратность, и Татьяна старалась, чтобы сшитые ею рукавицы были не хуже сделанных Еленой. Откладывая в сторону первую пару, она машинально подумала: «Еще двадцать пять копеек!» За второй парой мысль пришла сама собой: «Еще двадцать пять». Как ей пригодилось умение шить на швейной машине! — спасибо бабке Герасимихе. Вот сейчас еще будет двадцать пять копеек. Это уже рубль — десять рублей по старым деньгам! В тепле, без натуги, совсем запросто: рубль. Елена сказала, за вечер можно сшить двадцать пар. Сколько же это выйдет, в переводе на деньги? И, подсчитав, ужаснулась сумме: пять рублей! А за месяц... нет, нет, что-то много: сто пятьдесят рублей! Да, сто пятьдесят, если работать без выходных. Она готова работать каждый день, все равно свободна, никуда не ходит. О, если бы в самом деле зарабатывать по вечерам сто пятьдесят рублей в месяц! Да на комбинате семьдесят!.. Татьяна даже приостановила колесо машинки, сумма показалась ей слишком значительной. Она не только рассчиталась бы с хозяйкой, но купила к лету все, что нужно. Все-таки Александра Тимофеевна добрая женщина, кто бы другой заботился о чужом человеке?

— Давайте споем, сестры, — нарушила молчание Елена. — У нас есть новая песня.

Татьяна, кажется, первая кивнула в ответ. Как давно она не пела! А сегодня само рвалось из души что-то доброе, красивое, что можно рассказать лишь песней.

— Ты води, — проговорила старуха Елене. — И напев дай.

— Напев, как в «Ключе славы», — ответила та.

— Слова напоминай, — не унималась старуха, не поднимая крючковатого носа от шитья.

— Слова хорошие, сами в сердце западают. Сестра Александра со слезами сегодня слушала. — И с воодушевлением прочла первое четверостишие:

Солнца луч над водной гладью
Возвещает день чудес,

И священной благодатью
Дышит в свете сонный лес.

«Что за песня? — подумала Татьяна. — Ни разу не слышала».

Проговорив, Елена запела. Голос ее звучал молодо, без всякого напряжения, скорее сдержанно, чтобы не выдать полной силы. К ней тут же присоединилась Агнесса, затем старуха и остальные. Чувствовалось, что поют они не впервые, слаженно, в два голоса, стараясь не мешать друг другу. Татьяна не сразу разобрала, кто из женщин ведет песню в полутоне, как она сама любила петь, связывая воедино первые и вторые голоса. И удивилась, что поет так ученица Агнессы.

Окончив, Елена проговорила новый стих. В нем, как и в первом, не было ничего особо религиозного, но он не походил и на обычные песни:

Словно дивное виденье,
Шелест нив и тихий луг,
И хоров святое пенье
Оглашает все вокруг.

Татьяна силилась вспомнить, где она слышала этот протяжный мотив; грустный и одновременно торжественный, странно успокаивающий, уводящий за собою. На память пришел вечер, почти год тому назад, когда она впервые остановилась у калитки, очарованная звуками, как ей тогда показалось, струившимися с неба.

Третий и четвертый стихи говорили о любви к ближнему и покою, которого так недостает человеку в его брешней жизни. Продолжая петь, Елена подошла к Татьяне, посмотрела сшитые ею рукавицы, кивнула головой, отошла обратно к столу.

Агнесса предложила еще раз спеть песню. При этом она посмотрела на Татьяну, как бы приглашая и ее в хор. Елена повторила слова начального стиха, и песня полилась снова, более стройно, более душевно. Татьяна тоже подхватила напев, совсем не потому, что песня понравилась ей, скорее, чтобы войти в семью поющих, не быть в стороне. Ее голос не остался незамеченным. Елена одобрительно улыбнулась, Агнесса кивнула.

Вечер прошел быстро. За четыре часа Татьяна сшила четырнадцать пар детских рукавиц. Складывая их стоп-

кой, она в уме немедленно подсчитала, что заработала три рубля с полтиной. Подумала: для начала совсем не плохо.

Женщины стали расходиться.

— Подожди немного, я провожу тебя,— сказала Елена.

— Зачем же! — возразила Татьяна, но уходить не стала.

Осталась и Агнесса. Хозяйка вышла на кухню. Помня, что у Агнессы были неприятности в семье, Татьяна спросила:

— Пьет твой мужик или бросил?

— Бросит ребенок соску, жди!

— Что же он так?

— Дружки сманивают. Нальет глаза, драться лезет.

Кричит: «Разгоню вашу богадельню!»

— Ты...— она хотела спросить «баптистка», но посчитала не совсем удобным: — Ты верующая?

— Да.

— А он, муж твой?

— У него свой бог — водка!

— Давно пьет?

— А все время. Как поженились...

Разговор перебила Елена. Подошла, подала Агнесе две бумажки по десять рублей. Предупредительно сказала:

— Ничего, обойдемся. Только мужу не говори. Терпи, сестра. Иди с богом. К Нине я завтра сама схожу, не волнуйся.

Месяц стоял прямо над окраиной города. Со стороны степи дул талый теплый ветер. Близилась весна, и снежные сугробы начинали оседать. Татьяна специально перешла на другую сторону улицы, чтобы пройти мимо дома Дарьи Ивановны. Но окно было темным, словно чернильное пятно на тусклой в полутьме серой стене.

5

Дверь в молитвенный дом на собрание баптистов открылась перед Татьяной в последнее воскресенье марта.

Накануне этого пресвитер Кондратий долго беседовал с Александрой Тимофеевной.

— Завидую тебе, сестра,— говорил он, признавая за-

слуги Александры Тимофеевны.— Завидую многотерпению твоему, пониманию души человеческой. Истинная и глубокая вера руководит тобой в делах, господу богу нашему угодных. Молюсь о здоровье твоём и благоденствии.

Александра Тимофеевна принимала хвалу, скромно опустив глаза, но с должным достоинством. Пять будущих «сестер», которых ей удалось подготовить ко вступлению в общину, лучше всего говорили о ее ревности к вере. Пять будущих «сестер!» — когда вера в бога с каждым днем слабеет, становится слишком мало утешительной — это надо действительно уметь сварганить в такой короткий срок. И главное, все пять новых «сестер» — с текстильного комбината. Со временем там будет группа верующих.

— Еще раз хочу спросить, сестра, готовы ли они к приобщению?

— Готовы, брат Кондратий.— Она знала, что из пяти новых «сестер» пресвитера больше других интересовала Татьяна.— Готовы, повторяю.— И умышленно повела издали: — Девушки две, светлых невесты Христа — месяца четыре под началом сестры Елены и сестры Агнессы. В хор обоих надо определить, золотые голоса. Две Марии, тоже комбинатские. Солдатка одна, нуждающаяся. Другая — во грех вошла без мужа, дитя нажила. Рвение к богу достойное. Изучила я их, как саму себя. Только поодиночке не годится пускать, обоих вместе надо: свыклись они и сестру Елену чтут высоко. Она с ними и придет. А девушки — с Агнессой.

— А та как?

— Татьяна? — уточнила Александра Тимофеевна и, довольная, улыбнулась: — Как за себя ручаюсь! Уж я так к ней подошла, лучше некуда. Квартира отдельная, питается с нами, подарками задобрив.

— Не скупись, сестра.

— Она у меня полная послушница. Сама просится на собрание, я уж тебе говорила. Рукавички шьет; мы ей по четвертаку за пару объявили, на каждой паре гривенник себе убытку.

— Не скупись, приучай.

— Куда скупиться! Кофту отдала, сапоги, пальто справила. Два месяца ни одного вечера глаз не опускаю. Все при мне.

— Это хорошо!

— Войдет в веру, я ее готовлю на комбинате помощницей своей сделать. Привлекать других. С ее характером для нас Татьяна чистая находка.

— Муж ей пишет?

— Редко. Я не травлю ее душу, прячу письма. Добра желаю, бог простит. К чему ей, праведной душе, мирские страдания,— сказала со вздохом, но получилось это предательски, наигранно.— Приведу ее завтра,— добавила Александра Тимофеевна.

— Что же, приводи,— согласился пресвитер. Ему было лестно увидеть в молитвенном доме человека, который совсем недавно так яро нападал на религию. И не просто, как приходят иногда посмотреть собрания баптистов с соседних улиц любопытствующие, а прочесть в глазах Татьяны наступающее отречение от прошлого, чего так добивалась Александра Тимофеевна.— Приводи ее, сестра, коли решаешь,— еще раз проговорил он.

Пресвитеру хотелось показать единоверцам, что на место одного отступника приходят трое, пятеро в религию. Отречение Дугина вызвало в общине тревогу. Слишком большой авторитет имел брат Николай среди общины. И если рядовые члены секты молчали, делали вид, что Дугин в самом деле был подослан «испытать веру людей в бога, ввести во искушение», то трудно сказать, что они думали про себя.

Зная это, Александра Тимофеевна спросила:

— Что же будем делать с братом Николаем?

— В воскресенье я отлучу его от общины,— сказал пресвитер.

— Ты виделся с ним?

— Да. Он работает на мебельной фабрике.

— А сестра Полина?

— Тоже с ним. Она не захотела со мною говорить. Ее совсем обуяла сатанинская гордыня. Помолимся на воскресном собрании за спасение ее души.

Вечером в субботу Александра Тимофеевна сказала Татьяне, что ей позволено сходить на собрание. Она увидела радость в глазах Татьяны, искреннюю, как показалось Александре Тимофеевне, и удовлетворенно отметила про себя: пора птичку выпускать из клетки.

— Вы не поедете к Лене? — спросил Виктор, как только мать его вышла из комнаты.

— Нет. В следующее воскресенье.

— Вы не были и прошлое воскресенье,— сказал он невесело, как показалось Татьяне, даже с упреком.

— Я работала у сестры Елены.— Она тут же поймала себя на слове «у сестры», но слово это в доме произносилось столь часто, что Татьяна основательно привыкла к нему и говорила уже без той стеснительности, с которой пыталась впервые вставлять его в разговор.

— Сегодня я видел шофера, который приезжал к Лене.

— Какого? — ей удалось показаться не понимающей, о ком идет речь.

— Василия.

— Ах, его! И что же?.. Откуда ты знаешь его имя?

— Почти все городские водители знают друг друга.

Он был прав, и Татьяне не оставалось ничего другого, как повторить вопрос: «И что же?»

— Спрашивал, как вы живете.

— Зачем ему? — она все еще держалась как бы на одной половине, хотя и рисковала оступиться, выдать заинтересованность. Татьяна нередко вспоминала о Василии, особенно в последнее время. Встречается ли Василий с Клавдией? И от дум, что он холост и Клавдия одинока, ей становилось больно. Но встречаться с ним она не хотела, и не могла, находясь под столь пристальным надзором Александры Тимофеевны, Мани и Виктора. Особенно Александры Тимофеевны, контролировавшей каждую ее отлучку.— Так зачем ему знать, как я живу?

— Любит он вас! — теперь уже определенно с упреком сказал Виктор.

Притворство рассеялось, как дым под ветром. Для чего Виктор говорит ей это? По поручению Василия? Возможно, он знает еще что-то о Василии?

— Любит он вас, Татьяна Ефимовна. Ничего передавать не велел, но я по глазам узнал. И с той, из-за которой у вас.... скандал вышел, он не встречается. Вас ждет.

— Неправда это! — воскликнула она, отстраняясь от Виктора рукой.— Он не может меня ждать! Он знает почему. Я давно не встречаюсь с ним, целую вечность... Неправда все!

— Извините, Татьяна Ефимовна,— смущенно сказал Виктор.— Мне не надо было вам говорить. Но это все

правда, как хотите,— и, не давая возразить, вышел из комнаты.

Солнце заливало городскую окраину ослепительно ярким светом.

Александра Тимофеевна остановилась у дверей молитвенного дома, поправила шаль.

— Успеем еще, Ефимовна. Дай на свет божий нагладиться. Сердце в грудях не помещается — сколько радости!

В самом же деле ей хотелось, чтобы побольше людей увидели «новенькую», увидели вместе с Александрой Тимофеевной. Оценили ее заботу о росте общины. Она расстегнула пальто, достала носовой платок, сделала вид, что вытирает с лица пот, то и дело кланяясь женщинам и мужчинам.

Когда она вошла, зал был полон. Слева от прохода на скамейках сидели мужчины, справа — женщины: тихо, пристойно. На возвышении заняли место певчие хора. Александра Тимофеевна провела Татьяну вперед, и по мере прохода мимо скамеек женщины услужливо поднимались, предлагая места. Но молча, словно в зале собрались одни глухонемые. Передний ряд полностью занимали дети. Они тоже сидели удивительно тихо, похожие на лилипутов, втягивая головы в воротники пальтишек и ватников. Тишина и покой на лицах людей напоминали Татьяне посещение кладбища, когда лучше всего молчать, глядеть и думать.

Она видела, как поднялся из хора мужчина, прошел к фисгармонии, сел на стул, откинул вверх белое полотно. Следом за ним к столу, слева от фисгармонии, вышел другой мужчина: низенький, полнотелый, с лысеющей головой. Он обвел собравшихся долгим внимательным взглядом, вздохнул и устало, просительно заговорил:

— Братья и сестры! Как хорошо, что мы опять собрались вместе, что все мы пока живы и здоровы, видим детей своих, пребываем в радости от встречи друг с другом. Воздадим же слова благодарности господу нашему...

За последними словами лысеющего человека вздохнули меха фисгармонии и ровные звуки медленной мелодии поплыли в зал.

Парень лет восемнадцати раскрыл книгу. Встал, про-

чел стих. Следуя за мелодией, запел хор. Тотчас к хору присоединились все сидящие в зале. Затем парень прочел второй стих. Татьяна внимательно вслушивалась в слова, надеясь найти в них что-то особенное, непостижимое для неверующих. Но слова песни были предельно понятны.

В мире зла и испытаний
Нелегко свой крест нести.
Жизнь земную — путь страданий,
Предстоит нам всем пройти.
Пусть нас беды не тревожат,
Примем с радостью мы зло.
Он увидит и поможет,
И пошлет нам всем добро.

Третий куплет оканчивался двустишнем:

Боже, боже! Дай мне силы,
Ты меня не оставляй!

Пели красиво. Двуголосый женский хор сдержанно дополнялся басами мужчин. Но это была не мольба перед всевышним, а скорее просьба.

Разглядывая хор, Татьяна увидела Маню. Она сидела с краю второго ряда, и лицо ее — вдохновенное, устремленное куда-то выше голов людей, — не казалось таким уродливым, каким было на самом деле.

Пение окончилось. К столу подошел благообразный мужчина, словно списанный с лика святого. Он сказал, что сегодня будет прочитана очередная глава из евангелия, в которой рассказывается о посещении Христом дома Марфы и Марии. В рядах зашелестели странички книг. Открыла свое евангелие и Александра Тимофеевна. Она подняла его так, что Татьяна тоже могла читать. И она стала читать, одновременно слыша эти же слова, произносимые проповедником. Однажды пришел Христос в дом сестер Марфы и Марии. Марфа немедленно начала готовить угощение, стряпать и печь, а Мария села у ног Христа, слушая его. Когда Марфа окончила работу и пригласила гостя к столу, Христос в ответ на приглашение сказал: не тем сыт человек, что он ест, а тем, что питает его душу. По его словам, Мария заслужила большей похвалы, она слушала его. А Марфа, занимаясь делами, не слышала слов Христа.

Прочитав главу, проповедник дал ей толкование. Он

свел к тому, что многие слишком усердно занимаются делами, отводя вере и молитвам мало времени. Господь не осудит, если верующий не сделает на работе того, что ему назначено, если он будет ходить в старой одежде, питаться одним хлебом.

— Только в молитве наше утешение, братья и сестры,— говорил он.— Мы получим спасение и царствие небесное не по нашим заслугам на земле, а по милости божьей. Откройте Евангелие от Матфея, прочтите главу шестую, стих двадцать шестой. «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и отец небесный наш питает их. И об одежде что заботиться? Посмотрите на полевые цветы, как они растут? Не трудятся, не прядут... Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем»:

Будь это на цеховом собрании, такого докладчика немедля приперли бы к стене: как это не думать о завтрашнем дне? Но здесь никто не намеревался опровергать или протестовать, слова воспринимались как истина, не требующая доказательств.

Снова донеслись звуки фисгармонии, и, следуя за чтением каждого стиха, зал вместе с хором пел новую песню. Прошло больше часа с начала собрания, и у Татьяны стала ныть спина: скамейка была узка, неудобна для долгого сидения. К тому же стало душно, хотелось пить. И когда после песни началась молитва, она с удовольствием вместе со всеми опустилась на колени, стараясь хоть немного размять одеревеневшую поясницу. Она не знала слов молитвы, но догадывалась, что молящиеся как бы вступают в непосредственный контакт с богом. Вслед за шепотом слышалось нарастающее бормотание, гудение, словно в потревоженном улье. Девушка слева зашмыгала носом, вероятно, сдерживая подступающие слезы. Но проповедник не дал вспыхнуть страстям, его настойчивый голос постепенно нарастал, заставляя людей вслушиваться, перебивая гул зала. И гул пошел на убыль, начал теряться по углам, снова переходить в шепот, в движения губ и исчез совсем, как только молящиеся стали подниматься, садиться на скамейки.

С момента прихода Александра Тимофеевна словно не замечала Татьяну, слушала, пела, молилась, глядя только перед собой: то на проповедника, то на хор. И все остальные были будто чужие, не знакомые друг с другом.

Вероятно, наступало главное действие этого пока что не во всех деталях понятного для Татьяны обряда.

К столу вышел пресвитер. Он был в черном костюме, и белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, подчеркивала смуглость сухого лица, нездоровый блеск темных, блуждающих глаз. Он смотрел в зал, как показалось Татьяне, минуты три, во всяком случае слишком долго, угнетая, давя людей взглядом.

Его голос вызвал облегчение.

— Братья и сестры! Восславим господа нашего Иисуса Христа, единого и всепрощающего.

Внезапно его глаза остановились на Татьяне. Они вспыхнули еще ярче, словно с демонической силой сняли с нее пальто, кофту, белье, и она, казалось, предстала перед людьми совершенно нагая, со всеми слабостями и пороками, написанными на ее теле. Ей стало страшно и стало стыдно под этим горящим взглядом. Она почувствовала, как по лицу скользнули капли бессильного пота. Она не сразу поняла, что пресвитер уже не смотрит на нее, на ее теле еще дотлевали угольки от жара его горящих глаз.

Татьяна почти не разбирала, что именно говорит он; она шла за его словами, как слепой за поводырем, доверяя и боясь, упираясь и в то же время страшась остаться без этих слов, уводящих ее вместе с толпой таких же, как и она, загипнотизированных людей. Он говорил о вечном блаженстве и муках ада, о великой скорби всевышнего. Речь его была столь возвышенна и непостижимо давяща, как ночное небо перед наступающей грозой. Наконец в предгрозовой агонии мелькнула первая молния, предвестница грома и бури:

— Жертвою духовного блуда оказался бывший наш брат по вере Николай. Испушенный дьяволом, он вошел в наш дом, не выбросив из души мирские похоти и вожделения.

«Сам ушел Николай Михайлович,— пронеслось в голове Татьяны.— Не подослан, не подкуплен, сам...» Это было приятно. Значит, он сумел сохранить человеческую честность, хотя его и обидела жизнь.

— Глубокая скорбь наполняет нас, истинно жалеющих ослепшего брата. Как тяжело его душе будет возноситься на небо — не в сонме ангелов, а в когтях сатаны; как будет трепетать она, видя котлы с кипящей смолой и

раскаленные сковородки, слыша плач и стоны убиенных самими собою...

В другое время она посмеялась бы над подобными словами, назвала сказками разговор о котлах со смолой и горячих сковородах — детей, разве, пугать! Но люди воспринимали слова пресвитера не меньше, чем откровение. Многие женщины плакали, открыто, не стыдясь слез, мужчины — Татьяна хорошо видела их, слева на трех первых рядах, — сидели, хмуро понурив головы. Все они — женщины и мужчины, — становились во время молений действительно детьми. «А может, они уже видят присутствие своего бога или ангелов, что не дано еще видеть мне, — подумала Татьяна. — Они ближе к своему богу». Ей на какое-то время опять показалось, что она сидит одна, совершенно обособленно от массы, хотя и вместе, но как инородное тело в большом живом организме. Зачем она сюда пришла, коли не имеет отношения к этим людям? Они видят ее, возможно, осуждают, но определенно не считают равной.

— Пусть бывший наш брат Николай останется без утешенья и надежд. Пусть никто из нас не подаст ему руки, не станёт говорить с ним, не будет слушать его безбожных речей. Пусть он останется нищим духом и силой, подобно блудному сыну, забредшему в пустыню зла и горестей. Пусть отвернутся от него кущи садов и светлые родники, дороги покроются камнями и солнце не даст благодатного света и тепла. Истинно сказал господь наш: небожителю нет моего благословения...

«Как же так: а люби ближнего, как самого себя? Люби врага своего, подай ему руку в нужде и испытаниях? Почему же Николая Михайловича отвергают так строго?»

— Восславим господа нашего...

Звуки фисгармонии вызвали новые слезы. Но это уже были слезы радости, очищения, духовного причастия к чему-то слишком высокому и светлому. Женщины плакали улыбаясь, как плачут при встрече мать и дочь после длительной разлуки, испытывая страдания счастья, всепрощения и человеческой любви. Разумеется, бог или его представитель был уже где-то совсем близко, его не могли не привлечь эти вдохновенные лица, омоченные слезами, горящие глаза людей, вздохи и пение фисгармонии. И пресвитер дал возможность верующим испол-

зовать столь счастливый случай высокого присутствия: поведать богу свои горести и печали.

— Господи! Услышь нас, помоги нам в этой короткой жизни сохранить свою любовь к тебе! Помоги слепым прозреть, матерям найти детей своих, укроти болезни, отведи несчастья. Молитесь, братья и сестры...

Измученные почти трехчасовым сидением, духотой, возбужденные, доведенные до экзальтации молитвами, пением, речами проповедников, люди в зале шли за пресвитером словно стадо овец. Его голос скоро потонул в страстном шепоте, во вздохах, в окончательно загустевшем воздухе. Это было время личных молитв, персонального общения с богом. Шепот нарастал, ширился, подобно мчащемуся откуда-то ураганному ветру, который уже запутался в листве деревьев, но не потряс еще могучей рукою их стволы. Женщина впереди Татьяны опустилась на колени. Другая, за Александрой Тимофеевной, поднялась. Встало со скамей несколько мужчин. Шепот стал обретать как бы наивысшую степень моши. И вот кто-то заговорил вслух. Послышался другой голос, третий. Люди сползали с сидений на пол, становились на колени, другие, наоборот, вставали. С передней скамьи поднялась высокая сухая старуха с девочкой на руках.

— ...помоги страдальце моей дождаться родителя своего... не отступись от калечной, обиженной...

Рыдания заглушили скрипучий бас старухи. Татьяна узнала голос Агнессы:

— ...доколе же он будет, супостат, измываться над семьей, скоро ли зальет водкой ненасытную утробу, оставит нас в покое. Молю тебя, господи, сделай вино ему отравой...

— ...день и ночь помню имя твое, господи, в сердце ношу любовь к тебе нетленную. Неужели ты не видишь слез моих, страданий женских. Восемь лет замужем, ни на что не жалуюсь, только никак не могу дождаться ребеночка. У животных есть дети, господи, за что же ты наказываешь меня, мужнюю жену, честную во браке... снизошли на меня милость твою, дай мне зачать и выносить дитя под сердцем.

Татьяна тревожно обернулась. Да, это говорила Елена. Платок сполз с ее головы на шею, смуглое, как у цыганки, красивое лицо было мокрым от слез.

Громкий плач, вырвавшийся слишком внезапно, по-

тряс Татьяну. Женщина билась головой о скамейку, выкрикивая совершенно непонятные слова. Она редела, как над мертвецом, словно прощаясь навсегда с тем, кто был ее опорой и радостью в жизни. Вот она с трудом поднялась, протянула руки вперед и рухнула на пол, сложенная, обессиленная от горя, потерявшая разум и волю. И как тот раз, у Полины, никто не бросился поднимать ее, никто не захотел облегчить ее страдания. Она лежала страшно неудобно, застряв между скамеек, между ног людей, мертвенно бледная, с полуоткрытым ртом.

Шум нарастал. Теперь уже трудно было удержать, тем более остановить поток просьб, их единый вопль. Если господь в самом деле был вблизи, он должен был как-то отозваться. Татьяне стало дурно. Ее начало тошнить от духоты, от запаха пота, от выкриков, бормотания, от вида темного провала рта на бледном, словно покрытом известковой пылью лице женщины, лежащей в обмороке. Она поднялась, осмотрелась и снова села, видя, что выйти ей не удастся. И тут же почувствовала на себе огненный взгляд глаз проповедника. Он тоже что-то говорил, должно быть, молясь за всех, либо поверяя всевышнему личную человеческую тайну. Он смотрел в зал на мятущихся людей, как факир, заклинатель, не давая опомниться, выйти из общего экстаза.

— Только об одном прошу тебя сегодня: помоги, господи, дочери моей приемной, Татьяне. Дай ей силы справиться с печалью, удержи в семье своей. Пусть всегда она будет с нами, в защите и благополучии. Возврати ее ребенка в свою обитель...

Это молилась за Татьяну Александра Тимофеевна. Забота хозяйки вызвала слезы. Они все время стояли где-то на ближних подступах, теперь хлынули свободно, неудержимо. И поддавшись общему настроению, Татьяна невольно подумала: «Дай мне, господи, поскорее увидеться...» Она хотела сказать: «с Григорием», а против воли вырвалось: «с Василием». Она испугалась этой святотатственной просьбы и несколько раз повторила: «С Гришей... с Гришей... с мужем». Но вышло слишком фальшиво. Видно оттого, что память отчетливо повторила слова Виктора о Василии: «Любит он вас!»

Татьяна с трудом досидела до конца собрания. Она не могла ни слушать, ни понимать толком происходяще-

го. Слезы опустошили ее, и голоса молящихся ударялись и отскакивали от нее словно мячи от стены — глухо и однообразно.

За общение с богом следовало платить, так же, как за частный прием у врача. Мужчина медленно обходил ряды с тарелкой. Глухо стучала мелочь, замертво, бесшумно падали бумажки. Татьяна сунула руку в карман и вспомнила, что там лежит единственная пятирублевка. Если отдать, у нее не останется ни копейки, а зарплата дня через три, не раньше. Не отдать... Она подняла голову и увидела большие глаза мужчины — умные и грустные. Рука произвольно вынула пятерку и положила на тарелку: откуп, дань. И Татьяна еще раз согрешила, подумав: от бога приходится так же откупаться, как от нечестных людей.

Нет, она не стала верующей после этого собрания. Она лишь как бы протянула руки к богу, и бог не отверг ее. Разумеется, это совсем не означало, что сделка уже совершена, но путь к переговорам был открыт. Бог словно намекнул ей: «Теперь дело за тобой. Ты видишь, как люди любят меня, верят мне. И я стараюсь им помочь. Я могу вернуть ребенку отца, зачать во чреве Елены плод, отвести болезнь. Я — всемогущ. Только надо верить в меня. Верить искренне, отвергая все, что встанет на твоём пути. Это все тоже поставлю я, испытывая тебя, твою веру ко мне». «Не слишком ли ты доступен, господи,— осторожно спрашивала Татьяна.— Сумеешь ли разглядеть искренность веры? Многие стали хитры и лживы, они способны обмануть даже тебя».— «Это я их создал такими,— отвечал бог.— Наделил добродетелью и пороками, любовью и злом, верой и неверием...»

Она вернулась домой страшно усталая, опустошенная, неспособная даже разговаривать. Чтобы ответить на вопрос Александры Тимофеевны, хочет ли она есть, Татьяна пришлось потрясти головой.

— Отдохни, Ефимовна,— понимающе сказала Александра Тимофеевна.— Вечерком евангелие почитаем: сестра Елена придет, очень уж ты ей по душе пришлась.

Татьяна не смогла уснуть, хотя и думала, что заснет сразу же, стоит ей добраться до постели. Ей пришлось на ум: Виктор уже третий раз пропустил воскресное собра-

ние баптистов. Говорит, что на работе, а сам тайно ходит к своей девушке. К «мирской», не из секты выбрал. Однако это не вызвало ни сочувствия, ни раздражения. И снова вернулось: «Не слишком ли ты доступен, господи? Смогу ли я поверить в тебя?..» Ей так хотелось, чтобы бог или кто из людей, пусть совсем случайно, сказал: «Да». Или она как-то почувствовала бы согласие. Но ей ответила только тишина. Тишина склепа, с холодной стеной не топленной утром печи и неверным светом угасающего дня.

Глава третья

1

Клавдия еще косилась, не разговаривала с Татьяной, однако страсти вокруг них утихли. Нашлось более интересное: замужество Насти Свистелкиной. Она собиралась на майские праздники играть свадьбу. Жених был вдов, старше Насти лет на десять. К тому же у него росла дочь, тоже Настя, ей шел седьмой год. Будущего Настиного мужа знали почти все, он работал в комбинате наладчиком машин, только в другом цехе, но иногда бывал и здесь, подменяя товарищей.

Одни подсмеивались: мол, Настя сразу приобретет себе отца и дочь. Другие хвалили ее выбор: не пьющий, не курящий, дело знает. И характером не чета кое-кому: тихий, рассудительный. Что старше — беречь станет, уважать, ценить. С виду ему никак тридцать три года не дашь, моложаво выглядит.

Но Татьяну оставили в покое — даже больше: к ней снова стали относиться как к равной — не только благодаря новым страстям и новым темам для разговоров. Ее взяла под свое покровительство Агнесса.

— Станет моя ученица мастером, — говорила Агнесса, — тебя возьму. Без специальности плохо. Ты бы помирилась с Клавдией, нехорошо зло на душе носить.

— Я не ношу.

— Вот и помирись.

— Она сама не хочет разговаривать.

Но и это уже было подготовленно Агнессой. Пора наконец заключить если не мир, то хотя бы перемирие.

Клавдия сама подошла к Татьяне в конце смены, тронула за руку:

— Выйдешь — подожди меня.

— Подожду, — ответила Татьяна. Неужели никто не видел, что Клавдия сама подошла? Она обернулась и с трудом скрыла радость: все видели!.. Надежда Прахова рот раскрыла от удивления.

Шел дождь, мелкий и хрупкий, сверкающий на солнце, словно мишура фольги на новогодней елке. Первый весенний дождь, теплый, застенчивый. Клавдия не заставила долго ждать и на виду у всех еще раз подтвердила готовность к миру — взяла Татьяну под руку. Но не сразу нашлась, что сказать.

— Ты не видела мою новую квартиру?

— Во втором доме?

— Да. Так удобно, просто невозможно! Ванная, газ, паровое отопление... И дешевле, чем платила за старую. Наполовину...

«Ты не знаешь, как начать разговор о Василии», — подумала Татьяна. Она понимала, что рано или поздно они должны встретиться, заговорить на эту для обоих равно неприятную тему. Еще не так давно, месяца два назад, Татьяна боялась встречи. Но сегодня чувствовала себя на редкость спокойно. И первой сделала решающий ход.

— Проводи меня, Клава.

— Я думала, ты зайдешь ко мне.

— Некогда сегодня, домой тороплюсь. — Они уже достаточно отошли и никто не мог подслушать. — Ты все еще сердись на меня. Я знаю, ты должна сердиться. Получилось очень... подло с моей стороны.

— О чем ты? — словно не понимая, спросила Клавдия. Но вышло это неуклюже. Татьяна заметила, как дрогнула, на секунду сжалась ее рука.

— Ты догадываешься о чем. О Василии.

— Не надо, Таня, — а голос выдал нетерпение узнать все, что известно Татьяне о Василии.

— Я не знала, что ты с ним встречалась. И он не говорил. Потому... Но мы больше не видимся! С того дня, как Варвара Петровна рассказала мне все. Однажды он зашел, я выгнала его... Потом он прислал записку. А теперь совсем... я ведь живу на другой квартире, не выхожу из дому. Только на работу.

Талый снег не хрустел под ногами, а продавливался

с глухим шипением, подтверждая, что все это действительно прошлое: «прошлое... прошлое... шлое... шлое...» Клавдия тоже знала, что все это прошлое, что Татьяна не встречается с Василием. Но он забыл и Клавдию. Нескольким раз она пыталась встретиться ему на пути, Василий делал вид, что не замечал ее. Однажды она передала с Настей Свистелкиной записку, он вернул даже не читая.

— Ты можешь с ним встречаться,— сказала Клавдия.

— Зачем?

— Мне он не нужен. Я переборола себя.

— Нет, нет, Клава!

— Видеть его не могу! Не хочу! — Клавдия проговорила это громко, резко шагнула вперед, увлекая с собой Татьяну. — Понимаешь, раз он меня бросил, то и тебя может бросить, кого угодно! Зачем мне такой? Пусть катится подальше... А ты встречайся, если хочешь, ты же была замужем, ничего не теряешь. Уйдет — черт с ним! — Она выплеснула сразу все и, спохватясь, зашептала: — Извини, Таня. Я хотела сказать, что нам-то не стоит ссориться. Если из-за каждого мужика трепать нервы — большой расход.

Но нервы она тратила слишком расточительно. «Что ей нужно от меня? — подумала Татьяна. — Если испытывает, совсем зря. Я же сказала, она и сама знает, что все кончено».

Они уже подходили к переезду, и на фоне серой степной дали, лениво глотающей мокрые рельсы железнодорожного пути, дождь был виден особенно отчетливо. Там, за степью, пряталось солнце, оно и натягивало дождевые струны, отделяя одну от другой. Золотистые струны какого-то огромного, невиданного музыкального инструмента. Если бы все они разом запели, мир задохнулся бы в звуках мелодии. Неожиданно в этих струнах показался человек. Он шел по мокрым сверкающим рельсам, как-то не прикасаясь к ним ногами, — еще не человек, а расплывчатый в дожде силуэт. Вдруг, Василий! Татьяна невольно замедлила шаг.

— Пожалуй, я вернусь, Таня, — сказала Клавдия, считая, что Татьяна нарочно идет медленно, чтобы Клавдия не провожала ее до дому.

Казалось, и человек на рельсах приостановился, заметив двух женщин. На какой-то миг Татьяне показалось,

что она определенно узнала Василия в этом человеке, под редким и теплым дождем, различила его лицо, недоуменный взгляд. И немедленно согласилась:

— Ладно, иди... Только пойми, Клава, я перед тобою не виновата. Если б знала!.. Он еще вернется к тебе. А я...— Да, человек нагнулся, сел на рельсы. Ему определенно не хотелось встречаться с женщинами.— Я... никогда не буду врагом тебе,— она спешила распрощаться, чтобы не стоять на виду у Василия,— это он, Татьяна больше не сомневалась! — и торопливые фразы прозвучали откровенно.

Она успела дойти до переезда, пока разглядела, что шел по линии чужой человек, вероятно, путевой рабочий. Совсем не высокий, полный, в упруго вздутом от дождя плаще, он был так же не похож на Василия, как не похоже пение на обычную речь.

В этот день она не смогла избавиться от дум о Василии.

Вернулся с работы Виктор. Александра Тимофеевна ушла куда-то и пока Маня хлопотала с обедом он предложил:

— Идемте, Татьяна Ефимовна, дрова колоть. Дождь перестал, так хорошо на дворе.

Татьяна часто убирала в доме, кормила кур и гусей, помогала стирать белье, но колка дров входила только в обязанности Виктора. Тем не менее она набросила пальто и вышла.

— Топор отточил сегодня! — похвалился Виктор. Топор в самом деле светился зеркальным блеском. Лишь кое-где на нем остались темные ямочки от ржавчины, не снятые наждаком.

Они вошли под навес. Виктор выкатил из кучи большой чурбан, поставил его на-попа. Двумя короткими ударами надсек место будущего раскола и, махнув топором, развалил чурбан на две половины.

— Сильный ты, Витя,— любуясь работой, сказала Татьяна.

— Мне еще негде было силу израсходовать.— Он поставил половинки, сел на одну, показал на другую Татьяне: — Садитесь. — И суховато, словно к ним подошел кто-то третий, проговорил: — Я специально позвал вас, Татьяна Ефимовна. Вот,— протянул конверт.— Пока будете читать, я дров наколю.

Она сразу узнала почерк Василия. Хотела вернуть письмо, но Виктор уже работал. К тому же одолело любопытство: что он пишет? И стала читать.

«Таня, дорогая! Ты можешь сердиться на меня, но прошу, не ругай Виктора, что он согласился передать тебе письмо. Он добрый парень. Я часто прохожу ночью мимо твоего дома, когда ты уже спишь. Жаль, что твое окно выходит во двор, я не могу заглянуть в комнату. Но все равно вижу тебя...»

Топор опускался на чурки, лихо, со свистом рассекая воздух.

— Я его только что видел,— сказал Виктор.— Час назад. Завтра он уезжает.

— Далеко? — спросила она, задерживаясь на словах: «все равно вижу тебя».

— В колхоз. К подшефным.

«Я часто прохожу ночью мимо твоего дома...»

— Вы его зря обижаете, Татьяна Ефимовна. Скоро он не сможет даже передать вам письма.

Слова пролетали мимо нее.

«Прости меня, Таня, за все, что было между нами. За плохое и хорошее. Желаю тебе много-много счастья...»

«Скоро он не сможет передать вам даже письма»,— слова Виктора совершили длительный полет и снова вернулись к ней, как возвращает выкрик эхо в горах. Почему не сможет даже передать письма? Она посмотрела на Виктора. Сверкнув, топор с жадностью набросился на чурку и, успев лишь прикоснуться, отколол толстое полено с бородавчатым следом сучка.

Виктор положил топор, отер рукавом мокрый лоб. Он что-то хотел сказать, но послышался голос Александры Тимофеевны. Она уже шла к ним, и Татьяна поспешно сунула письмо в карман.

2

Татьяна не замечала, как прогрессировала ее болезнь. Она давно, еще год назад, столкнулась с верой, когда слушала песню ночью у калитки, когда стояла над умирающей дочерью Полины, затем, не догадываясь

о первых признаках сумасшествия соседки, ходила помогать шить ей платье. Когда встретилась с откровенностью Дугина, с его добротой и заблуждением, она восстала против этой веры. Но всякая медаль имеет обратную сторону. Обратную сторону помогла открыть Александра Тимофеевна. Она сделала это так умело, что прошлое стало казаться Татьяне нормальным. Ее подкупала спайка баптистов, их стремление помогать друг другу. И она шла навстречу всему, что готовила ей Александра Тимофеевна, пресвитер, община баптистов. Она слушала, смотрела, но, главное, думала. Сначала о виденном, затем о вере, постепенно и о боге. Она задавала себе один и тот же вопрос: неужели все эти сто человек, членов общины, ходят в молитвенный дом ради участия в любительском спектакле? Конечно же нет! Значит, они верят в бога. А если верят, значит бог есть. Татьяну взволновало признание Елены, что она забеременела. Она помнила мокрое от слез лицо Елены, платок, сползший на шею, неизбывную мольбу в глазах: «...день и ночь помню имя твое, господи, в сердце ношу любовь к тебе нетленную... восемь лет замужем, только никак не могу дожидаться ребеночка...» И скоро совершилось чудо. И другое чудо, почти разом: бросил пить муж Агнессы. Правда, в этом «чуде» оказались некоторые неблагоприятные детали. Пьяный муж Агнессы упал со стропил и сломал два ребра. Но не было ли это знамение божьим, наказанием всевышнего закоренелому пьянице? Отбрасывая шелуху, баптисты находили во всем зерно, факт: господь увидел, помог.

— Все в его руках,— пользуясь случаем, убежденно говорила Александра Тимофеевна.— И тебе помог — с Клавдией помирилась. Дочь скоро домой вернет. Ни одна молитва мимо ушей не проходит, сама убеждаешься, Ефимовна. Ты «Верую» выучила?

— Да.

— Заучи-ка еще «Царю небесному». Это вторая молитва. Перед дорогой в трудный час какой — читай дважды. Я тебе приготовила листок со словами. Поди возьми, в евангелии лежит.

И Татьяна все больше привыкала к мысли о существовании бога, как в конце концов человек привыкает к шумам многоквартирного дома, к морозящему осеннему дождю, даже к одиночеству.

— Беда у нас какая, тетя Таня! — Маня стояла на крыльце в одном платье, зябко прижимая к груди руки. Она увидела Татьяну в окно и выскочила сообщить страшную весть: — Виктора в армию забирают!

— Повестку принесли?

— Ага. Что же будет теперь, тетя Таня?

— Не знаю. — Она сняла платок, набросила его на плечи Мане, словно все надо было обдумать здесь, на крыльце, не заходя в дом. «С кем я теперь к Лене ездить стану?» — это первым пришло в голову. И другое, противоположное: «Девушка у него останется. Мирская, согласится ли ждать столько лет?»

— Мама плачет...

— Дома она?

— Там, — кивнула на дверь, — с братом Кондратием. Сестра Елена пришла.

Татьяна застала их всех вместе. Они толпились в кухне, ей не удалось незамеченной проскользнуть в свою каморку. Елена поднялась, позвала Татьяну в комнату. Прикрыла за собою дверь. Виктор сидел на стуле, опустив голову, сжимая ладонями виски.

— Вот, — сказала Елена, словно ввела Татьяну к тяжело больному. Был, мол, человек, посмотри на него последний раз.

— Витя! — позвала Татьяна. — Когда тебе являться?

Он не сразу поднял голову, а когда взглянул, в глазах его жил неподдельный страх, как у зверя, загнанного в ловушку. Страх и тупая решимость сопротивляться до последнего дыхания.

Кажется, он не понял вопроса, и Татьяна снова спросила.

— Послезавтра, — подсказала Елена. — С вещами. Как в тюрьму. Хуже еще, чем в тюрьму.

— Не пойду! — хмуро и решительно прохрипел Виктор.

Татьяна не узнала его голоса, не узнавала и его самого. Вместо молодого парня на стуле сидел бледный, хмурый человек, со взлохмаченными волосами и грубым, хриплым голосом.

— Не пойду! — вздрог выкрикнул он.

— Судить будут, Витя! — сказала Татьяна.

— Кто? — он вскочил, сжимая кулаки. — Кто будет судить? Они? — махнул рукой в сторону, имея в виду военкомат, или вообще всех неверующих. — Пусть судят! Пусть дают испытания! — и, опуская руки, сурово свел брови, снова выдавая страх, будто увидел перед собою толстые прутья тюремной решетки.

— Брат Кондратий уже беседовал с ним, — сказала Елена.

Сдвинулся стол перед глазами Татьяны, наплыл на комод и медленно вернулся на место. Ей так захотелось крикнуть в ответ на слова Виктора: «Не бесись! Тысячи людей служат, чем они хуже тебя? Загородился религией...» Это мелькнуло молниеносно, и Татьяна тут же вырвала с корнем еще бледный, слабый росток возмущения. Разве можно сказать такое сейчас Виктору в присутствии Елены? А за дверью пресвитер, Александра Тимофеевна!

— Молись, Витя! — чужим от волнения голосом и чужими словами проговорила она.

— Бог поможет, — добавила Елена. — Не поддавайся искушению.

Похоже, весь разговор был слышен в кухне. Когда они вышли, пресвитер схватил Татьяну за руку, радостным шепотом поблагодарил:

— Спасибо, сестра! Он так вас уважает... Спасибо!

— Только в молитве наша сила, — поддакнула Александра Тимофеевна, но совсем не грустно, вроде они уже решили, как поступить с Виктором, чтобы избавить его от службы в армии, и дело остается за чем-то малым, что не так сложно отрегулировать.

Новость немедленно облетела общину. Трудно сказать, какой невидимый провод связывал «братьев» и «сестер», но они шли и шли в дом Александры Тимофеевны. Встречая каждого, Александра Тимофеевна делала скорбное лицо, показывала рукой на дверь комнаты, молча разрешая навестить несчастного своего сына. Понимая тяжесть печали и не находя слов для утешения, «братья» и «сестры» заходили в комнату, вздыхали, говорили: «Молись, Витя», — и молча исчезали.

Признаться, Татьяну не тронул этот страх, который стоял в глазах Виктора. Не пытаясь спорить, она не могла и согласиться, что от армии надо как-то отделать-

ся. Отслужит три года, вернется. Время мирное, бояться нечего.

Она пришла к Елене немного раньше обычного и сразу села за машинку. С каждой парой рукавиц в карман ложилось двадцать пять копеек, не следовало зря терять времени.

— Сегодня к нам новенькая придет,— сказала Елена.— Хорошая девушка. Будь с ней поласковой.

«Верят мне,— подумала Татьяна.— Своей считают».

Вошла старуха с большим крючковатым носом. Следом две женщины. Татьяне не терпелось увидеть «новенькую». И когда она появилась вместе с Агнессой и ее ученицей, Татьяна еле удержалась, чтобы не вскрикнуть от изумления. «Новенькой» оказалась Настя Свистелкина. Она робко переступила порог, взглянула на Татьяну и густо покраснела. И так же, как в первый приход Татьяны, на Настю никто старался не смотреть, не смущать ее, разговоры были слишком общие. Так же пели песни, внешне не имеющие к религии прямого отношения: о дивных лугах и стройных лесах, о цветах, разумеется, радующихся свету дня, славящих щедрость бога. Нельзя же утверждать, что стихотворение «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда» тоже религиозного характера. Кстати, то ли за недостатком мелодий, то ли в порядке более быстрого освоения слов, песня пелась на известный мотив «Буря мглою небо кроет».

Татьяна отложила в сторону седьмую пару рукавичек, подсчитала: рубль семьдесят пять. Двадцать пар можно сшить за вечер, говорила Елена, Татьяна шьет уже по двадцать пять! Это шесть рублей с лишним в день. За прошлую половину месяца она получила чистыми сорок два рубля с полтиной. А ведь работает только четыре дня в неделю — среда и суббота дни молений. Воскресенье — тоже не работают.

Она взглянула на Настю и чему-то улыбнулась про себя.

— Расскажи-ка, сестра Пелагея, как ты уподобилась на том свете побывать,— сказала Агнесса, оборачиваясь к старухе с крючковатым носом.

— Рассказывала тебе,— неохотно отозвалась старуха.

— Другие не слышали! — В порядке краткого введения в события она пояснила, глядя на Татьяну: — Вот уж

поистине чудо приключилось, сестры, с нашей Пелагеей! Все повидала, что ждет нас в загробной жизни. Своими глазами!

Не о ней ли однажды рассказывал Виктор по дороге в Ивановку? — подумала Татьяна. Похоже, о ней.

— Своими глазами,— подтвердила старуха совершенно серьезно.

— Да ты расскажи! — попросила Елена.

— Долгий сказ, до сей минуты у меня мурашки по телу скачут от переживаний да от страхов. Бес-от каждый момент начеку, так и норовит душу заграбастать.

Словом, появилось однажды у бабки Пелагеи желание попутешествовать в дали небесные, еще при жизни заглянуть туда, куда все равно придется попасть после смерти. Молила она бога, молила, да все не доходили до него ее слова. И вдруг случилось.

— Стою я, матушки мои, молюсь, прошу всевышнего,— старуха отложила шитье, повернулась, оглядывая сидящих женщин.— И ударил свет огненный полымем вокруг меня. И я, матушки мои, будто не я, а пылинка дорожная. Несет меня вверх сила неизвестная, к самым облакам. А потом еще выше.

— Страх какой! — проговорила соседка Татьяны.

— Все во мне трепетало и колыхалось,— продолжала старуха.

— Тут я разобрала, что ангелы летят по сторонам, для охраны души. Солнышко кругом, крылья блестят у ангелов. Сколь летели, не помню. И вижу сады с одной стороны. Будто весной зелена кругом. И яблоки на деревьях. А под деревьями — мужики, бабы, ребяташки сидят: так, без дела какого, просто прохлаждаются. «Видишь рай, сестра Пелагея?» — ангел меня спрашивает. «Вижу,— отвечаю ему,— радуюсь».— «Веруй искренне и молись всечасно,— говорит ангел.— Тебе тоже место уготовил господь в этом саду». Ну, сказать невозможно, до того все красиво!.. Про сестру Прасковью я еще не говорила, что видела в этом саду?

— Нет,— отозвалась Елена.

— Видела, как же! Будто как тебя вот, сестра Агнеса. Смотрю, сидит под деревьями и покойная сестра Прасковья. Сидит так, рот разинула. А ее ангелок из ложечки кормит... Зубов-то она еще при жизни лишилась. Вот и сидит, ровно дитя малое. Кашицу какую глотает или еще

что. Такое меня умиление просквозило: ни шуму тебе, ни газов, только пение струится и струится. «Господи! — говорю. — Как возрадуются души усопших, видя столь райские места!» А ангел отвечает, мол, молчи, тут нельзя говорить. Молись в душе...

— Истинно сказано, — вставила Елена.

— Ну, сидят они, значит, рядочками так... мужики, бабы, ребятишки. Пение идет...

— Ты уже говорила, сестра Пелагея, — поправила ее Елена. — Потом-то что повидала?

— И старуху Марфу тоже, — ответила она. — И убиенного Кирилла. Авдокею потом. Также под кусточком. Павла того, Марениного ребеночка...

Что-то застопорило в рассказе сестры Пелагеи. Видно, она давно не поведывала другим о своем более чем странном путешествии. Этим и воспользовалась ученица Агнессы, без умысла введя старуху во гнев. Спросила:

— Голые они там или в одежде?

— В какой еще одежде! — грозно сверкнули глаза старухи. — В своих одеяниях. Как из воздуха или из воды. Сквозь светятся.

— Потом-то что? — Елена спешила вывести «сестру» на торную дорогу. — Увидела рай. А дальше?

Сестра Пелагея вздохнула.

— И потом было. Опосля уже, значит, — старуха все еще сердилась на неуместный вопрос Агнессиной ученицы. — Пролетели мы мимо рая, и вижу, как сейчас вот, горы черные, а над ними смрад и скрежетание. И привели меня ангелы к воротам железным, кованым. Сказали стражам у тех вѳрот: «Покажите сестре Пелагее какой есть ад». Распахнулись ворота, матушки мои, и увидела я страсти невыразимые. Котлы со смолой кипят, а в них грешники варятся. Плачут, стонут, да куда из тех котлов выбраться! А те, что при жизни всякие мирские песни пели, те горячие сковородки лижут. А те, которые плясали...

— На танцы ходили, — пояснила Елена.

— ...те пляшут на гвоздях. Доски лежат, а в досках гвозди набиты.

— Страсти, господи! — отозвалась соседка Татьяны.

— Повидала, повидала, матушки мои, — закачала головой старуха. — Жгут их нещадно, тех грешников, из-

мываются над ними. Вечные муки ада испытывают. Молодых видела, как же! Много их. Старых — меньше. Старые все больше в раю. У старых вера крепкая, их мирские соблазны не искушают. Повидала, ничего не скажешь. Мишку Афанасина повидала. В котле он кипит, отступник... Убивцу одного, тоже в котле...

Старуха снова впадала в словесный транс, и Елена немедленно пришла на выручку.

— При жизни надобно о будущем думать. Бог все видит.

Она еще что-то говорила: о вере, о молениях и чистых помыслах, — Татьяна плохо слушала ее слова. Она попыталась представить рай, но выходило что-то похожее на казенный колхозный сад: деревья, яблоки созревают и вдруг... под деревьями голые люди! Все вместе: мужики, бабы, ребятишки. Такая как Елена — еще ничего: молодая, в теле, складная, с ней даже с голой сидеть приятно. А попадешь в общество бабок Пелагеев, не обрадуешься и раю. Стошнит от одного вида. И другое: сидят — день, два, неделю, год. А что дальше? Ведь в раю придется жить вечно, тысячи тысяч лет, как говорит священное писание. Нет, ей совсем не хотелось сидеть голой рядом с такой как Пелагея. Тут же пришло имя Василия. Татьяна не сразу отмахнулась от него, и тайная дрожь рывком метнулась по телу. «Господи, всевидящий и вездесущий, — тоскливо стала читать она молитву, — сохрани и помилуй мя во житии и...» Но Василий уже как бы подошел, раз она позвала его, стал рядом, отстраняя рукой молитву, словно занавеску на двери, за которой пряталась Татьяна.

Подошла Елена, наклонилась. Прошептала:

— Следи, сестра, за Виктором. Молодой, как бы не набедокурил.

— Послежу.

— Даст бог, обойдется.

Татьяна кивнула. И опять взяла грех на душу. «Как же обойдется? Заберут — и все. Не пойдет — осудят! В тюрьму сядет. Религия, религией, а порядок никто не даст нарушать. Он не пойдет, другой откажется, третий не захочет, а как армия?» И снова тоскливо забормотала: «Господи, всевидящий и вездесущий, сохрани и помилуй мя...» — ложкой воды в кастрюлю, как льют, чтобы не подгорело молоко.

Это показалось странным. Засыпая, Татьяна думала о Насте. О том, что и Настя со временем станет баптисткой. Вот она пришла, как говорят, «подработать». Собирается выходить замуж, а какое приданное у девушки-ткачихи, живущей в общежитии? Пара платьев да светлая мечта о будущем. В доме Елены она оказалась не благодаря заботе о ближнем, перед каждым встречным и поперечным баптисты не раскошеляются. Дом Елены служил первой ступенью к приобщению. Здесь будущие «сестры» проходили своего рода ликбез, проверялись на гибкость, сдавали техминимум. Агнесса говорила о будущем муже Насти — не пьющий, не курящий, домосед и прочее. Он был баптист. Разумеется, он мог жениться только на баптистке. На этот счет религия не давала скидок. И Татьяне почему-то было жаль Настю.

Она и проснулась с этой мыслью. Что видела Настя в жизни? Только лишь вышла на самостоятельную дорогу. Устала в общежитии; у мужа свой домик, куры, гуси, будет сыта и одета. А для души?.. Бог. Братья и сестры во Христе. Молитвенный дом... Тьма. Жизнь животного с двумя ярмами на шее — физическим и духовным.

Молитва, словно живая, выползла из-под подушки. «Господи всевидящий и вездесущий, сохрани...» Мне-то какое дело до Насти! Пусть сама о себе думает. Татьяна бессильна нарушить что-либо совершающееся вокруг нее. Она могла лишь крикнуть, вызвать короткое возмущение, как вызывает возмущение мутного озера брошенный в него камень. Но, вызвав возмущение, камень идет на дно. Он даже не знает, что озеро отделалось от него несколькими дрожащими кругами и через минуту снова выглядело убийственно спокойно.

Было темно, но уже надрывно горлалили петухи. Татьяна попыталась заснуть. Помешал стук: кто-то вышел из дому во двор. Еще раз скрипнула дверь. И еще. Послышался приглушенный говор в кухне.

«Сегодня Александре Тимофеевне не до сна, — подумала Татьяна. — Видно, всю ночь молилась». Она жалела, что Виктор уйдет, что останется в обществе Майи и Александры Тимофеевны. Завтра к десяти утра ему

надлежит явиться в военкомат с вещами. Пожалуй, сразу и отправят, два года давали отсрочку, теперь идет вне общего призыва...

Нет, это разговаривала в кухне не Маня с матерью. Татьяна различила приглушенный голос. Встала с постели, подошла к двери, прислушалась: пресвитер пришел! И тут же голос стал отдаляться, зазвучал глуше: все из кухни отправились в большую комнату к Виктору.

Татьяна накинула пальто, вышла в кухню. Да, они были там, в комнате: пресвитер, Александра Тимофеевна, Маня, еще кто. Они молились. Глухое бормотание пресвитера, бубнящий голос Виктора и всхлипывание Мани или Александры Тимофеевны — они все еще надеялись на чудо, что Виктор не пойдет в армию.

Она вышла во двор. Начинало светать. Редкие звезды глядели на землю задумчиво и устало. Теплый ветерок нес талые запахи весны. «Кур что ли накормить, — подумала Татьяна. — Все равно уже не спать». Ей не хотелось возвращаться в дом, не хотелось показываться на глаза пресвитеру. Она прошла под навес, набрала в таз зерна из ящика. Открыла курятник. Куры еще сидели на насесте. Обернулась, увидела Виктора. Он шел из дому точно пьяный, без пальто и шапки. Татьяна пригнулась. Когда она снова подняла голову, выглянула из курятника, у нее от страха захватило дыхание: Виктор стоял под навесом с поднятым топором, левая его рука лежала на чурке. Он как бы окаменел в этой странной позе. Она сразу поняла, зачем он вошел под навес, поднял топор: чтобы избавиться от службы в армии! Татьяна хотела крикнуть, остановить его, образумить, но было поздно. Рука с топором опустилась, раздался глухой стук. Топор упал на чурку.

— Витя! — выскочила она, бросаясь к нему. — Не надо, Витя!

Он не слышал ее. Похоже было, что он вообще ничего не слышал, не видел. Даже не замечал, что у него больше нет на левой руке двух пальцев, указательного и среднего. Они лежали на чурке двумя огарками церковных свеч, совсем не похожие на частицы человеческого тела.

Из сеней выбежали Александра Тимофеевна и пресвитер. Татьяну увели в дом. Она повалилась на постель, не понимая, зачем около кровати села Маня, словно около

больной. Она лежала так до тех пор, пока вошла Александра Тимофеевна, выпроводила Маню и сокрушенно заговорила:

— Беда какая, а! Пошел дров наколоть — и на тебе, без руки остался. Уж чему приключиться, умом не отведешь. Как я ему говорила...

— Сам он, — глухо сказала Татьяна.

— Чего сам? — Александра Тимофеевна нагнулась к ее лицу.

— Сам он, — повторила Татьяна. — Чтобы в солдаты не...

— Сдурела ты, Ефимовна! Господи милостивый, откуда тебе в мысли пришло такое?

— Видела.

— Показалось тебе! Бог свидетель, показалось. Кто же сам на себя руку поднимет?.. — и всхлипнула: — Роденькая, миленькая Ефимовна, выбрось из головушки пустое, не терзай мою душу сомнениями. Пошутила? И скажи, что пошутила надо мною. Господи, мне ли, женщине, перенести все на плечах. Да ведь если дознаются, что сам...

Татьяна с трудом вздохнула и сказала, чтобы прекратить разговор, отвязаться от Александры Тимофеевны, побыть одной:

— Ничего я не видела... сестра. Ничего не знаю.

Александра Тимофеевна схватила ее руку, стала целовать.

— Святая ты, Ефимовна. Вовек не забуду доброты твоей. Молиться за тебя стану...

«Ты уж не та, какой была прежде, — говорил Татьяне чей-то голос. — Что ты выиграешь, если выдашь Виктора? Его осудят, но получишь ли от этого радость? Не забывай, что ты зависима от Александры Тимофеевны. Тебе некуда от нее уйти. Держись за нее...»

— ...дочь твою как свою родную в дом приму. Вези ее, Ефимовна, хоть сейчас! Полюбила я тебя с первого дня...

«Вот видишь, и Лене здесь будет хорошо. Скоро ведь ее надо забирать из лечебницы. Запомни: Виктор колот дрова и приключилось несчастье...»

— Может, не пойдешь сегодня на работу, Ефимовна? Сбегаю, скажу сестре Елене, чтобы передала на комбинат, мол, приболела. А?

— Не надо... сестра.— Все же тяжело было выговаривать это слово: «сестра».

— Смотри сама. Вставай, чаек готов. Вставай, Ефимовна! Мане доброе слово скажи, изошлась слезами, глупая... Вот ведь приключение!

Ее трясущиеся обвислые щеки стали отодвигаться от Татьяны. Они тоже были безжизненны в сером свете утра, как отрубленные пальцы Виктора. Татьяна почувствовала тошноту.

Вечером пришел следователь. Когда Татьяна возвратилась с работы, он разговаривал с Александрой Тимофеевной. Слезы текли из ее глаз ручьями. Татьяна сразу узнала своего старого знакомого с добрыми голубыми глазами. Она обрадовалась этой встрече, хотя совсем не чему было радоваться. Он тоже улыбался, пожимая Татьяне руку и на некоторое время как бы забыл об Александре Тимофеевне.

— Значит, вы здесь теперь живёте?

— Да. С Нового года, с праздника,— отвечала Татьяна.

— Так и остались в городе.

— Все равно где жить.

— Да, конечно... Вот не ожидал встретиться!

— И работаю там же, в комбинате.

Ей так хотелось сесть с ним рядом и поговорить. Хоть о чем, пусть совсем о пустом. Он как-то странно возвращал Татьяну в прошлое, и хотя прошлое, связанное с ним, было не совсем хорошим, для Татьяны оно казалось более светлым, чем настоящее.

— Это и есть ваша квартирантка? — спросил следователь у Александры Тимофеевны.

— Она, она,— немедленно закивала та.

— Только я одна здесь и квартирую,— добавила Татьяна, неизвестно чему улыбаясь.

— Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вы знаете о... несчастье с сыном вашей хозяйки?

— При мне произошло,— ответила Татьяна, ловя настороженный кивок Александры Тимофеевны.— Лично видела.

— Расскажите, пожалуйста. Садитесь.

«Что ты выиграешь, если выдашь Виктора? — проговорил внутренний голос.— Не забывай, что ты зависима...

Скоро Лену привезешь к себе. Запомни: Виктор колол дрова...»

— Сказ небольшой,— садясь на стул, заговорила Татьяна.— В армию мы его собирали. Она вот, хозяйка. Он ее сын. Ну и я тоже, раз здесь живу. Белье готовили, все другое в дорогу. У нас мужчин больше нет, одни мы, только Виктор. Он хотел дров наготовить, чтобы нам потом легче было. Вчера мы вместе с ним кололи, вечером... А сегодня... я как раз кур кормила. Взял он чурку... а она, эта чурка, так,— показала рукой,— вывернулась. Да по пальцам и махнул! У меня чуть сердце не разорвалось от страха. Ей-богу!

— Понимаю. Вы кур кормили, видели?

— Да.

— А курятник где?

— Рядом. Пристрочка. Это и есть курятник.

— Скажите, а он накануне или утром не выпил чего?

— А чего? — не поняла Татьяна.

— Водки. Или вина.

— Не-е-ет! Он не пьет! Он же шофер, второго класса. Ему пить нельзя! Ни в коем случае.

— Да, конечно. И потом что?

— Увезли в больницу. Я только что с работы, хочу сходить к нему.

— Вы знаете где он?

— Нет.

— Куда же вы пойдете?

— В городскую больницу. Я бывала там.

— Он сейчас в железнодорожной больнице. Когда вы пойдете?

— Да сейчас прямо.

— Я провожу вас до автобусной остановки с вашего позволения.

Александра Тимофеевна собрала что-то в узелок, передала Татьяне. Она уже было совсем успокоилась, видя, как складно Татьяна отвечает следователю. Но снова волнение появилось в ее глазах. Они пойдут вместе. Не проговорится ли в чем ее квартирантка? Напротиться третьей она боялась, это могло вызвать у следователя подозрение.

Когда они вышли во двор, следователь попросил показать, как стоял Виктор и где находилась Татьяна в момент несчастья. Сначала он стал на место Виктора,

взял в руки топор. Затем зашел в курятник, выглянул из него. И, кажется, остался удовлетворен осмотром. На чурке виднелось несколько капель крови.

На улице он сказал:

— Проедете автобусом до парка, там придется пересестись на вокзальный. Кажется, он ходит под пятым номером.

— Найду.

— Да,— но не сказал «конечно». Вместо этого спросил:

— Было светло, когда все случилось? Я имею в виду, хорошо ли вы видели, что чурка качнулась.

— Светло! Я же рядом была.

Он помолчал. И доверительно признался:

— Если бы не повестка в армию, то... Конечно, стечение обстоятельств может быть самым неожиданным!.. Отчего вы ушли от своей тетушки?

— Так,— неопределенно ответила Татьяна.

— Ругалась она с вами?

— Всякое бывало.

— Значит, было за что ругать?

— Было однажды,— она обрадовалась, что может перевести разговор на другое. Иначе, чего доброго, скажешь не то, что надо. По его голосу Татьяна догадывалась, что следователь пришел к выводу: случайность.— Наш комбинатовский парень стал заходить, просто знакомый. Тетка и прицепилась. А мне он что есть, что нет.

— Зачем же он ходил?

— Кто его знает!

— Холостой?

— Пока что да.

— Вы и сейчас... видите его иногда?

— Нет.

— Отчего же?

Кажется, следователь сожалел, что до автобуса так близко. Татьяна быстро поднялась на подножку, проговорив в ответ на вопрос: «Как-нибудь в другой раз расскажу». Она села так, чтобы следователь не оказался рядом. Когда сошла у парка, его уже не было видно.

В этот день она окончательно вошла в сделку с совестью.

Хотя Дугин не показывался на улице Заводской, мало кто знал где он, что делает, разговоры о нем в общине не прекращались. На каждом собрании проповедник неизменно призывал молиться за «заблудшего брата Николая». Это был определенный, довольно тонкий тактический ход, вызывавший жалость к Дугину. Любое отлучение, самое скандальное, определенно со временем забылось бы, потеряло краски и значимость, но постоянная память о нем была как незаживающая рана.

С некоторого времени и Татьяна прониклась к Дугину этой жалостью. Ей хотелось повидать Николая Михайловича, узнать, как он живет, почему так решительно порвал с общиной, хотя и понимала истинную причину.

Виктора выписали из больницы через неделю. Единственным связным между ним и домом всю неделю была Татьяна. Она и шла за ним, чтобы привести домой. Виктор лежал на больничной койке словно мертвец — бледный, с заострившимся носом, совершенно безучастный ко всему. Сквозь повязку на руке просочилась кровь и виднелось бурое пятно. Он посмотрел на Татьяну так, будто жалел, что еще жив, что приходится кого-то встречать, о чем-то думать, чего-то ждать.

— У него сильное нервное потрясение, — сказал врач, когда Татьяна вышла из палаты после своего первого посещения. — Слишком сильное для такой травмы.

Дело было не в двух пальцах. Виктор боялся, что его уличат, будут судить, посадят. Что толку, если и станут за него молиться братья и сестры? В тюрьме он не насытится их молитвами. На третий день к нему в больницу приходил следователь. Интересовался здоровьем, самочувствием, спросил, как все произошло. Его приход еще больше усилил страх. Он считался «ходячим» больным, и когда Татьяна снова пришла, Виктор увел ее на улицу, в самый дальний угол больничного двора, где никто не мог подслушать, и выспросил все, что она знала в связи с его болезнью. Кажется, он успокоился, но когда прощался, в глазах снова появился страх.

— Больного забирать пришла, — сказала Татьяна в проходной, придя в воскресенье за Виктором.

— Паренька?— переспросила дежурная няня.— Ждет уже.— И посочувствовала: — На всю жизнь калека. Такой молодой — и на тебе!

Виктор вышел в проходную с папироской. Увидев Татьяну, он растерянно опустил руку, спрятал папироску за спину.

— Куришь никак? — удивилась Татьяна.

— Балуюсь,— смутился Виктор.

— Нельзя же!

Она заметила, как Виктор пристально посмотрел по сторонам, когда они вышли на улицу, и предложил пойти домой пешком, по линии. Сказал, что от автобусного шума у него болит голова.

Весна уже основательно принялась за работу, ржавчину железнодорожной насыпи пятнами атаковала зелень пробивающейся травы.

— Пора огороды копать,— сказал Виктор и покосился на забинтованную руку.

— Болит? — Татьяна перехватила его взгляд.

— Нет. Странно только, чего-то не хватает.

— Теперь всегда не будет хватать.

— Привыкну. У нас один без ноги лежал. С фронта еще инвалид. Девятнадцать лет ему было, когда оторвало. Говорит, привык.

— Машиной уже не сможешь управлять,— вздохнула Татьяна.

— Смогу. Днем директор автобазы был, вместе с парторгом. Сказал: лечись и выходи на работу. На «Волге» без меня никто не ездит.

— Хорошо бы!

Они оба враз умолкли, остановились. Навстречу по линии шел Дугин.

Как собиралась Татьяна встретиться с ним, но сейчас с удовольствием перешла бы на другую сторону, будь это улица, куда угодно, лишь бы он не увидел ее. Встреча с Дугиным не обрадовала и Виктора. Они приближались друг к другу, торопливо придумывая, что сказать такое, чтобы побыстрее разойтись.

Дугин выглядел хорошо. Шел он бодро и, кажется, был в превосходном настроении. Во всяком разе, он улыбался.

Поздоровались.

— Вот,— сказала Татьяна,— из больницы идем.

Он вроде пропустил мимо ушей ее слова. Он действительно смотрел на Татьяну с радостью.

— Сколько раз вспоминал о вас! Поля так хотела повидаться. Как живете-то, Татьяна Ефимовна? Надюша все просит: позови тетю Таню в гости.

Она не совсем стройно отвечала, что живет хорошо, благодарит за внимание. И опять сказала неизвестно к чему:

— Виктора выписали. Домой идем.

Дугин взглянул на забинтованную руку Виктора. Поморщился. Посмотрел на Татьяну. Он словно прочел в ее глазах все, что знала она, и понимающе спросил:

— Два пальца?

— Два,— ответила она.

— В армию не захотел идти.

Она чуть не сказала «да», но вовремя удержалась:

— Дрова колот.

— Службы испугался,— возразил Дугин.— Они часто рубят пальцы,— кивнул на Виктора.

Виктор густо покраснел, словно его поймали с поличным на месте преступления.

— Нет, нет,— запротестовала Татьяна.— Я сама видела, как...

— Верю, что видели, Татьяна Ефимовна,— перебил Дугин.— Только причины не поняли.

— Что вы, Николай Михайлович, всерьез думаете? — голос Виктора сорвался, прозвучал тонко, как у молодого петушка.

— Ты помолчи,— строго взглянул на него Дугин.— Помолчи. Меня не обманешь, сам повидал всего довольно. Вот о ней думаю, о Татьяне Ефимовне. Она как там у вас? Вы же кого угодно с ума сведете! Особенно матушка твоя. Да брат Кондратий впридачу. Не бойся,— протянул руку к Виктору,— не выдам. Подожду, когда сам образумишься. Поймешь со временем... Иди-ка погуляй, хочу поговорить без твоего присутствия. Иди, иди!

Виктор покорно отошел.

— Так как же вы, Татьяна Ефимовна, не соблазнились еще верой в их чудеса?

Ее вдруг обидел, возмутил его тон, рассердила вольность обращения Дугина с Виктором. Она обязана отчитываться в своих поступках? К тому же Виктор стоял шагах в десяти и, конечно, слышал их.

— Не думаете вступать в ихнюю общину?

— А вам какое дело, Николай Михайлович? — возразила она, готовая к отпору.

— Мне, вроде, нет никакого дела. Да вас жалко. Помните, вы мне говорили, еще тогда...

— Ничего я не помню!

— Неужели они вас уже обкрутили?

— Как вам не стыдно, Николай Михайлович! — почти выкрикнула Татьяна. — Как не стыдно!

Он опешил, даже отступил на полшага, не зная, как себя вести дальше. Отступив, он, вроде бы, стал на не совсем твердую почву и несколько раз переступил ногами, пока сказал, уже без прежней уверенности:

— Я совсем не думаю о вас плохо. Там, наверно, обо мне всякую всячину говорят, — он определенно имел в виду общину, Татьяна так и поняла. — Мне очень хотелось вас повидать. — Его большие грубые руки не находили места. На какое-то время Дугин показался ей почти таким, каким однажды был у магазина, ожидая Татьяну. Почти. Однако на этот раз его растерянность была другого порядка. Он не выглядел просителем.

— Мне некогда, — сказала Татьяна. — До свидания.

— Что же, если вы так спешите, то до свидания, — ответил он, подавая руку. — Извините, если что не так, Татьяна Ефимовна.

— Ничего, все так, — она не могла уйти, не найдя дороги, пусть тропинки к миру, и почувствовала облегчение, что ей не надо отвечать на его вопросы, следовательно, не надо лгать. А правду говорить она не хотела. Правды, как таковой, собственно, еще не существовало, она должна была определиться через месяц, два, возможно, через год.

— Извините.

— Ничего, Николай Михайлович.

— Заходите как-нибудь.

Но он забыл сказать, куда же заходить, где искать его, если бы Татьяна и надумала навестить Дугиных. Она смотрела вслед, пока Дугин дошел до будки стрелочника, свернул с дороги и скрылся в сумятице разбросанных по парку домов железнодорожников.

Стоял и Виктор. Татьяна встретила с его усталыми глазами, в которых еще витали тени страха. Она попыталась успокоить Виктора:

— Ничего Николай Михайлович не знает, на пушку берет!

— Знает! — строго ответил он.

— Откуда?

— Слышали, сказал: «Они часто рубят пальцы». Это про Николая Прилежина и Семена Острякова.

— Как? Разве....

Виктор понял, что проговорился. Что вот так же, где-то в разговоре обронит случайное слово, и его «секрет» перестанет быть тайной для окружающих. Кто-то расскажет другому, тот третьему. Пока дойдет до милиции, до военкомата. Пот выступил у него на лбу: как же он неосторожен!

— Говорят,— ответил он,— не знаю правда ли.

— А ты не верь всяким сплетням,— ответила Татьяна, с усилием удерживая равновесие в разговоре. И строже, по-родительски добавила: — Запомни раз навсегда: колол дрова. И все!

Она не собиралась стать над Виктором властительницей, он сам отдал себя под ее команду и защиту всего лишь одной внешне ничего не значащей фразой:

— Спасибо, Татьяна Ефимовна!

Понятно, встреча с Дугиным и разговор — во всех подробностях,— сразу же стали известны Александре Тимофеевне. Она плакала от радости, что Татьяна так «отбрила» Дугина. Слезы не давали ей говорить, и Александра Тимофеевна лишь смотрела на Татьяну с преданностью умного животного, которое не способно выразить свои чувства человеческой речью. Она тут же произвела наличный расчет за доброту квартирантки: открыла сундук, вынула отрез шерсти на платье. Бордовая материя казалась коричневой в складках, а на изломах алой, словно на ней выступала кровь Виктора.

2

Старая Марфа, караульщица и хранительница молитвенного дома, совсем занемогла. Татьяна затопила плиту в ее маленькой комнатушке, вскипятила чай, подмела. Старуха следила за нею глухим тоскующим взглядом.

— Посиди,— попросила Марфа. И просто, как о совсем обычном, сказала: — Помру я скоро.

— Страшно, наверно, смерть ждать? — Татьяна подтолкнула ей под бок одеяло, поправила подушку.

— Нет,— отозвалась Марфа.— Все там предстанем.

— Все,— согласилась Татьяна.

— Я свое отжила... не жалуюсь.. Восемьдесят три года.

— Дети-то есть?

— Был сын — помер.

Она долго лежала с закрытыми глазами. Татьяна подумала, что Марфа заснула и хотела уйти, не будить ее. Заходя за ведрами, когда мыла полы в молитвенном доме, Татьяна изучила нехитрый запор дверей комнатки и могла сама закрывать за собою. Но Марфа не спала. Она открыла глаза, посмотрела на Татьяну:

— Второй день святая не кормлена... скажи сестре Лексandre.

Похоже, она бредила. Татьяна тихо переспросила:

— Какая святая?

— Левона.

Татьяна ничего не поняла. Видно, старуха действительно забылась, говорит что-то неразумное.

— Скажу, скажу,— пообещала Татьяна вставая. И внезапно вспомнила невольно подслушанный разговор между Виктором и Маней. Как-то он вернулся слишком поздно, за полночь. Разуваясь у порога, сказал Мане: «Все в порядке. Привез святую». — «Какую?» — спросила Маня. — «Левону», — ответил Виктор. — Она еще совсем молодая оказывается». — «Ты раньше никогда ее не видел?» — спросила Маня. Виктор ответил, что даже не знал, у кого она обитала. Скажи он: «жила», значит разговор шел о живом человеке. Но слово «обитала» ничего не пояснило Татьяне. Возможно, Виктор перевез с одного места на другое какую-то картину — изображение святой Левоны, — или скульптуру. Через полчаса пришла и Александра Тимофеевна. Прямо с порога проговорила: «Перевезли пригожую, слава богу. Так волновалась...» — фанерная дверь пропускала из кухни в комнатку каждый шорох. Судя по тому, что перевозом занимались ночью, выходило, «святую» нежелательно показывать случайным людям. И вдруг теперь: «Второй день святая не кормлена!» Значит, она есть! Значит, она где-то близко, коли Марфа знает о ней. Кто же она такая? Или: что же это такое — святая?

Татьяна не могла уйти, она опять села около Марфы.

— Скажу обязательно. Чем кормите-то ее?

— Молочка ношу... хлеба... что есть.

— Давайте я, — сердце отчаянно забилося, — давайте я покормлю?

— Чего? — протянула Марфа. — Лександре скажи.

— Давайте, отнесу, — настаивала Татьяна.

— Нельзя тебе.

— Отчего же?

— Рано... рано, сестра.

— Она же голодная, Левона! — попыталась Татьяна убедить Марфу. — Разве можно два дня не кормить?

Старуха закрыла глаза. Татьяне стало страшно: закроет вот так и скончается. Она смотрела на ее известковое лицо, на пепел волос, на слабые движения впалой груди и невольно отодвинулась, точно Марфа уже скончалась.

Татьяна еще посидела минут пять. Следовало уходить, идти к Елене, шить рукавицы. Пусть Марфа лежит одна. Но в голове назойливо кружилось: «Что же за Левона? Где она, какая? Может, старуха скажет еще что-нибудь? Посмотреть бы на эту «святую». Пожалуй, первый раз ей сегодня не хотелось идти к Елене, не хотелось зарабатывать лишнюю пятерку или тройку денег. Татьяна уже почти рассчиталась с Александрой Тимофеевной, но сколько предполагалось покупок! Ей не хотелось уходить не только потому, что она не разузнала ничего определенного о «святой». Она поймала себя, наконец, на внимании к этой маленькой и низенькой, однако весьма уютной комнатке Марфы. На пристальном внимании, можно сказать. Вероятно, здесь всегда жил покой. Можно войти, задвинуть планку засова на двери, сесть на стул и сидеть, ни о чем не думая. Или лечь. Или ходить из угла в угол: ходьба удивительно успокаивает, отсеивает посторонние мысли и сосредотачивает на главном, как, вбирая в себя массу солнца, увеличительное стекло выдает лучик концентрированного света и тепла. Еще лучше, жить здесь с Леной...

— Ты не ушла? — тихо спросила Марфа. — Иди, позови сестру... Лександру.

— Ладно.

— Иди... поспеши.

Идти не пришлось. Александра Тимофеевна явилась

сама. Она взглянула на Татьяну и, похоже, вздохнула с облегчением: здесь! Подошла к Марфе, глянула на нее, спросила:

— Плохо, сестра?

— Сил нет,— ответила Марфа, не открывая глаз.

— Ослабела ты,— сказала Александра Тимофеевна.— Ослабела.

Слова сами сорвались с языка Татьяны:

— Левона не кормлена второй день.

Александра Тимофеевна вздрогнула, но сумела не выдать себя, отошла в сторону, остановилась, обдумывая что-то. Понятно, ее удивило, что Татьяна знает о «святой», в то же время она подумала, что рано или поздно Татьяна должна узнать.

— Покормлю,— ответила Александра Тимофеевна, все еще обдумывая, откуда Татьяне стало известно о Левоне и как теперь вести себя. Она уже недели две сама ходила кормить «святую», старуха Марфа плоха, не приспособить ли Татьяну к этому делу? Словно кадры в кино, мелькнули в голове события всех дней жизни Татьяны в доме Александры Тимофеевны: смиренная, разговоров лишних не ведет, послушная, Виктора не выдала, Дугина слушать не стала... И решила: можно и тут довериться. Если выстоит,— готовить к крещению. И радость озарила ее лицо, колыхнула обвисшие щеки: Господи! Неужто так быстро? Да кого? — такую, перед которой сам пресвитер терялся, уходил с ее глаз. Истинно возликуют «братья» и «сестры», увидев столь дивное чудо приобщения Татьяны.

— Давайте я помогу вам,— смиренно попросила Татьяна.

— Помоги,— согласилась Александра Тимофеевна.

Это было простое любопытство. Но когда Александра Тимофеевна налила кружку молока, отрезала от булки кусок, достала из кармана несколько конфет, любопытство уступило место чему-то другому, что нельзя было назвать ни страхом, ни удивлением, хотя в этом новом чувстве обозначалось и то и другое.

Решив, Александра Тимофеевна посчитала нужным подготовить Татьяну ко встрече со «святой».

— Вишь какое дело, Ефимовна,— она избегала лишний раз называть Татьяну «сестрой»,— сироту подобрали. Восемь годков ей было. А по разуму, что старушка. Про

видение рассказывала. Будто ночью раз сам господь подошел к ней и сказал: «Отрекись от сует, посвети себя молитве и вере». Так и сказал. Жила она у нас года два, все молитвы наизусть знала. И опять видение ей случилось. Молилась, и вдруг упала, забилась, кричит кто знает что. Когда отошла, стала просить: «Спрячьте меня от людей, от свету. Хочу день и ночь с господом богом жить, только его видеть, с ним говорить». Как же не исполнить ее волю? Исполнили. По всем порядкам. Года три у Василисы жила, потом пришлось в другое место перевезти. Дознался кто-то, слух пустил, мол, насилье совершается... Господи милостивый, не дадут и волю сироты исполнить! Люди теперь — один другому суший враг.

— Потом сюда перевезли, зимой,— сказала Татьяна.

— Сюда,— кивнула Александра Тимофеевна.

— Тут лучше.

— Всегда при нас. Сберегаем ее, кормим да поим. Теперь она уже настоящая святая, пять лет к людям не выходила, свету не видела. Молимся за нее.

Трудно сказать, сколько было в Александре Тимофеевне настоящей веры и сколько лицмерия, но она умела обо всем говорить так, что нельзя было не верить ее словам. И Татьяна поняла, что испытывает именно страх перед встречей с Леоной. Разрешит ли Александра Тимофеевна посмотреть на «святую»; ведь это уже сам по себе подвиг — просидеть без людей и света более пяти лет!

— Возьми фонарь,— сказала Александра Тимофеевна.

Татьяна подчинилась словно приказу перед боем, чувствуя, как задрожала ее рука. Чиркнула спичку, зажгла фитиль. Опустила стекло фонаря. Все было готово, и неизвестно почему Александра Тимофеевна медлила. Она подошла к Марфиной кровати, постояла, потом отодвинула ее вместе с Марфой. Отбросила в сторону старую обувь, тряпки. Там был вход в подвал: квадратное отверстие, закрытое досками.

Татьяна спускалась второй, следом за Александрой Тимофеевной, протягивая руку с фонарем, чтобы были видны перекладины лестницы. В свете фонаря темнота казалась еще более густой, вязкой, даже липкой от сырости.

В подвале стояла пустая бочка, фанерные ящики — штук пять, один на другом. За ними оказался вход как бы в следующую комнату, в такой же темный каземат подвала, как и первый. Свет выхватил угол стола, почти прямо перед входом, справа — угол койки. Но странно, сыростью здесь пахло меньше и воздух оказался не таким спертым. Татьяна силилась разглядеть, где же «святая», и чуть не выронила фонарь, когда справа, совсем рядом, странным видением вышла из темноты девушка. Именно видением показалась она Татьяне — худая, со слишком белым лицом и распущенными волосами, с протянутыми вперед руками и пустым взглядом.

— Мир и любовь тебе, Левона матушка,— сказала Александра Тимофеевна.

— Кто с тобой пришел? — спросила «святая».

— Сестра Татьяна.

— Я ее не знаю,— ответила Левона. Она шагнула ближе, дотронулась рукою до груди Татьяны, провела ладонями до плеч. Помедлила, как бы прислушиваясь.

Теперь Татьяна хорошо смогла разглядеть «святую». Ей было лет пятнадцать-шестнадцать. Ее можно было сравнить с ростком, выросшим в подполье, никогда не видевшим света, столь она была болезненно бела. И слишком худа; кожа, казалось, просвечивала, выдавая на руках линии вен. Она подняла руки и прикоснулась к лицу Татьяны. Как-то уж слишком легко скользнула концами пальцев по подбородку, по щеке, к виску, дотронулась до волос. Похоже, она осталась довольна знакомством, на ее лице появилось нечто вроде улыбки.

— Поешь, Левона матушка,— сказала Александра Тимофеевна.

— Не хочу,— ответила та. Голос ее был таким же светлым и хрупким, как и она сама.

— Нельзя без еды.

— Зачем она?.. Сегодня ко мне ангел прилетал. Сказал: господь меня к себе зовет. Даров небесных принес, сыта я.

— Молочка попей.

Хорошо, что Левона ничего не спросила у Татьяны. Она не смогла бы ей ответить ни одного слова. Святая эта девушка или нет, но она живая, существующая, добровольная узница. Татьяну знобило. Она уже привыкла к мятому свету фонаря и разгледела табуретку около

стола, кастрюлю на столе, вероятно с водой. На кровати лежали матрац и подушка, кое-как прикрытые байковым одеялом. Под потолком тянулась железная труба, от которой и шло тепло в подвал, а над входом виднелась дырка, уходящая в потолок. Видно, дырка служила вентиляционным выходом для воздуха.

Озноб не проходил. Под сердцем что-то давило, и Татьяна с трудом держалась на ногах. Неужели это живое существо действительно несколько лет томится в подвале, без солнца, цветов, не слыша людской речи? Кто обрек ее на столь страшное одиночество и для чего это сделано? Нет, Татьяна никогда не смогла бы согласиться на такую пытку. А вдруг она в самом деле святая, эта Левона? Может, действительно бог сохранил кого-то для живого примера заблуждающемуся человечеству? Но Левона соткана из той же ткани, что и Татьяна, что и Александра Тимофеевна. Она ест и пьет, чтобы жить. Она говорит человеческим голосом. Значит, она человек. Только лишь выше или особенней других своим подвигом во имя религии. «Восьмилетней сироткой нашли ее.— Забили голову богом, увели из мира, сделали «святой».

Татьяна удивилась, что именно в этот момент, когда надо падать ниц и целовать ноги Левоне, в ее голове собрались столь безбожные мысли. Но они находили и находили, сменяя одна другую, вызывая протест против столь жестокого обращения людей с таким же человеком, как и они. Не убей, не сотвори зла, люби ближнего, как самого себя,— этому учит религия. А Дугин отлучен! А Виктор отрубает пальцы, чтобы не идти в армию! А девушку, еще ребенком, сдают в подвал! Больную Маню никто не думает сводить к врачу. И к умирающей Марфе не позовут врача. Как же всё это? Послушание и молитва, молитва и послушание. Если бог есть, он должен видеть, что люди злоупотребляют его именем, становятся религиозными варварами. Или бог бессилен сдерживать верующих, стал стар и дряхл, отдал все на откуп таким, как пресвитер Кондратий, Александра Тимофеевна? Ей снова подумалось, что бог слишком доступен. Ему можно поклоняться, но его можно и обойти, отвергнуть. Ведь распяли же римляне Иисуса Христа! Какой он бог, если поддался простым смертным, которых он сам сотворил, вдохнул в них жизнь и пустил в мир? Что же ему молиться, просить о помощи, когда он не спо-

собен защитить самого себя. И есть ли в том грех Виктора, поднявшего руку на себя, или это грех бога, который не сумел сделать ровным счетом ничего, чтобы уберечь Виктора от службы в армии, толкнул его на преступление.

Она с трудом остановила поток дум, торопливо забывая их молитвами. «Господи, всевидящий и вездесущий, сохрани и помилуй мя во житии и помыслах... сохрани и помилуй меня...» Но слова были чужими и звучали мертво, как погребальная речь над уже засыпанной могилой, которая, по сути, совсем не нужна ни живым, ни мертвым.

3

— Татьяна! Что написать от тебя Варваре Петровне? Женщины кучей сгрудились над столиком в буфете. Татьяна поднялась, подошла, но пробиться к столику не смогла.

— Пиши: жду! Чего же еще.

— Очень ждет вас также и Татьяна Высотина, — поправила Агнесса. — Приезжайте скорее.

— Все равно к маю не успеет, — возразила Клавдия.

— Числа пятого вернется, не раньше.

— В Москву в министерство заедет...

— Обязательно. А то и к дочери...

— Шесть месяцев дома не была!

— Тебя не видела, да?

— Тише! — выкрикнула Настя. — Что еще писать? О погоде не надо? Или, что план на неделю раньше выполнили, надо?

Снова враз заговорило несколько голосов:

— Приедет, узнает!

— К чему ей погода...

— Про себя напиши, Настя, что свадьба на праздник!

— Пусть скорее возвращается!

— Девки! Пять минут осталось до конца перерыва!..

— Ясно, ставь точку.

Возвращение Варвары Петровны радовало и пугало Татьяну. Больше пугало. Она определенно узнает, что Татьяна связалась с баптистами, ходит на их собрания, будет ругать за это. Подумает, что Татьяна и Настю соблазнила. И простила ли за старое, за Василия? Варвара Петровна в ее глазах была справедливым, но стро-

гим судьей. За Настю она обязательно станет ругать. Хоть первой Агнесса завела Настю в дом Елены, а несколько дней назад и в молитвенный дом, Татьяна не останется в стороне. Вчера она тоже, как говорится, положила руку к будущему Насти. Вопреки желанию. После работы Агнесса задержалась с Настей у Елены. Попросила остаться и Татьяну.

— Твой совет хотим услышать,— сказала Татьяна.— Настя замуж выходит, за верующего. Одобряешь или порицаешь? — И тут же сама дала направление разговору.— Хоть пить мужик не будет, как мой дурак. Спокойствие на всю жизнь.

Попробуй при Агнессе сказать, что Настя зря связывается с баптистами, остановить ее. Это немедленно вызвало бы великий скандал. И Татьяна поддакнула, мол, Настя верно решила. И хотя этого было достаточно, Татьяна добавила, что у баптистов самая правильная вера. Самая чистая. Что же, подумала Татьяна, каждый должен сам понимать, куда идет и зачем.

До Первомайских праздников оставалась неделя. Солнце давно растопило остатки снега, и тополя принарядились в желтоватые клейкие листья. С приходом весны Татьяна часто вспоминала Каменку, поля, рыхлую землю на кукурузном массиве, неоглядные дали земли. И каждый раз чувствовала глухую боль от того, что не может поехать повидаться с Марией Звягинцевой, со всеми подругами, навестить бабушку Герасимиху. На денек бы всего,— взглянуть и вернуться.

Возможность побывать в Каменке предоставилась совершенно неожиданно. В конце смены в цех пришел начальник отдела кадров.

— Опять лекция? — недовольно спросила Надежда Прахова.

— К подшефным ехать! — крикнула ей Клавдия. Она, похоже, знала об этом и была довольна.

Короткое собрание состоялось на ходу, в бытовой комнате. Начальник отдела кадров кратко сказал, что комбинат шефствует над колхозом,— это всем было известно! — на полях напряженная пора и надо помочь. Из цеха поедет восемь человек. На шесть дней. Тридцатого апреля они вернутся обратно. Он зачитал приказ. В числе едущих первой шла Клавдия, затем Настя Свистелкина, агнессина ученица, еще одна ученица, принятая месяц

назад. И вдруг Татьяна услышала свою фамилию. Совершенно отчетливо. Она удивленно взглянула на Надежду Прахову, но та стояла молча, терпеливо дожидаясь конца собрания.

Татьяна думала о родной Каменке, часто мысленно ходила по деревне, разговаривала с людьми. Но когда появилась возможность поехать, это вызвало страх. Вот она явится, сойдет с машины, и сразу кто-то узнает ее, окликнет. Начнутся расспросы о жизни, о Григории. А через день все — Клавдия, Настя и другие комбинатские будут знать подробности: как жила, как замуж выходила, за что мужа арестовали и почему Татьяна сбежала из колхоза. Именно сбежала — от стыда, от позора! Обязательно произойдет встреча с Афанасием Петровичем, бывшим председателем. «В известном смысле,— скажет он,— вы не оправдали высокого доверия колхозных масс. При принципиальном подходе, примерно сказать, бывший состав правления ошибся в личности и вашего супруга...» — или что-то в этом роде. А потом она встретится с Кириллом Валуевым, новоиспеченным председателем, бывшим травопольщиком. Ох и резалась она с ним на колхозных собраниях!.. И явиться в колхоз в роли рабочей, помогать Валуеву побыстрее закончить посадку овощных — нет, нет!

Она не успела выкрикнуть «Нет!» когда начальник отдела кадров назвал ее фамилию, но она должна ему сказать. Татьяна ни за что не поедет в Каменку, пусть и на шесть дней. Даже на шесть часов. Нет, нет! Ее никто не уговорит. Она не поедет, слышите? Что угодно пусть делают, но это твердо: она не поедет! Слово «Нет!», родившееся маленьким, как все слова, стало расти, подниматься, заслонять все остальное. И когда начальник отдела кадров выходил, Татьяна пошла за ним. Она вышла во двор, поднялась в контору, вошла следом в кабинет.

— Вы ко мне, Высотина? — он только теперь увидел ее и, кажется, удивился тому.

— Я не поеду в колхоз,— немедленно заявила Татьяна, но совсем не смело, как собиралась сказать.

— Как это не поедете? Другие же едут!

— А я не поеду.

— Вы плохо себя чувствуете?

Она не сказала ни да, ни нет. Она смотрела на пол,

на широкие туфли начальника отдела кадров, на протертую подошвами ковровую дорожку. И молчала.

— У вас есть уважительные причины? — снова спросил он.

— Нет.

Как можно было сказать начальнику отдела кадров, что ей стыдно показываться в Каменке, что эта деревня — боль и совесть ее сердца.

— Итак, вы не желаете ехать, — он начинал сердиться, говорил суше и официальной. — Иначе говоря, вы отказываетесь от работы.

— От работы я не отказываюсь! — поспешно возразила Татьяна.

— Но поездка — это тоже работа! За вами сохраняется заработная плата. Прошлый раз вы не хотели переходить на сортировку, теперь... Знаете, Высотина, мне это не нравится. Будь у вас ребенок, другой разговор. Вы поедете. Машина отходит завтра из комбината в десять утра. Идите.

— Я не могу туда ехать! — чуть ли не выкрикнула Татьяна.

— Скажите почему.

— Я... там я жила... вышла замуж... потом уехала.

— Ах вот что! — он даже улыбнулся — глазами и уголком рта. — Это та деревня, где судили вашего мужа. Что же особенного? Ровным счетом ничего. Вы едете от комбината. Причина отнюдь не уважительная, чтобы ее принять во внимание. Еще что?

— Больше ничего.

Татьяна ушла от начальника отдела кадров вконец расстроенная. Что же ей теперь отрубить пальцы, чтобы причина оказалась уважительной?

— Откажись начисто. Ничего не сделают, — сказала дома Александра Тимофеевна. — Не имеют прав. Помолюсь я за тебя. Обойдется. Витя сегодня на комиссии военной был, — сообщила она. — Бумагу выдали на полное освобождение. Вот радость-то, Ефимовна! Увидел господь нашу нужду, смилостивился.

4

— Где же твои вещи? — Клавдия поставила в проходной чемодан. — Хоть бы платье на сменку взяла,

— Я не еду, — ответила Татьяна.

- Чего вдруг?
- Не еду — и все!
- Освободили?
- Сама не хочу.

Минут через двадцать в цех забежала Настя.

— Не дури, Таня! — с ходу выпалила она. — Сам начальник отдела кадров у машины. Услышал, что ты откалалась, позеленел!

- Пусть зеленеет.
- С ума сошла! Смотри, влетит!
- Ничего не будет.

Следом пришла Клавдия. Но и ее уговоры не подействовали. «Нет!» заслонило собою все, отгородило Татьяну от окружающего невидимой стеной. «Я помолюсь за тебя», — сказала вчера Александра Тимофеевна. Татьяна не приняла всерьез ее слова. Но сейчас и они были явной частью в арсенале сопротивления. «Господи всевидящий и вездесущий, сохрани и помилуй мя в жизни и помыслах...» — молитва зажурчала мутным ручейком. Помог же господь зачать Елене ребенка? Не он ли остановил в пьянстве мужа Агнессы? «Господи всевидящий и вездесущий...»

Но нечестивый оказался рядом, тут как тут, лишь только речь зашла о боге. «Ты веришь, что это господь помог зачать Елене? Неужели ты не видела в книжке у Александры Тимофеевны, что везде; где бог, там, неподалеку от него, стою и я. Я караулю каждый его промах и делаю все по-своему. И делаю не хуже его, поверь. Ты говоришь, что бог уберег Виктора? Глубоко ошибаешься! Бог оказался бессильным. Это я увел Виктора во двор, велел ему положить руку на чурбан и отрубить пальцы. На глазах у бога! Пойми, что может быть для верующего более богохульным, противоречащим религии, чем пролитие самим собою своей крови? Это я толкнул пьяного мужа Агнессы, поломал ему ребра. Я упрятал в темный подвал Левону, лишил ее земных радостей, на зло творцу. Я скрежещу зубами, когда вижу светлые лица людей, слышу смех и песни. У меня такая служба — делать все наперекор богу. Запомни, я и бог живем в тебе только при твоей жизни, благодаря способности твоего мозга мыслить, верить, понимать или догадываться. С твоей смертью умрет и вера в нас, следовательно, частицы нас в тебе. Когда ты умрешь, ты

превратишься в прах и тлен, в навоз, идущий в пищу земляным червям. И это все, конец. Там, после смерти, только небытие. Ни рая, ни ада, ни золотых шатров и апельсиновых рощ, ни котлов со смолой и горячих скорородок. Бездонная пустота вечности. Боишься? Не веришь моим словам? Хорошо, я дам тебе возможность сопоставить мою власть с властью бога. Я удержал тебя от поездки в деревню. Пусть теперь бог избавит тебя от наказания. Молись ему, если ты веришь в его силу».

Татьяна провела рукою по лицу, отгоняя эти страшные слова. Голова кружилась, и машины то приближались, то отодвигались куда-то, теряя очертания, словно их пропускали сквозь себя стены цеха, и дальше — стены двора.

В обед она взяла всего лишь бутылку кефира и сдобную булочку. Но и эта еда не шла. Кефир, казалось, горчил, а булочка была пресна и пахла мятой. Она старалась ни о чем не думать. Но внутренний голос не давал покоя.

«Еще не поздно,— твердил он.— Я поведу тебя к начальнику отдела кадров и ты расскажешь ему, что не поехала не только потому, что боялась показаться в деревне. Но и послушала Александру Тимофеевну. Помнишь ее слова, когда ты рассказала о предстоящей поездке: «Откажись начисто». Но тебе придется рассказать и о том, что ты зависима от Александры Тимофеевны. Что ты веришь в бога!»

«Верю ли я в него истинно?» — подумала Татьяна.

«Я требую от тебя большой платы,— продолжал голос,— но ты будешь спасена. Тебя простят. Тебе станет легче. Только откровение возвращает человеку покой».

«Нет,— ответила Татьяна,— я не смогу сделать этого. Ведь придется говорить и об Агнессе, о Насте, о Викторе. Откровение должно быть полным. Или о других можно умолчать?» — попробовала она рядиться с голосом.

«Откровение должно быть полным,— ответил голос.— Рассказав о других, ты спасешь и их. Рано или поздно они будут изобличены. Помогите им сейчас».

«Нет,— Татьяна этого не могла сделать.— Нет! — повторила она.— Я не могу идти в отдел кадров. Пусть лучше я сама пострадаю».

«Что же, делай как знаешь. Доверься своему богу. Мы еще встретимся, и ты расскажешь, помог ли он тебе».

Время тянулось караваном в пустыне. Часы замирали на каждой минуте, готовые совсем остановиться, затормозить движение дня, начать счет пустоте вечности. Татьяна запомнила, что была половина третьего, когда вошла секретарша из конторы и протянула ей бумажку. Ей никогда никто из конторских не приносил никаких бумаг, и было странно получить вдруг что-то. Она даже улыбнулась про себя: ей ли? Буквы стояли четко и стройно, Татьяна пробежала по ним, как канатоходец по туго натянутой веревке: «За отказ от поездки в подшефный колхоз сортировщицу цеха № 3 Высотину Татьяну Ефимовну уволить...»

«Уволить!» — это оказалось единственным главным словом во всей бумажке.

Откуда-то вдруг появилась Агнесса.

— Что такое? — спросила она. Но голос ее донесся до Татьяны так глухо, словно Агнесса была в другом конце цеха.

Она тоже прочла. И сказала:

— Иди домой. Вечером...

Татьяна не поняла, что произойдет вечером. Что-то случится. Не важно что, важно другое: Агнесса подала надежду.

«Вечером... вечером...» — твердила она, как заклинание, переодеваясь в бытовой комнате, выходя во двор. Она прошла по асфальтированной площадке от цеха до проходной так быстро, будто асфальт обжигал ей ноги.

Выйдя из проходной, Татьяна увидела Василия. Он стоял около машины, разговаривал с каким-то низеньким толстяком. «Вечером... вечером...» стучали в голове слова. Татьяна даже не обернулась, когда Василий окликнул ее. Он был для нее прошлогодней афишей, каким-то то чудом уцелевшей за зиму под дождем и ветром.

5

Марфа скончалась утром второго мая. Последнюю неделю она не поднималась с постели. Татьяна сутками приглядывала за ней, топила печь, пила чаем с сушеной малиной, сидела рядом как единственная родственница и наследница. Ей довелось и закрыть Марфе глаза, придавить пятаками веки. Разумеется, эту неделю Татьяна

заботилась и о «святой» Левоне. Она с боязнью опускалась в подполье, всматриваясь в темные углы, с болезненным вниманием наблюдала за затворницей. Та сразу угадывала, что приходила Татьяна, и было бы грехом не верить, что Левона не «святая». Ведь она же совсем ничего не видела. Как у всех слепых, ее светлые глаза постоянно смотрели в одну точку, не мигая, всегда чуть выше лица Татьяны.

Увольнение окончательно разрушило мост, через который Татьяна ходила из одного мира в другой. Мост и так был плох, теперь на его месте лежала пустота. Собственно отпала и необходимость бывать на «той» стороне. Александра Тимофеевна восприняла увольнение Татьяны как указание свыше:

— На все бог, Ефимовна,— сказала она.— Проживем и без комбината. Привози-ка дочь, довольно мучить по чужим людям.

И обрадовала желаемым, о чем несколько раз думала Татьяна.

— Хочешь, живи у меня. Хочешь, могу посодействовать, чтобы тебе разрешили перейти в комнату Марфы.

— Если можно,— с откровенной радостью ухватилась Татьяна за ее предложение. Тишина, сад во дворе, покой — что желать лучшего! Лена будет всегда рядом. Три раза в неделю вымыть полы в молитвенном доме да присматривать за «святой» Левонкой — вся работа. Да, да, ей очень хочется перейти в уютную комнатку Марфы.

Татьяна не собиралась стать затворницей, навсегда покончить счеты с огромным миром, лежащим сейчас по «ту» сторону. Но ей надо было переждать, перетерпеть, где-то спрятаться от жизни, пока все наладится, перемелется и покажется новый просвет. Переждать, пока вернется Григорий. Перетерпеть, чтобы сохранить себя и Лену. Спрятаться, чтобы не видеть Варвару Петровну, Дарью Ивановну, Василия, Клавдию — всех! Она не понимала, что это было начало попытки к бегству, подготовленное Александрой Тимофеевной, Дугиным, даже Левонкой, хотя внешне «святая» не принимала в судьбе Татьяны никакого участия. Не догадывалась, что Александра Тимофеевна уже обговорила это с пресвитером, с влиятельными членами общины, что кандидатура Татьяны на место Марфы не сразу получила согласие всех и пришлось несколько раз возвращаться к этому вопросу.

Но все решилось. Татьяна перебралась в новое жилье через день после похорон Марфы. Две ночи у нее спала Маня: помогла осмотреться, привыкнуть. Теперь Татьяна будет жить с Леной.

«Волга» плавно катилась по асфальту шоссе. Навстречу бежали поля, далекие горы опять подошли ближе, им было скучно вдаль от людей, от зелени пашен и крикливых птичьих стай.

— Больно руку? — заботливо взглянула Татьяна на Виктора.

— Нет. Немного непривычно.

— На грузовой не сможешь работать?

— Не разрешат.

— А директор... другого шофера не ищет?

— Что вы, Татьяна Ефимовна! Все время ждал. Сам ездил со мною в автоинспекцию, чтобы они там не возражали. Знаете сколько ему пришлось за меня хлопотать!

Кое-что Татьяна знала. Автобаза представила на Виктора отличнейшую характеристику. Законно или незаконно, ему оплатили время болезни. Помогли отрегулировать взаимоотношения с военкоматом.

— Ты в последнее время стал совсем другим,— сказала Татьяна.

Он коротко взглянул на нее, снова стал смотреть на дорогу.

— Я считала, что ты со мной всегда откровенен.

— А теперь как считаете? — в его голосе послышалась обида.

— Ты от меня что-то скрываешь.

Виктор упрямее склонился над рулем, пристально вглядываясь в дорогу, словно вел не легковую машину по отутюженному полотну асфальта, а тяжелый грузовик, поднимая его на крутой склон косогора. Меж бровей у него легла хмурая складка. Месяц назад этой складки не было. Вместо ответа он спросил:

— Зачем вы берете Лену домой?

— Ей будет со мной лучше.

— А будет ли?

— Там сад... и... — этот вопрос почему-то застал ее врасплох. Разве только из-за сада она берет ее из сана-

тория? Она хочет, чтобы Лена была рядом. Всегда.— Мне плохо одной, без нее.

Он кивнул головой. Складка меж бровей стала расходиться. К чему он сказал, что будет ли Лене дома лучше, подумала Татьяна. Она теперь сама себе хозяйка. Лето, тепло, большого ухода за Леной не надо. Она не хотела сказать даже самой себе, что взять Лену действительно советовала и Александра Тимофеевна. Понятно, из добрых побуждений, но надо ли об этом говорить.

— Слышала, ты собираешься жениться? — она мельком знала это от Мани, не совсем определенно, и спросила, чтобы не говорить о Лене.

— Собираюсь,— ответил Виктор.— Мать нашла невесту.

— Мать?

— Да. Нину Кондрашову. Знаете?

— Зна-аю,— она всегда стоит в хоре рядом с Маней, худощавая смуглая девушка. Только Виктор никогда не говорил о ней, не встречался с нею, намеков не было на любовь.— А как же с той, что в городе, рассорился?

Складка снова легла между бровей Виктора:

— Нет.

— А что?

— Ничего. Все по-старому.

— Ты же любишь ее! Или не разрешают, она мирская.

— Мать против.

— Значит, и конец?

Он промолчал. Татьяна впервые увидела суровость на его лице: где-то незаметно для всех Виктор перешел линию юности и стал мужчиной. Но сможет ли он отстоять свою любовь? Под началом Александры Тимофеевны не так просто обрести самостоятельность. Конечно, он не рискнет ради девушки уйти из дому, бросить мать, сестру, на такой шаг у него не хватит смелости. Похмурится, повздыхает и женится на Нине Кондрашовой. Поживут, привыкнут друг к другу...

Мысли перекинулись на другое. За четыре месяца Григорий прислал одно письмо. Сердится: Татьяна редко пишет. А сам как в воду канул. Письмо на половине странички из школьной тетради: жив, здоров, работает. Еще два с половиной года одной, а там... Наверно кто-нибудь из цеха уже написал Варваре Петровне, что Та-

тяну уволили. Пусть, все равно узнает. Теперь она уже не станет выговаривать за связь с баптистами. Да и связь ли это? Так всего: живет у них, ходит на собрания... «Молитвы выучила, песни,— подсказал внутренний голос.— Подарки берешь. Ухаживаешь за «святой» Леной. В кино не ходишь, книг мирских не читаешь. Скрываешь преступления... Не обманывай себя, это уже связь».— «Но я не собираюсь стать верующей!» — она еще могла позволить возразить самой себе. «Ты станешь верующей! — убежденно ответил голос.— Вера, что моль, она приобретается незаметно».

Елизавета Прокофьевна не удивилась, что Татьяна приехала за дочерью на полмесяца раньше срока. Курс лечения окончен, Лена чувствует себя хорошо, мать истосковалась — пусть забирает девочку.

— Побольше пусть гуляет на свежем воздухе,— наказывала она.— С неделю походит с палкой, а там можно и так... Обязательно укладывайте спать днем на часок, она привыкла здесь. Месяца через два приезжайте, посмотрим, как будет самочувствие.

— Милая ты моя, хорошая,— гладила Татьяна волосы Лены. Она соскучилась по дочери, готова была враз отдать все, что недосмотрено за Леной, недолюблено, осталось как-то без внимания.

Разговоров набралось на всю дорогу. Татьяна рассказала, что теперь они будут жить с Леной совсем отдельно. Во дворе — сад! Можно в нем играть целыми днями. Летом в саду будут яблоки и груши. И сливы: два дерева сливовых.

— Бабушка тоже живет с нами?

— Нет, одни мы. Только с тобой.

— Давай и ее возьмем!

Пришлось выкручиваться: бабушка не может уйти из своего дома, у нее хозяйство. И болеет она, не ходит. И уедет скоро к бабке Фисе. И еще что-то, лишь бы закончить разговор о Дарье Ивановне.

— А на речку поедem? — мечта пережила осень, зиму, весну и была такой же светлой, как почти год назад.

— Поедем. Попросим дядю Витю, когда у него окажется свободное время, и поедem.

— Нет, с дядей Васей!

— У дяди Вити машина лучше! — протестовала Татьяна.

— Пусть! Я хочу с дядей Васей. Ты же обещала!

Выручил Виктор. Сказал, что один раз поедут с ним, другой — с дядей Васей. Выйдет два раза. Лена согласилась. Довольная, она рассказала два стихотворения и пояснила, что в санатории их учили петь. Она знает песню про кремлевские звезды и про мишку плюшевого, который не хотел кушать и потому заболел. И про трусливого зайчишку. Польщенная вниманием, Лена спела про зайчишку. Слова и само пение оказались на редкость наивными. Но они вызвали у Татьяны новый прилив нежности к дочери. Лена ходила без костыля! Она пела! — ничего подобного раньше не было... «Господи, как благодарить тебя,— подумала Татьяна.— Пусть со мной что угодно приключится, хворь какая нападёт, только побереги дочь мою. Ребенок же, глупа, что она видела в жизни?..»

— Я знаю такое место,— сказал Виктор,— просто удивительное. Водопад! Вода из камней выходит и летит вниз метров десять. Брызги кругом, а внизу пена.

— Мыльная? — заинтересовалась Лена.

— Не-ет! Пена от воды.

— Мы поедем туда?

— Можем поехать.

— Обязательно поедем! Слышишь, мам? На водопад!

— Съездим, девочка.

Во дворе молитвенного дома их ждала Александра Тимофеевна. Она насыпала в подол Лене столько конфет, что в ее глазах должна была стать добрее бабушки Дарьи, мамы, всех прочих. Она погладила Лену по голове, назвала «голубушкой» и «сударыней», а потом вдруг прослезилась и чмокнула Лену в щеку.

Виктор уехал. Они втроем пили чай в комнатке Татьяны. Лена опять рассказывала о санатории. Умиленная настроением дочери, Татьяна не сводила с нее глаз.

Но что бы ни говорилось, все это в конце концов как-то связывалось с Василием. Что Лену туда и обратно возили на легковых машинах. Что к ней часто ездили. Что тетя врач Елизавета Прокофьевна разрешала приезжать к Лене всем, а к другим девочкам только мамам. И, как неизбежное, доложила Александре Тимофеевне:

— Скоро поедем на речку с дядей Васей!

— С каким это? — поинтересовалась Александра Тимофеевна.

— С нашим! С моим и маминым.

Татьяна покраснела. Она не успела слова сказать, как Александра Тимофеевна одобрительно кивнула:

— Знаю его. Хороший. Вчера он у нас был, с Виктором заходил. О жизни беседовали. Приятственный человек.

Татьяна хотела одернуть дочь, сказать: никуда они не поедут, нечего думать о дяде Васе. Но это вызвало бы продолжение разговора о нем. И сумела всего лишь обронить:

— Старый знакомый... немного.

— Говорил он,— сказала Александра Тимофеевна.

Что говорил? О чем? Как он говорил о Татьяне? Ей захотелось узнать все: когда приходил, зачем? Знает ли Александра Тимофеевна о настоящих прошлых отношениях Татьяны и Василия? Как он посмел зайти к ним в дом? Думал, что Татьяна все еще там живет? На какое-то время она почувствовала себя как бы деревом в открытой степи, вокруг которого сверкают огненные стрелы молний, способные в любую минуту ударить в дерево, расцечь его, сжечь. Что говорил Василий Александре Тимофеевне о Татьяне? Если такое, что могло не понравиться Александре Тимофеевне, то... ведь Татьяна сейчас полностью зависима от своей бывшей хозяйки! С жильем определена, не работает, а деньги все равно получает, от Александры Тимофеевны. Ну, моет полы, охраняет молитвенный дом, разве это работа для молодой здоровой женщины! Зачем приходил Василий к ним? Что он говорил?

По лицу Александры Тимофеевны она ничего угадать не смогла. После чая они вышли во двор. Лена отправилась осматривать деревья, полоску цветов у молитвенного дома. Татьяна с Александрой Тимофеевной сели у крыльца.

— Так вот о нем,— сказала Александра Тимофеевна,— о Василии хочу еще поговорить. Приятственный мужчина, со всех сторон. Не совсем мое дело, но я такого не гнала бы... Придет когда, так что ж из того? Ты не старуха. Бог простит.

Молнии погасли разом, словно выключенные электрические лампочки. Может, где-то они и натворили дел, но над Татьяной по-прежнему светило солнце. «Ты не старуха! Бог простит»,— это прозвучало благословением душе и плоти.

— Дом теперь только наш, мам?

— Только наш. Одни станем жить. Тебе здесь нравится, доченька?

— Да. А сад тоже только наш?

— И сад. Иногда будут в сад другие приходить. Посидят и уйдут.

— Зачем они будут приходить?

— Просто так. Песни петь.

— Пьяные?

— Почему же пьяные! — Татьяна зря полагала, что Лена не заинтересуется посещением баптистов, пением в молитвенном доме. Ее следовало подготовить к этому. Иногда придется оставлять одну, уходя на собрания; Лену она не собиралась водить с собой.

— Когда же мы на реку поедem?

— Скоро, в это воскресенье. — Теперь мать могла более твердо обещать, Александра Тимофеевна сама подвела к запретному.

— С дядей Васей?

— С ним. Или с дядей Витей.

— Сначала с дядей Васей.

Покой — большой, жданный! — наполнял все до основания, окутывал двор, сад, цветы вдоль стены молитвенного дома, двух новых жильцов, поселившихся в бывшей комнатке Марфы. Он был неосвязаем, как воздух.

Татьяна сидела с Леной во дворе до сумерек. Ей приходили в голову самые разные мысли: о Дарье Ивановне и Варваре Петровне, о Каменке и будущей женитьбе Виктора. Но и мысли были объаты, окутаны покоем, ни одна из них не взволновала Татьяну. Над ними витала главная: можно же отойти от жизни в сторону, остаться наедине с собою! Пусть кто-то проникает в недра земли, в голубую даль неба, спорит на собраниях о качестве продукции, получает награды за труд — Татьяне это безразлично. Ей нужен покой. И покой есть. Его дала община. Религия баптистов действительно не похожа на другие. Правду сказала Александра Тимофеевна: «Никто как следует не присмотрелся к нашей вере».

— Мам, мы будем спать во дворе?

— Нет, в комнате.

— А там мы спали во дворе. Прямо под деревьями, на кроватках.

— Поиграй еще минутку и пойдем.

А не вынести ли в самом деле постель во двор? Страшновато одним. И тут же пришло: Василий иногда мог бы... Она немедленно отогнала эту мысль, страшась и стыдясь даже думать.

«Но ведь Александра Тимофеевна сама намекнула тебе о Василии,— проговорил голос возражения.— Чего же стыдиться?»

Она сказала: «Придет когда, так что ж из того?»

Она добавила: «Ты не старуха, бог простит. Не догадываешься, что она имела в виду?»

— Лена! — крикнула мать. — Пойдем спать. — Ей не хотелось доводить спор до откровения, до обнажения душевного порока.

— Нравится тебе здесь? — который раз спрашивала Татьяна. Ей так хотелось, чтобы Лена похвалила мать за тишину и покой.

Но покой был нарушен самым неожиданным образом. Где-то около полуночи в дверь торопливо постучали. Татьяна не вдруг разобрала откуда стук, и первое, что пришло спросонья в голову, что Левона надумала выйти из подвала. Татьяна замерла, готовая лежать до самого рассвета, не дыша, не выдавая своего присутствия. Нет, она ни за что не открыла бы Левоне выход, если бы «святая» просила, умоляла и проклинала ее одновременно. Но стук, когда он повторился, несся от двери. И голос, очень знакомый:

— Сестра! Отопри...

Татьяна подбежала к окну, различила Елену. Открыла. С Еленой оказалась Маня. Они слишком поспешно протиснулись в дверь, Елена тут же задвинула за собою засов.

— Спрячь скорее! — сунула в руки Татьяне узелок.

— Куда спрятать? — шепотом переспросила Татьяна. Неожиданно на нее напала нкота.

— Где есть место понадежнее... В печку. Дай, я сама. — Выдернула узелок из рук Татьяны, подняла кружки на плите, сунула туда руку, засовывая узелок в дымоходную трубу.

— Господи! — прошептала Маня. — Убежали...

— От кого?

— Дай отдышаться...— Елена подошла к окну, посмотрела во двор, прячась за косяком. Маня различила в темноте стул, села.

— От кого же вы? — Татьяне не терпелось узнать, что случилось.

— Пьяные прицепились,— наконец ответила Елена.— Шли мы с Маней домой, а они...

Камень свалился с сердца. Татьяна бог знает что думала: несчастье какое, милиция кого искала. А за ними всего лишь пьяные гнались! Но дрожь еще долго подергивала голые руки. Что они принесли, почему прятали с такой осторожностью? Как оказались около молитвенного дома, когда обе живут на другой улице?

Они побыли у Татьяны около часа, вконец нарушив покой и оставили новую хозяйку марфиной комнатки с тупой головной болью. Татьяне страшно захотелось узнать, что спрятала у нее Елена. Она понимала, как нехорошо совать нос в чужие дела, но любопытство рождается вместе с человеком, его не всегда удастся держать на крепкой привязи. В узелке оказалась стопка бумаг: листки, размером с ученическую тетрадь. Татьяна не разобрала, что на них написано, положила обратно в тряпку, сунула на старое место.

Видно, она крепко заснула, не слышала, как встала Лена, перелезла через мать, разложила на полу игрушки.

— Покормлю и поведу на прогулку,— сказала Лена.— Салфетки им купила, мишка всю рубашку кашей испачкал.

— Откуда у тебя салфетки? — спросила Татьяна.

— У окна нашла.

— Покажи мне.

Лена протянула листок. На нем четко было отпечатано:

«Во имя господа нашего Иисуса Христа:

Братья и сестры! Наступает время, когда господь требует от каждого человека посмотреть на себя, на жизнь свою и подумать о спасении своей души. Мы много заблуждались, много гневили нашего Иисуса Христа. Но он всемиловит ко своим детям и протянет руку каждому, кто искренне захочет вернуться к нему. Не обольщайтесь земными блага-

ми, помните о вечной жизни после смерти. Сделайте первый шаг по пути ко всевышнему, и господь осенит вас своим вниманием. Не посещайте собраний, не ходите в кино, не читайте газет и не слушайте радио — это пропаганда дьявола. Это его попытки купить ваши души для адской утехы...»

— Мам, дай салфетку!

— Подожди, Лена! — Татьяна опасливо взглянула на окно. Стала дочитывать.

«Молитесь за спасение ваших душ. Не изнуряйте себя работой на производстве, делайте лишь то, что дает заработок на хлеб, ибо всякое перевыполнение норм уже радость для нечестивого...»

— Мам, дай же салфетку! Мишка опять...

Татьяна бросилась к дочери, отобрала у нее листки. Или Елена выронила ночью, или Татьяна обронила их, когда развязывала узелок. «Господи, всевидящий и вездесущий...» Вдруг кто зайдет, увидит! Да ведь это... это против власти! За такое по головке не погладят... Точно такие же листки Дарья Ивановна раза три доставала из почтового ящика, когда еще Татьяна жила у нее. Значит, Елена с Маней... да, да, не от пьяного убегали, а разносили ночью вот эти бумажки. Испугались кого-то...

— Зачем ты у меня их забираешь, мам?

— Не для тебя они!

— Дай хоть одну салфетку!

— Другую дам... потом.

Куда их девать? Достать узелок, положить обратно? Но Лена увидит, пристанет с расспросами. Сжечь?.. Она зажала в руке листки, мучительно обдумывая куда их спрятать, как уничтожить. И обмерла: в дверь кто-то стучал. За листками! — ударило в голову. Милиция! Все... все... конец! Сейчас ее заберут с этими листовками, уведут... «Господи, всевидящий и вездесущий... помоги мне, господи, избежать... не выдай меня, сохрани...»

Господь не мог, не имел права оставить Татьяну одну в столь ужасном положении. Он совершил чудо: сделал из милиционера Александру Тимофеевну. Беда прошла стороной: бывшая комната Марфы вместе с жильцами

осталась в безопасности. Александра Тимофеевна справедливо оценила ситуацию:

— И того бойся и другого — всего бойся. За Маней вчера двое пьяных гнались. Поймают вот так, испортят...

— Не надо... сестра, не рассказывайте, — остановила Татьяна. — Знаю. Вот, — протянула руку с листками. — Растеряли ночью, собрала сейчас. Не попали бы кому чужому на глаза.

Александра Тимофеевна поняла все. Подошла, поцеловала Татьяну в лоб.

— Как за тебя молиться, Ефимовна!

Шла она к Татьяне, понятно, узнать, что думает «сестра» о ночном приходе Елены и Мани. Верит ли, что пьяные гнались. Убедить, если нужно, что гнались, потому, мол, пришлось прятаться. Но необходимость в разговоре сразу же отпала. Листки выдали Елену и Маню, их ночную «работу» и визит к Татьяне. Потому Александра Тимофеевна заинтересовалась:

— Надежно ли спрятала?

— Никто не найдет!

Следовало спокойно возвращаться домой. Но у Александры Тимофеевны была еще одна неприятность, терзавшая душу. Конечно, она могла и повременить, но раз уж зашла, время есть, почему бы не рассказать? Речь шла о женитьбе Виктора. Пора, специальность в руках, от армии освобожден, собой видный и прочее. Невеста на примете. Да вот беда — не согласен! Александра Тимофеевна долго ломала голову, не догадываясь о причине. А вчера все открылось. Сестра Мария видела Виктора с «мирской». Он во всем сознался матери. Что же теперь делать? Виктор наотрез отказался свататься к Нине Кондрашовой. А ведь Александра Тимофеевна уже все обговорила с родителями будущей невестки. Какой срам!

— Подождать надо, — посоветовала Татьяна.

— Хуже еще! Подумает, власть над ним я свою растригла.

— Что же делать?

— Кто знает! Брат Кондратий пробовал беседовать, да без толку. Может, ты, Ефимовна, поговоришь? Слушает он тебя, уважает.

— Поговорю.

— Не откладывай. Пришлю его к тебе.

...Покой! Каким он бывает на самом деле? Что люди подразумевают под этим словом? Безмолвную тишину могилы или толстые стены монастырской кельи, радость жизни или отрешенность от всего земного? Тихая комната Марфы оказалась слишком легко проницаемой для желающих нарушить идиллию покоя. Татьяна с горечью убеждалась в этом.

2

Игра обещала оказаться крупной. Сводя Татьяну с Василием, Александра Тимофеевна бросала на кон главный козырь, собираясь получить солидный выигрыш. На этот раз она не стала советоваться с пресвитером, взяла инициативу в свои руки.

Оснований для этого оказалось достаточно. Татьяна вполне «приручена». Знает о делах общины значительно больше, чем положено знать рядовой верующей. Умеет видеть и молчать. Во всем зависима от Александры Тимофеевны. На худой конец, понимает безвыходность своего положения. В двадцать шесть лет ублажать плоть молитвами дело весьма трудное, где-то Татьяна может сорваться, войти в такую связь, что после не расхлебашь. Почему бы ей не встречаться с Василием? Они уже были близки, старую табуретку починить легче, чем сделать новую. Будет встречаться, определенно войдет во грех. Станет грешить, станет молиться, замаливать грехи. Это хорошо; больше молитв, ближе к богу. Замуж выйти за Василия она не сможет, муж жив и здоров, это тоже терзание.

Теперь о Василии. Виктор называет его «хорошим мужиком». Виктор умеет разбираться в людях. Муж Елены работает с Василием вместе, лучшего мнения о нем. Сама Александра Тимофеевна посмотрела на этого «хваленного», осталась довольна: скромненький, приличненький, не молод, чтобы глупостями заниматься. Только курит. Не беда, бросит при надобности. Хочет он того, или нет, но Татьяна что-то будет рассказывать Василию об общине, значит, о религии, о боге. Он не станет смеяться над ней, боясь нового разрыва. Будет слушать. Привыкает. Заинтересуется собраниями, попросит разрешения побывать, посмотреть... Не этим ли надежным и испытанным путем вошли в секту Михаил Кулешов, Вла-

димир Троицкий и Афанасий Горелов! Дорожка достаточно проторенная.

Нет, Александра Тимофеевна не собиралась держать Татьяну веки вечные в комнатке Марфы. Где-то в зиму Татьяна должна снова пойти на работу. Но уже не просто сама собой, а «сестрой во Христе», пропагандистом от баптистов. Не на текстильный комбинат. А, положим, в заготконтору, на овощную базу, где работают почти одни женщины. Кстати, там экспедитором «брат» Леонид Мирошин. Он помог устроиться на базу «брату» Филиппу Борзикову и «сестре» Евдокии Фроловой. Посодействует и Татьяне. Будет группа, можно помышлять о вовлечении новых «братьев» и «сестер». А пока — надеяться и ждать. Быть сеяльщиком, если заботиться об урожае.

3

Встречу с Василием Татьяна обдумывала слишком старательно. Даже пристрасно. Стоило Александре Тимофеевне приоткрыть заслон, поток дум и скрываемых желаний хлынул в отдушину, размывая на пути все, что казалось столь прочным, почти нерушимым. Зачем было обманывать себя пустой выдумкой, что Василий ей совершенно безразличен! Он всегда был рядом, даже тогда, когда Татьяна неделями не видела его. Как же добра Александра Тимофеевна! Не ей, не Татьяне нужен Василий, а Лене. Дня не проходит, чтобы Лена не говорила о нем. Но за внешней оболочкой билось другое: и ей, Татьяне, тоже нужен он. Пожалуй, не меньше чем Лене. Только она много старше дочери, умеет не выдавать себя.

Вышло что-то похожее на смотрины. С Василием пришел Виктор. Встречала его Татьяна вместе с Александрой Тимофеевной. Он вошел во двор молитвенного дома, вероятно, достаточно подготовленным, чтобы ничему не удивляться, ни о чем не расспрашивать. И это ему удалось. Василий поздоровался так, словно был здесь вчера, позавчера, много дней и месяцев подряд. Александра Тимофеевна сочла возможным удалиться, оставив стражем над Татьяной и гостем Виктора. Но караулить оказалось некого. Лена немедленно завладела Василием. Она была рада его приходу больше всех.

— Дядя Вася, когда поедem на речку?

— Хоть завтра, — смеясь, отвечал он. — Когда мама захочет.

— Давайте завтра!

— В воскресенье, — сказала Татьяна.

— Нет, завтра!

— Дядя Вася работает, днем ему некогда. А в воскресенье свободей.

— В воскресенье ты уйдешь песни петь! — выдала она мать.

— После песен и поедем.

— А я хочу утром!

Пришлось вмешаться Василию:

— Успеем и после песен. Два часа до речки, два обратно, три часа там — как раз управимся. После обеда лучше: вода теплее, купаться будем.

На том и порешили не к полному удовольствию Лены.

Василий пробыл с час. Сказал, что к дороге придется хорошенько подготовить машину — два дня осталось! — и ушел. Он принес и оставил доброе настроение, которого так не хватало Татьяне в последние дни. Именно он хранил и носил с собою ту частицу, быть может, тепла, человеческого света, радости, либо уверенности в жизни, может, еще чего-то, не объяснимого словами, без которой покой так же неполноценен, как небо без солнца.

Два дня назад поездка была желанием. В воскресенье она стала потребностью. Если бы что-то произошло с Василием или с его «москвичом» и поездка не состоялась, Татьяна была бы удручена не меньше Лены. Она поднялась перед рассветом, подбила тесто, затопила плиту, и когда солнце осторожно заглянуло в окно, на столе лежала куча румяных, улыбающихся пирожков.

— С творогом — мой. С мясом — тебе. С капустой — дяде Васе, — сортировала Лена. — А компот кому?

— Всем поровну.

Татьяна испытывала большую радость, чисто женскую, что может кого-то вкусно накормить, увидеть улыбку на лице человека, тронутого ее заботой. И, разумеется, блеснуть умением готовить приятные вещи. Сколько раз приходилось ей вставать так же вот, задолго до рассвета, варить, стряпать, собирая на работу Григория!

Только они никогда с ним не ездили ни на речку, ни в горы — в деревне это не принято.

Александра Тимофеевна позволила поехать утром, пропустить одно собрание: Левону она сама покормит. Татьяна наотрез отказалась. Как это не послушать проповедь воскресного дня! Тем более перед дорогой. Она поймала себя на том, что боится навлечь немилость бога или пресвитера, если во время собрания будет находиться не в молитвенном доме, а в дороге, с мужчиной, думая совсем не о святости.

«Вот ты уже и верующая,— сказал ей внутренний голос.— Я был прав».

«Это еще ничего не значит,— возразила Татьяна.— Я могу и не пойти на собрание».

«Ты этого не сможешь сделать».

«Мне разрешила Александра Тимофеевна»,— других козырей в ее колоде не оказалось.

«А сама рискнешь разрешить себе такое?»

На это Татьяна не смогла сразу ответить.

«Да, я был прав,— повторил голос.— Ты уже верующая. Не спорь со мною, я не осуждаю тебя, лишь хочу установить истину. Человек должен во что-то верить: в бога или в безбожие, в людей или только в себя. Летучие мыши вылезают из щелей ночами. Они слепнут от солнечного света. Разве можно их осуждать за то, что они довольствуются мраком?»

«Так устроил господь»,— несмело отозвалась Татьяна.

«Недавно ты говорила: так устроила природа. О боге не было речи. Или ты уже успела постичь непостижимое? Сомневаюсь. Люди давно спорят о существовании бога. Одна часть говорит и поныне: «Есть», другая часть: «Нет». Спор так и остается нерешенным. Но будет решен».

«Кто же его решит?»

«Люди. Они сами создали бога и со временем признаются в том. Пока он им нужен, они не могут с ним расстаться. Одни используют бога для открытого барыша, для личной выгоды. Спекулируют его именем. Другие не могут еще объяснить многих явлений природы и прикрывают их покрывалом сверхестественности, непознаваемости, богом. Но они откроют законы всех явлений, и бог окажется ненужным. Он перестанет сущест-

воват, исчезнет так же, как исчезла с лица земли великая империя моголов. Всякая болезнь излечивается временем. Вера в бога уже давно перешагнула свое критическое состояние... Но ты молись, если тебе от этого легче. Или совсем не ходи на собрания, если чувствуешь недостаточно сил оставаться человеком».

Татьяна долго не могла сосредоточиться и разглядывала хор, вышитые накидки на пюпитре и фисгармонии, со вниманием буддиста, попавшего в католический храм. То и дело приходила в голову поездка на речку. Василий уже заправил машину и, возможно, выезжает из дому. А может, уже ждет их; они условились встретиться в конце улицы. Для Лены радость, а мне...

«Ты не рада? — спрашивал голос.

Но тут он был бессилен вызвать Татьяну на спор. «Господи, всевидящий и вездесущий, сохрани и помилуй...»

Все это не прошло бесследно.

— Ты чем-то взволнована? — спросил Василий, когда Татьяна подошла с Леной, начала укладывать продукты, стараясь казаться веселее, чем была в самом деле. Ее выдавала бледность лица и болезненный блеск глаз.

— Я рано сегодня встала, стряпала. Лена тоже не выпалась.

— Третий час, — сказал Василий. — Поздновато выезжаем. Два часа туда...

— Два обратно, — подсказала Татьяна, улыбаясь. Пусть не думает, что она в самом деле взволнована. Конечно, едут они поздно, зато Татьяна побыла на собрании. Как раз проповедник читал главу об искушении, словно знал, что Татьяна сегодня встретится с Василием. Но у нее хороший защитник — Лена. Тормоз для благополучного спуска с любой крутизны. — Побудем часок и вернемся.

— А рыбу ловить? — спросила Лена.

— В другой раз.

— Нет сегодня, мам!

— Надоумил ты ее этой рыбой, — шепнула Татьяна Василию.

— Поймаем парочку для интереса. И хватит.

Когда-то Татьяне казалось, что «москвич» самая удобная машина. Но после «Волги» переднее сиденье выглядело слишком тесным для двоих взрослых людей.

К тому же на коленях у Татьяны сидела Лена. Грунтовая дорога была удивительно узка, трава на обочине подступала вплотную к кузову. Пробитая за зиму, местами дорога напоминала желоб, трава словно поднималась и заглядывала через боковые стекла в машину.

Скоро Лена устала глядеть на степь, опустила голову матери на плечо, задремала. Василий молчал. Близкие горы на глазах как бы отодвигались, смеясь над столь наивной погоней.

Нет, Татьяна почему-то не так представляла поездку. Думалось, что Василий сразу же заведет разговор о прошлом, станет как-то говорить о своих чувствах, чтобы Лена не могла понять. Возможно, коснется религии, он же знает, что Татьяна живет при молитвенном доме. Но он молчал. И когда сказал, совсем сбил с подготовленного пути:

— Варвара Петровна приехала. Сегодня видел.

Она не стала расспрашивать, где видел, о чем говорили. Ей захотелось вернуться назад, закрыться в комнате, лечь, забыть все на свете. Это желание появилось вдруг, но оказалось столь сильным, что Татьяна еле сдерживала себя.

Куда девалось хорошее настроение утра, когда она пекла пирожки, собиралась в дорогу — с томительной радостью, с непонятной настойчивостью. Что отодвинуло, заглушило эту радость?

Горы устали от бессмысленного бега; так устают старики, играя с детьми в догоняшки. То и дело из дорожной пыли поднимались птицы под носом у машины. Они слишком рискованно опускались тут же, метрах в тридцати — пятидесяти, как бы совсем не боясь людей. Василий не выдержал: остановил «москвича», выскочил, достал с заднего сиденья двустволку.

— Не надо! — воскликнула Татьяна.

— Тише! — прошептал он, взводя курки.

— Вася!.. Не смей! Не смей, слышишь!..

— На суп, Таня! — охваченный охотничьим азартом Василий вряд ли смог бы остановиться.

Татьяна успела помешать. Она сбросила Лену с колен, выскочила, ухватилась руками за стволы:

— Не убивай! Нельзя, Вася, кровь невинную...— И остановилась с открытым ртом, вдруг испугавшись своих слов. Не она, вера сказала за нее: «Не убий!»

Татьяна болезненно опустила глаза, уронила со стволов руки. Искося поглядела в сторону, на степь. Ей стало очень стыдно за глупый поступок, за то, что выдала себя с головой. Всех стволов руками не отведешь. Она ждала, что Василий обязательно что-то скажет, посмеется над ней. Но он опять промолчал. Опустил ружье, пошел к машине.

— Мам! Поедем!..

Это окончательно отрезвило. Как нехорошо получилось! Если бы она знала, что у Василия есть ружье, можно бы при выезде сказать, мол, стрельбы боюсь или еще что.

«Вот ты уже и верующая»,— снова напомнил голос.

«Ты надоел мне»,— ответила Татьяна.

«Я ловлю тебя с поличным, женщина».

— Скоро речка? — нетерпеливо спросила Лена. Татьяна немедленно ответила, лишь бы избавиться от разговора с самой собою.

— Скоро, доченька. Горы-то какие большие!

— Мы до самых гор доедем?

— До самых,— отозвался Василий.— Там и водопад.

— Я здесь никогда не была,— сказала Татьяна.

— Там очень красиво. Особенно у водопада.

Издали горы казались голыми. Только в складках залегали темные полосы зелени. Теперь эти полосы превратились в густые заросли кустарника, охраняемые беспорядочно стоящими елями. С небольшого пригорка как-то сразу открылся весь чудесный вид предгорья, обрезанный у самого подножья сверкающей на солнце рекой. Вправленный в раму ветрового стекла, пейзаж вызвал радостный возглас Лены.

Василий остановил машину у реки, у самой кромки воды, на серой, утрамбованной разливами песчаной отмели.

— Купаться будем! — Купаться будем! — радовалась Лена. Она первой выскочила на берег, суетясь больше всех.

— Надо поискать брод,— сказал Василий. Он снял туфли, завернул брюки, вошел в воду. Следы от машин были выше и ниже места остановки «москвича». Река оказалась не очень широка, перекатиста, и скоро машина осторожно спустилась с берега, чуть ли не вплавь перекатилась на другую сторону.

Минут через пятнадцать нашлось место для привала. Огромная ель, сошедшая с гор ниже всех других, распростерла над землей ветви настоящим шатром. Метрах в ста шумел водопад.

Конечно, о еде и отдыхе не могло быть и речи, хотя все трое не обедали, чувствовали усталость после дороги. Водопад! — он приковывал внимание, звал, сердился, что люди не бегут к нему немедленно, что-то мешкают возле машины. И он добился своего, Лена первая отозвалась на его шумный призыв.

— На водопад! — бросила она клич.

— Идите, — ответил Василий. — Вон той тропкой. Я задержусь на минутку... Только не спускайтесь к воде.

Водопад оказался совсем маленьким: Татьяна удивилась, как он мог так шуметь. Поток несясь откуда-то сверху, петляя меж камней, перепрыгивая через них, и падал с высоты не более трех метров. Вода разбивалась о камни, место падения заволакивала радужно сверкающая водяная пыль.

Василий подошел с удочкой.

— Сейчас мы наловим на уху.

— Вася! Брось это занятие.

— Почему?

— Не надо, Вася.

— Это же забава! Но если ты не хочешь...

— Прошу тебя.

Он намотал конец лесы на удилище, наколот крючок на поплавок, положил удочку. Сел, обхватил руками колени.

— Что же мы будем делать? — спросил, глядя на падающую воду. — Стрелять нельзя, рыбачить — тоже. Купаться хоть можно?

— Пожалуйста, сколько угодно.

— Слава богу. А то ведь... Лена! Пошли купаться.

— В этой холодной воде? — Татьяна взглянула с недоумением.

— В этой. Вон там, чуть ниже. Затончик есть знакомый.

— Ты здесь все знаешь. Видно, бываешь часто.

— Третий раз.

Они оба понимали, что прогулка останется приятной только для Лены. Что прошлого уже не вернешь.

Затончик действительно оказался превосходным: маленькое озерцо в стороне от потока, глубиною чуть выше колен, с песчаным дном и заботливо нагретой солнцем водой. Лену чуть не силой пришлось вытаскивать из воды, так ей здесь понравилось.

— Таня, ты будешь купаться? — спросил Василий.

— Подожду когда вы уйдете.

Пришлось расстаться с водой, заняться приготовлением обеда. Лена добровольно попросилась к Василию в помощники.

— Дети мои проголодались, — сказала она, вытаскивая мишку и зайца, завернутых в тряпки. — Куда их посадить, дядя Вася?

— К нам за стол! Вот сюда, на край скатерти, под елку.

— У них есть салфетки!

— Хорошо.

— Посмотрите какие, с буквами!

Василий взял «салфетку», развернул. Прочел:

«Во имя господа нашего Иисуса Христа:

Братья и сестры! Наступает время, когда господь требует от каждого человека посмотреть...»

Он обернулся: не идет ли Татьяна.

— Откуда у тебя эти листки, Лена?

— Дома нашла. Их много было, а мама отобрала.

«...Не посещайте собраний, не ходите в кино, не читайте газет и не слушайте радио — это пропаганда дьявола. Это его попытки купить ваши души для адской утехы. Молитесь за спасение...»

— Дядя Вася, хорошо я посадила своих детей? Мишка всегда балуется, пусть он ест отдельно от зайчика.

— Пусть, пусть...

«Не изнуряйте себя работой на производстве... ибо всякое перевыполнение...»

— Зря я не взяла с собою собачку. Она бы нас охраняла.

— Лена! Отдай мне эти салфетки, я тебе дам другие, настоящие.

— А зачем вам?

— Так просто.

— Давайте.

Он отдал ей всю пачку бумажных салфеток за три листка. Свернул их, спрятал в карман.

Татьяна пришла радостная, веселая. Сказала, что так она купалась только в детстве. Соберется кучка девчонок — и айда! В Каменке тоже речушка — маленькая, мелкая, детворе раздолье в летние дни.

— Пирожки мои, видать, засохли за дорогу.

— Мягкие, мам!

— А это зачем? — увидела бутылку вина.

— Для аппетита, — ответил Василий. — Самое слабое, не крепленое.

— Нет, я пить не буду, — радостное настроение словно сдуло ветром. — Налей мне, пожалуйста, стакан чаю.

Василий не стал открывать вино, сунул бутылку в рюкзак. Он начал злиться на все эти причуды: не стреляй, рыбу не лови, вино пить не буду! А в доме листовки баптистские, призывающие умышленно работать в полонину силы, не ходить на собрания, газет не читать, готовить себя с молодости к смерти, к тому свету. Он уже знал от Виктора, что Татьяна в общине пользуется хорошей репутацией, что Александра Тимофеевна нахвалиться не может ею, ее поведением. Но Виктор мог несколько приукрасить действительность. Теперь Василий сам убедился в правоте слов. Зачем же она согласилась встречаться с ним? Согласилась поехать за город? Только ради Лены?.. Сам черт этих баптистов не поймет! Птичку убивать нельзя, грешно, а мясо едят. Блудить с чужими мужьями великий грех, а соседка Александры Тимофеевны, Сима Морозова, второй год с Евгением Решетниковым путается. Виктор говорил, да и сам Евгений не скрывает, он вместе с Василием работает. Поблудят, помолятся — и снова чисты.

— Все же выпью стаканчик, — сказал Василий, доставая бутылку.

— А машину как поведешь?

— Ты что! Этого квасу я и не почувствую.

— Не надо, Вася.

Он налил стакан, выпил. Подумал, еще добавил половину стакана. Заткнул пробку, швырнул бутылку с остатком вина в сторону.

— Мам, искупаю зайчика? Я уже наелась.

— Иди, искупай,— не дожидаясь ответа Татьяны, разрешил Василий.— Только сама не залазь в воду. Сиди на берегу.

Татьяна посмотрела на него с удивлением: отец объявился! Она хотела убрать со скатерти остатки еды, Василий остановил: успеем, не к спеху. Достал папиросы, закурил. «Сейчас скажет о своих чувствах,— подумала Татьяна.— Очень удобно: до города далеко, не уйдешь пешком, волей-неволей надо слушать».

Да, он собирался говорить с ней. Но о другом. Татьяна это поняла по голосу, по первым словам.

— Я не верил, что ты зашла так далеко.

Пауза показалась слишком длинной. Татьяна нетерпеливо сказала:

— Продолжай, я слушаю.

— Не верил. Ведь я знал тебя, Таня. Знал, казалось, как самого себя. А теперь не узнаю.

— Постарела? — на какое-то время она почувствовала себя неестественно задиристо смелой, как год назад, когда встречалась с Василием, рвалась к нему и сдерживала себя до приступов головной боли.

— Выглядишь ты превосходно... Мне, например, нравишься еще больше,— ответил он.

— А другим?

— Другим? Тоже. Пожалуй, больше чем мне.

— Почему же это?

— Ты с ними ближе, всегда рядом.

— Как это, ближе? Не думаешь ли, что я... что с кем-то...— ей вдруг стало жарко, хотя под ветвями ели по-прежнему держалась тень.

— Этого я не думаю, успокойся.— Он приподнялся, посмотрел в сторону ручья. Лена сидела на берегу.— Этого я не думаю, Таня,— повторил он с большой убежденностью.— Дело в другом, ты сама понимаешь.

Было бы бессмысленно выпрашивать, в чем другом, и Татьяна решительно шагнула навстречу:

— В религии?

— Нет. В религиозности.

— Я все понимаю. Тебе не нравится, что я живу у баптистов.

— Не то слово «не нравится»,— спокойно возразил

Василий.— Жаль мне тебя, Таня. Ты сама не понимаешь, что делаешь с собой.

— Что же я делаю? — это слишком — выслушивать наставления в двадцать шесть лет! — Ты прямее, Вася, смелее. Я уже не девочка, кое-что в жизни видела. Не обижусь.

— Я и так не иду кружным путем. Жаль, что ты забила голову всякой чепухой. Подожди, не перебивай. Я тебе совсем не хочу говорить, что бога нет. Хотя его и в самом деле нет. Другое скажу. Если человека сегодня назвать дураком, завтра, на третий, пятый, пятнадцатый день, — он привыкнет к этому и будет думать, что в самом деле дурак. Так люди привыкают и к богу. Помнишь, как ты громила Дугина?

— Откуда ты знаешь?

— Он рассказывал. И Виктор. А теперь сама стала верующей.

— Когда же это случилось по-твоему? — Ей хотелось спорить, ругаться, любыми мерами стоять за себя.

— Трудно определить, — ответил Василий. — Кто может сказать: я стал верующим семнадцатого января! Или двадцать четвертого августа. Но ты уже стала верующей. Еще немного — и «сестры» доконают тебя. Они отнимут у тебя свет, волю, радость — все! Ты станешь такой, какой была Полина, — сумасшедшей бабой... Ты умная, Таня, сильная ты, зачем же идешь этой темной дорогой?.. Подожди, выслушай!.. Мы не вернемся в город, пока я тебе не расскажу, что думаю. Тебе было тяжело, я знаю. Ну, оступилась, потеряла почву, так одумайся теперь. Брось эту лавочку! Варвара Петровна о тебе спрашивала. Поможем вернуться на комбинат, квартиру найдем, только уйди от них! Плюнь на них! Разве...

— Хватит! — оборвала Татьяна. — Не хочу слушать.

— Тебе придется дослушать. Извини, но ты уже...

— Поучи других! Не рано ли нанялся...

— Перестань! — сердито крикнул Василий. — Ты стоишь на пороге преступления. Это же враги, твои братья и сестры! Чему они учат? Не только молитвам, а похуже.

— Чему же?

Он не собирался показывать ей «салфетки», взятые у Лены. Но рука машинально скользнула в карман, вынула их, протянула. Лишь взглянув, Татьяна сразу поняла, что Василий знает больше, чем она думала.

— Сегодня в этот ваш дом не пришла на молитву Агнесса. Она ночью разносила такие бумажки по поселку комбината и наскочила на милиционера. Ночевала в отделении. И ты захотела туда?

Татьяна словно одеревенела от этой новости. Агнессы в самом деле не было в молитвенном доме, она это помнит. Что же с ней будет? Неужели осудят, посадят в тюрьму? Надо было что-то сказать или спросить, не сидеть молча, истуканом. Но язык не поворачивался.

— Вот она, ваша набожность. Чувствуешь, какому богу служить пошла? Птицу убить нельзя по вашей религии, а людей убивать можно. Руку-то Виктор изуродовал не случайно, чистый факт. И тот, Иван, что слесарем на автобазе, глаз песком до бельма натер, как раз перед призывом... Вам бы в скит какой податься, в дремучий лес, от людей подальше. Так нет, других с толку сбиваете. Квартирантов, что живут в доме Полины, уже пригнали. Настю засватали. Подметные письма разбрасываете... Что с тобой?

Он видел, как Татьяна побледнела, немощно раскрыла рот, ухватилась руками за грудь.

— Что ты, Таня? Плохо тебе?

Василий успел вскочить, подхватить ее. Бережно опустил на землю, расстегнул ворот платья. И подумал: как она хороша! Потом сбегал к реке, принес кружку воды, намочил платок, положил ей на лоб. Бледность постепенно сходила с лица, дыхание становилось ровнее, глубже, и Василий успокоился: пройдет, обычный обморок. Нервы не в порядке. Он поднял ее голову, положил на свои колени, стал осторожно гладить волосы. Именно такой — тихой, утомленной, обессиленной бывала она раньше, не способная говорить, смеяться, даже отвечать на поцелуи. Когда это было? И кто все отнял? Как он не углядел за ней, не поднял тревогу, когда она перешла к Александре Тимофеевне. Ведь знал, что Виктор баптист, весь этот кусок окраины захвачен баптистами, как чумой. Нет, он не отдаст ее пресвитеру, сестрам. Если потребуется, он разнесет в пух и прах всю общину, сделает что угодно, но Татьяну уведет от святой каторги.

— Я люблю тебя, Таня! — это сорвалось само собою. — Если бы ты знала, как я тебя люблю!..

Она вздохнула, открыла глаза, не совсем понимая

где находится, почему вдруг ее голова на коленях у Василия.

— Милая ты моя... как ты еще глупа, Танюшка! Люблю я тебя, даже такую, непонятную. Черт тебя знает, чего ты мне так встала на дороге. Ни на кого смотреть не хочу, на глаза никого не надо. А с тобой сидел бы вот так, сутками... Даже целовать не стал бы... только смотрел...

Татьяна опять открыла глаза: не сон ли это? Она слышала, что говорил Василий. Что-то беспомощно радостное наполняло сердце, убаюкивало, уносило и вместе с тем витало вокруг нее. Она боялась пошевелиться, распрямить немеющую руку.

— Если не хочешь встречаться со мной, видеть меня, я не стану надоедать, Таня. Силой мил не будешь. Но ты уйди от них, от этих «сестер» и «братьев». Оставь их!..

И вдруг все лопнуло, раскрошилось на мелкие куски, словно от внезапного удара грома. «А бог? Он же видит, как Татьяна положила голову на колени Василия. Слышит его слова. Он не простит ей...» Она вздрогнула, оттолкнула его руку, вскочила.

— Лена! — крикнула дочери. — Собирайся, поедem.

Василий поднялся, подошел к Татьяне. Сказал глухо:

— Я тебя понимаю. Но... Лена тут ни при чем.

— Мы не успеем засветло доехать.

Вот так, подумал Василий, теперь, кажется, все. Я стал ее врагом. Он молча смотрел, как Татьяна торопливо собирала посуду, одела Лену. И вспомнил про «салфетки». Может, через них удастся оставить тропку к Татьяне? Маленькую тропку человеческих отношений.

— Таня! — позвал он.

Она подошла.

— Не сердись на меня. Я тебе зла не желаю. Вот, — достал из кармана листовки, чиркнул спичку, поджег их, — видишь?

— Спасибо, Вася.

Да, тропка осталась. Он видел это по лицу Татьяны, чувствовал по голосу, пока добирались до дому. Но тропка, не больше. Окольный путь. Дороги были перекрыты шлагбаумом религии.

«Вот ты снова вошла во грех, — сказал голос. — Ты даже не могла постоять за веру, за своих единомышленников».

«Я прервала разговор,— ответила Татьяна.— Разве это не в счет?»

«Ты испугалась разговора».

«Я не хочу слушать что попало».

«Раньше ты слушала».

Голос преследовал ее до двора молитвенного дома. Только войдя в калитку, она почувствовала облегчение. Здесь была ее крепость, в которой Татьяна могла держать длительную и надежную оборону против всего, что жило и делалось за оградой. Так ей во всяком случае казалось.

Во дворе сидела Александра Тимофеевна с Маней. Видать, ждала Татьяну. Сказала:

— Поди, Мань, покорми Леночку медком. Мы с Ефимовной подышим.— Лишь успев проводить, настороженно спросила: — Ничего там на улице не приметно?

Татьяна не видела ничего, что могло броситься в глаза.

— Беда-то какая у нас! Господи, за что наказание даешь!.. Пожар произошел, Ефимовна. Сестра Елена... будет ли жива, один бог знает!

Татьяна ужаснулась, слушая Александру Тимофеевну. Елена опять ночью разносила баптистские листовки. Часть осталась. Она спрятала их в дымоход плиты. Днем, видать, забыла вытащить, затопила плиту. Понятно, дым в трубу не пошел. Решила плеснуть керосину, пробить тягу. Плеснула прямо из бидона. Огонь охватил и плиту, и бидон, и Елену. Бежать бы ей во двор, звать на помощь. Да, видать, о листках вспомнила, хотела вынуть. И задохнулась в дыму. Пока соседи дым заметили, прибежали, вытащили Елену, на ней вся одежда обгорела.

— Мужик-то на базаре был,— рассказывала Александра Тимофеевна.— Тут пожарные, милиция подоспела. Залили кое-как, сестру Елену в скорую помощь увезли. Стали, значит, дознаваться, откуда пожар, по какой причине. Разворотили дымоход, а там листки в узелке — целешеньки!.. Господи, спаси и помилуй... Милиция те листки забрала.

Стало понятно, почему Александра Тимофеевна волновалась, не видать ли кого на улице. Милиции уже известно, кто распространял призывы «Во имя господа Иисуса Христа». Начнется дознание, потянется цепочка.

И одним из звеньев — пусть не первостепенным, — в этой цепочке окажется Татьяна.

— Господи, всевидящий и вездесущий, сохрани и помилуй...

— В случае к тебе кто придет, — сказала Александра Тимофеевна, — ты глазом ничего не видела, ухом не слышала. Про бумажки-то.

— Понимаю.

— Ни слова, Ефимовна...

Голосом ли, просьбой, Александра Тимофеевна отчетливо напомнила прошлое. Ночью арестовали Григория. На рассвете к Татьяне прокралась тетка Пелагея, жена колхозного завхоза. Так же просила: «Придут к тебе, так ты прикинься: ничегошеньки не ведаешь и знать не знаешь что и почему». Просила стать соучастницей в скрытии преступления. И теперь Татьяну делают соучастницей. Неужели прошлое повторяется? На что же было потрачено полтора года жизни? Разве Татьяна не честно трудилась, не хотела быть такой как все, как Варвара Петровна? Так где же он, этот простой человеческий покой, где она жизнь, почему течение несет ее снова к обрывистому берегу?

Ведь и сюда, в молитвенный дом, может прийти милиция. Листовок уже нет, но в подполье живет Левона — полубезумное существо, еще при жизни с корнем выдернутое из почвы, превратившееся во что-то среднее между живым и мертвым. Разве не преступление держать человека годами заживо погребенным? Во имя чего? Во имя бога? Но где был бог, когда Елена взяла бидон с керосином, плеснула в плиту, закрытую «святыми» воззваниями. И отведет ли он беду от Татьяны, если кто-то дознается о Левоне.

«Ты уйди от них, от этих «сестер» и «братьев». Не по пути тебе с ними, — сказал Василий. — Искалечат они тебя, родная моя. Оставь их!»

Уйти!.. Как уйти? Куда?

«Ты сама растеряла своих друзей, — сказал голос. — Вспомни об АCOPE Ивановиче, о Варваре Петровне, о Дарье Ивановне, о Клавдии и Василии. Неискренни они были с тобою?»

«Но я не могу к ним вернуться! — с болью ответила Татьяна. — Не могу».

«Почему? Ты боишься начать жизнь еще раз снова-

ла? Да, тебе будет трудно. Я говорил уже: откровение должно быть полным. Решай, пока не поздно. Ты уже отступила на последние позиции, дальше хода нет. И если не решишься, уже никто тебе не поможет,— ни люди, ни бог. Решай, времени у тебя совсем мало, чтобы спрятаться от жизни еще на какой-то срок. От жизни не убежишь, не спрячешься».

«Я не сделала людям ничего плохого, чтобы они судили меня,— попробовала вывернуться Татьяна.— Если я в чем-то и виновна, то лишь перед собою и Леной».

«Не лги! — повторил голос.— Это ты сожгла Елену! Ты не остановила ее на дороге к преступлению. Ты боишься признаться в этом даже самой себе. Но если Елена умрет, ее смерть навсегда останется на твоей совести».

— Господи, всевидящий и вездесущий, сохрани и помилуй...

Но слова уходили в безликую пустоту, точно стрелы, пущенные во тьму ночи. Достигали ли они цели? И если достигали, то чего, кого? Скорбного лика бога или смеющейся морды дьявола? Или ударялись о стены и тут же глохли, даже не засоряя эфир короткими трепещущими звуками.

— Господи! Покарай меня, если я грешна перед тобою. Отними у меня речь. Или помоги мне, если ты всемогущ и всемилостив. Но не оставляй одну, не бросай!

Она опустилась с кровати, стала на колени, зашептала:

— Явись мне, господи, если ты есть! Я буду верить тебе всю жизнь. Если я недостойна милости твоей, так скажи, подай знак, напoмни как-нибудь. Но не молчи! Мне страшно, господи, страшно!.. Я пришла к тебе вся, скажи, что делать дальше... Что же ты молчишь? Или ты не слышишь меня? А может... может, в самом деле нет тебя?.. Ты слышишь, господи, я богохульствую: останови, накажи!.. Нет, ты не всемилостив, ты жестокий и злой, как отчим, тебе совсем безразличны страдания людей. Для чего же они молятся тебе, верят в тебя, когда ты глух и нем к их молитвам. Ты сам помогаешь людям отойти от тебя, отворачиваешься от них, бросаешь их по дороге к неверию. Ты сам оставил безбожный завет: пусть ищут молодые — находят и ошибаются, радуются и страдают, у них впереди жизнь, чтобы постичь истину...

Что она могла еще сказать богу, о чем просить его? Она даже не имела права сердиться на него за молчание. Как можно сердиться на жителей далеких миров, если ты не уверен в их существовании. Зачем просить солнце светить ночью, когда наперед знаешь о бессмысленности такой затеи. Ей оставалось самой решать, как поступать дальше. Своим молчанием бог развязывал ей руки. Татьяна с трудом поднялась, прошла к постели, чувствуя непонятную тяжесть, словно ее одежда стала каменной. Но внутри отчетливо стояла пустота.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



Глава первая

1

Ей приснился снег. Мягкий, прозрачный, сошедший с новогодних картинок снег сыпался с неба совершенно безмолвно. Он покрыл дороги, дома, но деревья стояли как летом, совершенно зеленые. И теплые. Снег доходил Татьяне до пояса, но странно, ей не надо было разбрасывать белый покров, протаптывать в нем тропку: стоило шагнуть, как впереди образовывался проход еще на пару шагов. Кто-то звал ее долгими протяжными криками, и она шла и шла на этот зов. Она шла очень долго, пока кто-то другой не крикнул над самым ухом:

— Дождик!

Татьяне показалось, что она не спала, так резок и чист был переход к действительности. Казалось, она смотрела книгу, потом подняла глаза и увидела Лену.

— Мам, дождик какой! Пойду на улицу?

— Иди.

— Обед уже, вставай. Маня приходила. Молоко принесла.

— Хорошо, доченька.

Голова была удивительно светла. На редкость светла. Вот это я выспалась, подумала Татьяна. Но только ли

сон принес удивительную ясность? Определенно было что-то и другое. И оно немедленно вспомнилось: сделка с богом. Вчерашний вечер — полный безысходной тоски, каменной тяжести: молитва, жестокое спокойствие бога, откровение и разочарование. Боль утраты и чувство приобретения чего-то иного. Она не отреклась от бога, — ей было жаль навсегда бросать его. Она всего лишь испросила право жить и действовать по своему разумению, коли бог ни в чем не может ей помочь. Отпускали же когда-то помещики своих крепостных на заработки, не имея возможности дать им работу, прокормить их. Ничего удивительного, что божье имение тоже пришло в ветхость: одни еще терпят, другие покидают его. Кто-то приходит новый, пытаясь на развалинах найти утешение. Напрасное стремление! Рано или поздно — и они увидят обман, почувствуют пустоту.

Лена вбежала мокрая, лнущая.

— Пойдем, мам!

— Приду...

— Скорее! — и снова убежала.

Все стояло на своих прежних местах: кровать, стол, шкаф для посуды. В то же время Татьяне казалось, что и в комнате произошли какие-то изменения. Она не видела их, но как бы чувствовала, как, не видя дыма, человек чувствует запах паленого, либо привкус горчка в хлебе.

Как же ей теперь вести себя? Делать вид, что она по-прежнему разделяет взгляды Александры Тимофеевны, общины, религии, или... Что: или? Уйти, выдать Левону, признаться в соучастии в преступлении Виктора, в беде Елены? Этого она не могла сделать. Это выглядело слишком дорогой платой. Жить самой по себе — такое быстро бросится в глаза Александре Тимофеевне.

Что же делать?

Только лишь каких-то двадцать минут назад она проснулась со светлой головой, совершенно спокойная — и снова вопрос: что же делать? Она слишком далеко зашла в чашу событий, чтобы повернуть назад и враз окатиться где-то там, откуда начинался путь.

Дождик то шел, то совсем переставал, роняя редкие бисеринки капель. Именно бисеринки, потому что светило солнце, и капли сверкали в его лучах отдельными друг от друга стекляшками. Лена бегала по лужам. Без пал-

ки! — это сразу бросилось в глаза. Татьяна хотела остановить ее, загнать в дом, пока идет дождь. Но разве она сама не бегала в детстве так же вот по лужам, не помнит сколько удовольствия в такой забаве!

Бывает, достаточно уловить шелест одинокого листа, чтобы поднять глаза и увидеть звезды. Татьяна вряд ли разобрала тихий говор, скорее чутьем угадала, что у калитки стоят люди. Чужие, не из числа «братьев» или «сестер». Она прошла мимо стены, выглянула за угол молитвенного дома и увидела двух мужчин. Нет, она не испугалась, хотя один из них был в милицейской форме. Это вчера Татьяна бросилась бы назад, или голосом выдала излишнее волнение. Сегодня она смело вышла им навстречу.

— Это вы? — удивленно произнес один, приподнимая край мокрой шляпы.

— Да.

Она сразу узнала следователя, скорее по голосу, чем по его виду.

— Разрешите войти?

— Входите,— плечо дернулось с полнейшим безразличием.

— Ну, так... здравствуйте! — шагнув в калитку, следователь протянул ей руку.— Вот уж, поверьте, не ожидал встретить здесь знакомых!

— Что же так? — с редкой беззаботностью улыбнулась Татьяна, хотя ее так и подмывало сказать: «Здесь дом для верующих, и вам нечего делать».

— Я полагал, что вы живете на старой квартире.

«Что это вас привело сюда,— подумала Татьяна.— Я вам, конечно, не нужна. Что же другое?»

Милиционер был высок, худощав и угрюм. Он мельком покосился на Татьяну, стал разглядывать вход в молитвенный дом, двор. Увидел Лену, шлепающую по лужам.

— Вы здесь живете? — спросил он как-то без интереса.

— Да.

— А девочка чья?

— Моя.

— Еще живет кто в доме? — кивнул на дверь.

— Нет. Это... церковь,— она ответила так, чтобы он

правильнее понял. Это храм, а в храмах не живут, в них молятся.

Просто шли мимо, подумала Татьяна. Зря и выглянула. Но скоро поняла, что следователь и милиционер совсем не случайные гости. Они прошли во двор, постояли. Следователь похвалил сад, заботливо наведенную чистоту во дворе.

— Это и есть молитвенный дом баптистов? — еще раз уточнил он. Поймав кивок Татьяны, повторил: — Не ожидал вас здесь встретить. Где же ваша квартира?

«Значит, ко мне! — отстучал мозг. — Не просто так...»

— Вон, в пристройке, — показала Татьяна.

— С вашего позволения, разрешите заглянуть?

— Пожалуйста, — что ей еще оставалось ответить. Она хотела пойти вперед, открыть дверь, но нарочитая услужливость могла броситься в глаза. Татьяна замедлила шаги и совсем остановилась.

Они подошли к двери, открыли. Заглянули разом, словно боясь входить без хозяйки. Она ясно представила все, что они могли увидеть: незастеленную кровать, молоко в стеклянной банке и хлеб на столе, ночную рубашку на спинке стула. И еще: угол чемодана под кроватью, тряпье и старую обувь на западне. Ничего подозрительного. Татьяна терпеливо выждала, пока им надоел осмотр, они прикрыли дверь, отошли от пристройки. О, если бы сейчас сказать им о Левоне, показать вход в подполье, показать саму «святую». Как бы, наверно, засияла угрюмая физиономия милиционера, как обрадовался бы «открытию» следователь!

— Та-ак, — протянул он, не зная что сказать. — Много здесь собирается верующих? — кивнул на молитвенный дом.

— Не считала, — скрывая насмешку, ответила Татьяна. — Можете прийти, посмотреть. Вход свободный, не то что в кино.

— Да, конечно. Скажите, вы хорошо знакомы с Еленой Русаковой?

— У которой пожар был? Знаю ее.

— Она верующая?

— Да. — Зачем скрывать, это ему определенно известно. Значит, дела Елены привели сюда милиционера и следователя!

— При пожаре у нее были найдены вот эти листки, —

он вынул, показал один, знакомый Татьяне: «Во имя господи нашего Иисуса Христа...»

— У нее? — страх подкрался слишком осторожно и захватил Татьяну врасплох.

— В ее доме, — уточнил следователь, определенно заметив перемену настроения.

— Откуда Елена могла их взять? — Она тянула время, выигрывая секунды на размышление.

— Очень хорошо, — почему-то сказал следователь. — Оставьте на несколько секунд нас вдвоем, — попросил милиционера. Когда тот отошел, следователь в упор заявил: — Вам все известно. Расскажите, откуда Русакова получала эти листовки. Через кого? Они отпечатаны на ротаторе.

— Не знаю.

— Вы не хотите мне говорить. Жаль. Я всегда верил вам, хотя в нашей работе нельзя все принимать только на веру. Но вам я верил. Так или иначе нам удастся узнать. Кое-что расскажет Русакова, вы же часто бывали у нее. Она заходила к вам, заносила эти листки. Их присылает Войнович. Заходила ночью...

— Откуда вам известно?

Он не ухватился за короткое признание. А продолжал говорить, что этот, некий Войнович, уже достаточно информировал прокуратуру, что на днях и без участия Татьяны удастся во всем разобраться.

Страх не прошел, но и не глушил трезвую мысль: рассказать — выдать Елену. Говорила ли она что-нибудь следователю? И кто такой Войнович? Если бы на минутку сбегать к Александре Тимофеевне, спросить, посоветоваться. Но это невозможно.

— Ничего я не знаю. Зря вы мне секреты свои открываете.

— Вы боитесь говорить, — ответил он.

— Чего бояться! Нас никто не слышит.

— Бойтесь за Русакову. Ей не грозит неприятность, уверяю вас. Нам надо знать, где печатаются эти листки.

— Так спросите у этого... как его... у Войновича, что ли?

— Я хочу узнать от вас!

— Напрасно! Ничего не знаю. Если бы вы мне сами не рассказали, так я и про листочки не знала бы. И про этого... Ваневича вашего, — она умышленно исказила фа-

милню, будто не запомнила. Подчеркнуть, что вообще первый раз слышит о каком-то неизвестном мужчине.

— Зря упираетесь,— сказал он с сожалением.— Вы намерены молчанием помочь людям. Но вместо этого приносите им зло.

— А вы добро, да? — ей захотелось сказать следовательно что-нибудь обидное. Зачем? Да так, сбить с него спесь. Подумаешь, сыщик нашелся. Сразу ему и выложили! — раскрывай карман шире.

Он пристально поглядел на Татьяну, понимая, что от нее ничего не добиться. И сказал, сам не веря в надобность предложения: он сожалеет, конечно, что Татьяна упрямится, хотя знает о многом. Если надумает помочь выяснению дела, пусть придет в прокуратуру.

Нет, этого Татьяна не надумает. Какое же добро принесет она Елене, Мане, Александре Тимофеевне, если выдаст их? Чепуха, разговоры. Она условилась с богом, что станет поступать как ей заблагорассудится. Но значит ли это, что она должна пойти на предательство? «Нет, господи, тебя я не выдам. Ты и так достаточно обижен людьми, изгнан ими, забыт. Люди смеются над твоим милосердием. Но я не выдам тебя, не предам, есть ты, или нет тебя, господи».

2

«Есть ты, или нет тебя, господи»,— слова снова пришли к Татьяне в этот день. Пожар в доме Елены и обнаруженные «святые» листки вызвали в общине куда больший страх, большую нервозность, чем даже отречение Дугина. И тогда была опасность раскрытия многих «духовных» дел, теперь опасность нависла тучей, готовой в любую минуту разразиться громом и молнией, сотрясти все, что до сих пор как-то удавалось поддерживать, ремонтировать, перестраивать. Только непосвященный не видел, как бегали из дома в дом «братья» и «сестры», коротко щептались, держа городскую окраину под неустанным наблюдением.

Александра Тимофеевна появилась тотчас, лишь ушел следователь. Она прокралась сквозь дыру в заборе из соседнего двора. Видать, слышала весь разговор Татьяны со следователем, потому что, подойдя, упала на колени, готовая целовать Татьяне ноги.

— Спасла ты нас всех, покой прикрыла, милая Ефи-

мовна! — старость особенно отчетливо выступала на дряблой коже отвисших щек.

Татьяна подняла ее, взяла под руку, увела в комнату. Но странно, ей совсем не было жалко Александру Тимофеевну, хотя та сокрушалась от чистого сердца.

— Несчастье за несчастьем! Витя-то задумал на мирской жениться. Как перенесу, господи! Вот уж не думала, не гадала такого услышать от своего дитя. Сразил, сразил он меня, повалом сразил!..

— Передумает еще, — сказала Татьяна.

— Как бык уперся! Маню со зла пихнул, зашлась вся. За что же, господи, — взмахнула вверх руки: — за что, спрашиваю? Или я так грешна перед тобой. Образумь его, господи, верни ему рассудок!..

— Что вы так убиваетесь, — не совсем учтиво сказала Татьяна. — И мирские бывают хорошие.

Александра Тимофеевна с ужасом посмотрела на нее:

— Господь с тобой, Ефимовна! Неужели ты всерьез?

— Так я просто, — поспешно отступила она. — «Черт с вами, решайте, как в голову стукнет. Тоже беда: Виктор женится! Какая же главная беда: женитьба или то, что милиция может прийти и найти Левону? Не зря этот длинновязый с угрюмой физиономией приходил в молитвенный дом вместе со следователем. Нюх-то у них особый, набитый на розысках».

— Не о Викторе надо бы думать, другое есть. У меня душа остановилась, когда они в дверь смотрели. Толкнул ногой обувку, а там и ход на виду. Тогда вот горе, не то, что с Еленой, похуже.

Это согнало с Александры Тимофеевны безутешную печаль по сыну. Снова страх подтянул дряблую кожу щек, сомкнул рот, насторожил глаза. Она всем видом как бы говорила: да, да, есть дела важнее.

— Ночью сегодня матушку Левону увезем. Подыскали место.

Татьяна вздохнула с облегчением. Не будь «святой», жизнь станет совсем простой: весь страх свалится с души.

— Лену ко мне на ночь отправь, чтоб не беспокоить ее.

— Днем бы, подозрений меньше! — сказала Татьяна.

— Что ты!.. Придет машина, дрова свалит. С ней и отправим. Никому в голову не ударит. Спускаюсь я, подго-

товлю матушку Левону к дороге. Ты покарауль. Стукну два раза, откроешь.

Татьяна вышла во двор, села у стены молитвенного дома. Скорее бы, подумала она. Пусть увозят. Каждый день как на иголках — не увидел бы кто, не догадался бы. Дважды кормить — утром и вечером, убирать за ней. Пусть увозят. Сколько они еще с ней таскаться будут? Пока не зачахнет окончательно, не простится с жизнью? Интересно бы вывести Левону во двор, дать ей подышать свежим воздухом, послушать птиц! Неужели она снова согласилась бы спокойно идти в подвал?

Странно, но Татьяна с первого дня не испытывала к «святой» особого почтения, положенного Левоне по столь высокому рангу среди смертных. И оттого знакомство со «святой» оказалось довольно обычным, когда еще не было веры в самого бога, потому не было веры и в его чудеса. Святая, по мнению Татьяны, должна была выглядеть как-то по-иному, говорить по-иному, делать что-то такое, что приводило бы в ужас, или оставляло бы боль. Левона же вызывала лишь сострадание, как увечный ребенок в здоровой семье.

Пусть поскорее увозят ее. Хоть бы верующим перед этим показали «святую», вывели на собрание, что ли. А то многие понятия не имеют, какая она.

Во двор вошел Виктор. Поздоровался. Спросил:

— Мать заходила?

Сказать ему, что она у Левоны или не надо?

— Была, — ответила Татьяна. — Ушла.

— Как же я ее не встретил? — Сел рядом, на корточки. Сорвал травинку, покрутил в пальцах, бросил.

Как он здорово изменился, отметила Татьяна. Она не помнила, чтобы после болезни Виктор шутил, даже улыбался. Стал хмур, молчалив, задумчив. И смотрит всегда так, словно все ему надоело и он зверски устал от работы, от общения с людьми, от солнца и света.

— Левону сегодня собираются увозить, — сказал Виктор. — Егор приедет за ней. К Токаревым решили, временно.

— К каким?

— На комбинатском поселке живут. Свой дом.

— Раз увозят, ладно, — согласилась она.

— Вы верите, что она истинно святая? — спросил он вдруг так же просто, как спрашивал, здесь ли мать.

— Что ты, Виктор? Опомнись! Кто же не верит? — неужели он подослан узнать, что думает Татьяна о Лёвоне.

— Я тоже верю, — скупое подтвердил он. — Единственный святой человек среди всех нас. Люди-то теперь, тетя Таня, дрянненькие. А она — святая.

Он помолчал. Татьяне вспомнилось, как Елена ввела ее к Виктору, когда пришла ему повестка из военкомата. «Вот», — сказала всего, мол, посмотри: был человек, а что с ним стало? Прошлое оставило на нем слишком глубокий след, своего рода тавро суровой зрелости. И если бы Виктор рассмеялся, Татьяна удивилась бы.

— Я сегодня не работаю, — сказал он. — Отпуск взял на три дня.

— Отдохни, — ответила Татьяна.

— Отдохнуть? — переспросил он, как бы не понимая, что такое отдых. В город поеду. Дайте мне три рубля. Только матери не говорите.

Татьяна проводила его с сожалением. Тяжело Виктору. В город поехал, к девушке своей. Надо было спросить, что он думает о женитьбе. Да что говорить: окрутят его с Нинкой Кондрашовой, никуда не денется.

Вечер принес безотчетный страх. Думалось, подойдет машина, посадят «святую» и увезут. Но это оказалось далеко не простым делом. Еще засветло пришла Александра Тимофеевна с двумя мужчинами, закрылись в комнатке Татьяны. Потом появилась Маня, с трудом уговорила и увела Лену. В сумерках чьи-то тени скользнули по углам двора. Пришли еще двое мужчин, сели во дворе, в тени деревьев. Часам к одиннадцати напряжение достигло предела. Улицу просматривали десятки глаз, притаившихся за заборами, за занавесками темных окон, в щелях калиток. Каждый редкий прохожий немедленно попадал под безмолвный обстрел, пока не скрывался из виду, либо не исчезал в своем доме. Появилось двое пьяных. Напевая, они медленно прошли мимо молитвенного дома, постояли, направились обратно. На смену им вывернулась из-за окраинного дома парочка. Понятно, парочка не нашла более подходящего места и села на скамейку у ворот. Татьяне пришлось открыть решетчатую калитку, погромохать задвижкой, спугнуть молодых.

Наконец пришла машина. Развернулась, сдала назад, протиснулась в ворота.

— Не закрывай,— шепнул Татьяне шофер.— Меньше подозрений. Посматривай хорошенько.

Он сам скатил из кузова десяток чурок, хотел закрывать борт, как на улице появилось трое мужчин. Не пьяных, это Татьяна определила точно. Шли они не торопясь, неся с собою два папиросных огонька. Татьяна рывком бросилась к шоферу.

— Люди там! — показала на улицу.

— Наблюдай,— шепнул он в ответ и на секунду исчез за углом молитвенного дома. Там, вероятно, уже выводили «святую».

Вот эти трое поравнялись с оградой. Татьяна разобрала обрывок разговора.

— Я здесь первый раз,— сказал один.

— Спокойное место,— ответил другой.

— Сколько на твоих?

— Десять двенадцатого.

— Смотри, машина! Чего она тут ночью?

— Сейчас проверим...

Они свернули к воротам, подошли. Увидели Татьяну, разнобойно проговорили «здравствуйте». Эти трое оказались совсем не мужчинами, а молодыми ребятами с красными повязками на рукавах.

«Дружинники», догадалась Татьяна.

— Чья машина? — спросил один.

— Дрова привезла,— с трудом выговорила Татьяна.

— Почему ночью?

Ей не пришлось отвечать. Подошел шофер. Поздоровался. Протянул путевку. Вспыхнул свет карманного фонарика. Один из ребят сказал: «Я тебя совсем не узнал, Клименко. Это наш,— добавил в сторону товарищей,— с автобазы».

— Не управился днем,— словно перед начальством, оправдывался шофер.— А заказ есть заказ. Завтра с утра в Первомаевку ехать, решил все подогнать.

Тот, который держал фонарик, вернул путевку, прошел мимо Татьяны, посветил на чурки. Протянул слабый лучик в сторону двора, скользнул по дверям молитвенного дома. Сказал:

— Садитесь, ребята, доедем до площади.

— Придется вам обождать. Я тут с полчасика про-

буду,— ответил шофер.— Помогу дрова убрать с дороги.

Видно, все это заняло не больше пяти минут, но Татьяна показалось, что она провела целую вечность лицом к лицу с бедой. Появилась икота. Во рту стало до боли сухо. Она так пристально смотрела вслед уходящим дружинникам, что временами совсем ничего не видела, словно ночная темнота густела, становилась непроницаемой материей.

Шофер опять исчез и вернулся испуганный.

— Уронили ее,— сказал со страхом.— Лестница подломилась. Бог милостив... Сейчас выташат.

«Когда же, когда? — повторяла про себя Татьяна.— Хоть бы скорее! Уронили, жива ли?.. Хоть бы скорее!»

Смутная возня во дворе подсказала: ведут! Слава-те, господи!..

Донеслись вздохи, пыхтения, глухой стук от сапог по дну кузова. Шепот. В тот же момент Татьяна в испуге отпрянула от ворот: в огоньке спички она увидела милицескую фуражку и полосы погон. В пяти шагах от машины, на тротуаре. Она забыла, что надо кашлянуть и громко крикнула:

— Шофер!

Подойди милиционер с другой стороны, он увидел бы, как группа людей шарахнулась за машину. Но он не заметил этого. Окрик остановил его у ворот. Лучик фонарика упал на радиатор, опустился к номеру, затем выхватил из темноты ночи грудь и лицо Татьяны. Но не задержался на ней, осветил оказавшегося рядом шофера.

— Ты, Клименко? Вижу, машина твоя. Чего тут?

Снова зашел разговор о дровах.

— А мне, брат, не спится,— признался милиционер.— Жену в санаторий отправил, дочь к бабушке. Один остался. Зайду в квартиру — пусто! Вот и полуночникаю, брожу по участку. Ночь-то, специально для влюбленных! Хороша-а-а!..

Он совсем не собирался уходить. Докурил папироску, бросил окурок, притоптал сапогом.

— Слышал, Клименко, про Репникова? В аварию попал! Лес перевозил. Конечно, клюнул,— щелкнул пальцем по шее.— На повороте недоглядел, спустил прицеп в кювет. Машину — вдребезги! Сам еще жив. Но не жилец, не-е-ет!

«Подослан или случайно подошел?» — думала Татьяна, замирая от страха. Вдруг кто кашляет или чихнет, ведь за машиной человек пять, не меньше.

— На автобазу поедешь, Клименко?

— Нет, — через силу ответил шофер. — Не... заводится мотор.

— Свечи смотрел?

— Не-ет.

— Давай взглянем. Я ведь три года за баранкой провёл. Потом в милицию послали... Держи фонарик, свети.

Он открыл капот, лег грудью на крыло.

— Слушай, Клименко! Говорят, у вас святая появилась в общине? Откуда это она взялась?.. Ты сюда вот свети, а не в сторону... Контакты, брат, чистить надо чаще. На, продуй свечу, вторую вытащу... Это я сегодня услышал о святой. Дети соседские играли... Девчонка легла на землю, руки вытянула и говорит: «Я святая». Спрашиваю ее: «Откуда ты знаешь, что есть святые?» Говорит: «Папа дома бабушке рассказывал». Вот она, значит, и слышала.

«Господи, всевидящий и вездесущий, помилуй и сохрани мя... Если он узнает — суд, тюрьма, позор на всю жизнь! Отведи, господи, уполномоченного, закрой ему глаза и уши...»

— На, сам возись, — участковый слез с крыла, подал ключ. — Не хочу китель пачкать. У тебя второй класс, Клименко? Это хорошо. Со временем первый получишь... Ну, брат, счастливо оставаться, пойду.

Он вышел за ворота, остановился, закурил.

«Уведи, уведи его, господи... уведи скорее...» — молила Татьяна.

«Ты же не в ладах с богом! — насмешливо сказал голос. — Когда трудно, ты надеешься на его помощь. Но лишь вчера отвергала его».

— Слушай, Клименко! — участковый вернулся, подошел к машине. — Каргополов на вашей автобазе работает? Тоже любит выпить. Поговорили бы с ним по-товарищески. — Он что-то обронил, включил фонарик, нагнулся. Татьяна увидела, как шофер вынул из-за спины большой гаечный ключ, поднял над головой уполномоченного. Секунда, и удар замертво повалит участкового.

— Ой! — слабо воскликнула она.

— Что вы? — участковый встал, подошел к Татьяне.

Но сказал не ей: — Езжай, Клименко, или оставь машину. Запри ворота. Участок спокойный.

И ушел. «Не захотел умирать,— подумала Татьяна, с трудом держась на ногах.— Ушел... ушел...»

Она уже не могла радоваться, когда загудел мотор и машина вышла из двора. Перед нею еще какое-то время маячила голова участкового и большой гаечный ключ. Он наплывал на Татьяну, готовый и ей разmozжить голову, если только она встанет поперек, попытается помешать «братьям» и «сестрам», как мешали дружинники и участковый милиционер.

— Да ты совсем не в себе,— зашептала Александра Тимофеевна, беря Татьяну под руку.— Слава богу, обошлось. Ох, и натерпелась я страстей, натерпелась, Ефимовна. Сердце наполовину за нынешний вечер истратила. Пойдем, нечего больше улицу караулить.

— Лена где? — Татьяна долго смотрела на постель, на стол пока поняла, что она в своей комнате.

— Ты никак заболела? Дай-ка лоб пощупаю.

— Устала я, смертно,— сказала Татьяна, опускаясь на стул.

3

Утром Александра Тимофеевна пришла как ни в чем не бывало: свежая, снова всеильная. Ей удавалось иногда выглядеть такой — всеильной, способной сжать жизнь в руки и поворачивать в любую желаемую сторону.

— Как отдохнула, Ефимовна?

Стоило ли об этом спрашивать? Почти весь остаток ночи Татьяна просидела на стуле у стола, пытаясь что-то вспомнить, как ей казалось, необычайно важное. Но мозг застыл, словно масло на морозе, в тугой комок. Татьяне не удалось его расшевелить, заставить работать. Так она и уснула с этим комком в голове, не сумев ничего вспомнить, не сумев увести себя на кровать. Вероятно, выглядела она плохо. Александра Тимофеевна взяла ее властно за подбородок, подняла лицо:

— Ты и впрямь больна! Ложись-ка, чего сидишь.

Вошла Маня с Леной. Александра Тимофеевна выпроводила их.

— Полежи, Ефимовна.

— Нет.. Я умоюсь.

— Умойся, умойся. Чаек тебе подогрею. Лена сыта, накормлена.

«Что со мной,— потрясла головой Татьяна, пьяно ступая по полу.— Что же это?» Вода не освежала. Казалось, лицо и руки покрыты копотью от плиты и вряд ли можно отмыть эту копоть.

Она снова увидела Александру Тимофеевну и порази-лась: откуда у этой пожилой женщины столько сил, столько энергии? Неужели для нее вчерашний вечер был обычным, как все предыдущие вечера? Какого страха пришлось натерпеться!

— Слава богу, определили,— заговорила Александра Тимофеевна.— Благополучно доставили матушку Левону к месту. Далеко-о теперь она, никакой сыск не разыщет. Спокойствие тебе наступило вольное, Ефимовна. Ты тоже перестрадала за веру, вижу сколько.

«Что тебе еще от меня надо? — думала Татьяна.— Дай хоть немного прийти в себя. Или совсем добить хочешь?»

— Пей чаек,— налила стакан, пододвинула.— Маня! — крикнула в дверь.— Сумку подай. Принесла я тебе тут,— выложила сдобные булочки, колбасу, еще что-то.

Татьяна через силу выпила стакан чаю, надкусила край булочки. Хотелось лечь и лежать, совсем одной, с открытыми глазами. Чтобы никто не мешал: не ходил, не разговаривал, не дышал. Лежать день, два, неделю, пока в голове растает тугой комок мозга, вернется мышление, появится сила слушать и отвечать.

— Теперь бояться нечего,— продолжала Александра Тимофеевна.— Чисты мы перед людьми и перед богом!

«Чисты...— Татьяна посмотрела под ноги,— чисты...»— но так и не смогла осмыслить, в чем они чисты.

— Дельце есть одно, Ефимовна. Посылочку надо получить. И отдыхай себе, сколь захочешь.

— Мне посылка?

— На твое имя. Братья в Риге о нас позаботились, книжки прислали.

Александрѣ Тимофеевне пришлось повторить, что посылка для общины, только адресом на фамилию Татьяны.

— Откуда они знают меня?

— Ну... мы им написали. На меня присылали, сестре Елене было две посылки, другим... На разные фамилии,

чтоб в глаза не встречало. Паспорт взять и это извещение,— положила на край стола квадратик бумажки.— Маня с тобой пойдет.

Какая-то часть мозга наконец оказалась способной работать. Александра Тимофеевна никогда не оставит Татьяну в покое. Нужно получить посылку, книги прислали баптисты откуда-то. Посылка на имя Татьяны... У Татьяны Елена с Маней прятали «святые» листки — обошлось. Татьяна простояла до полуночи на карауле — обошлось. Видела, как Виктор отрубил пальцы — обошлось. Много обошлось. Теперь надо снова идти на страх и риск. Для чего? Нет, нет, пусть они сами получают свои книжки, Татьяна не станет связываться с посылкой. И так нет сил, не может одуматься от Левоны, от участкового...

— Не пойду я никуда,— ответила она.

— Ты что? — Александра Тимофеевна протянула руку, взяла со стола извещение.— Как не пойдешь? — Это от Татьяны она не ожидала и на какое-то время растерялась.— А посылка?

— Не пойду,— повторила Татьяна.

— Что с тобой, Ефимовна? — но в голосе прозвучало не удивление, а намерение во что бы то ни стало заставить пойти.— Ты думаешь, что говоришь?

— Не мне посылка! — упрямо ответила Татьяна. Нет, нет, она не пойдет, ни за что! — пусть Александра Тимофеевна хоть взбесится, бить станет — не пойдет!

— Одумайся, не тороплю. Завтра сходишь,— это было приказание.

— Не пойду ни сегодня, ни завтра! Сами получайте!

Она ждала бранных слов, чтобы тоже ответить громко, сказать, что у нее нет больше сил исполнять поручения Александры Тимофеевны; она живет в постоянном страхе, даже боится оставаться в этой комнатухе, хотя Левону и увезли. И если Александра Тимофеевна не поймет, Татьяна ей скажет, что ихнему богу совсем не нужны ни «святые» листки, ни сама «святая», ни книги... И поймала себя на мысли: «ихнему» богу! Да, да, у нее с богом совсем другие отношения. Она стремилась к нему, но все оказалось напрасным: бога надо было выдумать в детстве, чтобы в него поверить. Привыкнуть к выдумке, как со дня рождения привыкают к воздуху.

Бранных слов не последовало.

— Та-а-ак,— сказала Александра Тимофеевна.— Ладно... Маня у тебя побудет.— Она не сказала: Маня последит за тобой,— это следовало подразумевать. Из Мани неважный караульщик, но, на худой конец, приходится довольствоваться тем, что есть. И ушла: грузно, отягощенная раздумьями.

«Что ж, ладно,— посмотрела ей вслед Татьяна.— Ладно». Она не почувствовала ни обиды, ни сострадания к себе или к Александре Тимофеевне, только после ее ухода пустота стала гуще. И случайно увидела в зеркале глаза: чужие глаза — сухие и воспаленные глаза вконец больного человека.

4

Все же она пожалела о разговоре с Александрой Тимофеевной через час или через два, когда устала сидеть молча. Дело совсем не в посылке. Дело в том, что во всем была пустота: в вере, в самой религии. Все, что Татьяна делала в общине, напоминало работу поденщика в чужом хозяйстве. Когда-то эта работа и вызывала интерес, но теперь она обрела полную бессмысленность. Когда и как она перешла грань, за которой лежала ее теперешняя жизнь? И что будет дальше? Видно, так же вот шла и Полина: к чему-то стремилась, о чем-то мечтала, пока подошла к пропасти, оступилась в эту пропасть и упала. Во имя чего живет Татьяна в комнатухе покойной Марфы, неделями не показывается за ограду, делает то, что совсем не хочется делать? Это и надо было сказать Александре Тимофеевне, посоветоваться с ней: человек же она, ответит что-то. И помириться. Сказать, что посылку Татьяна получать не пойдет. Но должно ли это немедленно порвать отношения между ней и Александрой Тимофеевной?.. Вообще надо что-то делать, куда-то идти, иначе можно рехнуться, потерять остатки рассудка.

Она попросила Маню побыть с Леной и вышла.

Калитка была заперта. Татьяна вытащила из щели гвоздь, потянула на себя ручку, сунула гвоздь под задвижку. Она часто раньше пользовалась этим приспособлением, придуманным Виктором; вошла, снова закрыла калитку на запор.

Она обратила внимание на кучу дров, наколотых прямо среди двора: такого беспорядка раньше не было. И рано еще готовить в зиму дрова — июнь, успеется!

«Что же я скажу,— подумала Татьяна, подходя к сениям,— как объясню, что скопилось в голове? Может, других удерживает вера в бога: они пришли в общину каждый со своей бедой, со своим горем, потому и слепы в вере. Но она, Татьяна, не находит утешения. Видно, ей лучше уйти. Она не намерена рассказывать обо всем, что видела здесь, не станет выдавать Елену, Виктора. Просто уйдет, если Александра Тимофеевна не посоветует ничего другого».

Татьяна открыла дверь в кухню и остановилась в испуге: Александра Тимофеевна била Виктора! Иступленно, с безумным наслаждением она хлестала его куском веревки по лицу, по голове, не давая ни на минуту опомниться. Кофта у нее расстегнулась, и полы поднимались крыльями злой птицы. Виктор не сопротивлялся. Он стоял во весь рост у стены, словно приговоренный к пытке, неспособный отвечать на удары, лишь загораживая лицо руками.

Все вышло из головы: зачем шла она сюда, что хотела сказать. Татьяна почувствовала себя такой же беспомощной перед Александрой Тимофеевной, каким был Виктор. Она тоже не смогла бы ни кричать, ни сопротивляться, если бы Александра Тимофеевна обернулась и стала бить Татьяну, махая крыльями расстегнутой кофты. Она прижалась лицом к дверному косяку, боясь крикнуть, боясь упасть. Она видела только веревку, прыгающую в руках Александры Тимофеевны.

И вдруг веревка опустилась, упала на пол.

— Ты откуда взялась? — прохрипел голос Александры Тимофеевны. — Заходи, раз явилась!

Она умела владеть собой! — подошла, взяла Татьяну под руку, завела в кухню. И разревелась вслед уходящему Виктору:

— Сколько еще господь пошлет испытаний на мою голову! С одним не справишься, другое на пороге стоит. Знала бы ты, Ефимовна, как тяжело на старости лет во всем самой да самой... силушки больше нет, никакой мочи справляться...

— За что вы его? — спросила Татьяна.

Понадобилось проплакаться, чтобы суметь ответить. Слезы катились и катились по лицу Александры Тимофеевны. Но они не вызывали жалости у Татьяны. Она не верила этим словам, заранее не верила оправданиям

Александры Тимофеевны. Что мог сделать Виктор, чтобы дело дошло до побоев? Он слишком неумелый для дурного. И любит свою мать.

— Подумай только, Ефимовна: не кому-то, мне заявил! — женится только на той, на своей... этой самой...

— В городе которая?

— Ну да!

Похоже, она сказала правду.

— Только что домой заявился, с утра глаз не казал! — застегивая кофту, она дрожала от негодования. — Вчера весь день терся у нее, сегодня, когда конец-то?.. Так и заявил: два года люблю!.. Поду-ума-ешь, разлюбовничался! А мать? А люди все? Променять захотел на какую-то красотку?.. Не-е-ет, не бывать такому! Не бывать.

«Так и заявил: два года люблю! Заявил-то — скромнее некуда, а его бить в ответ!»

— Пойду сама, разыщу его полюбовницу, поговорю с ней! — задышалась от гнева Александра Тимофеевна. — Чем Нинка не невеста? Так нет, решил меня в позор ввести, из-под власти выйти. Скажи, я не права?

— Зря вы все это.

— Нет, не зря, Ефимовна! — покачала головою Александра Тимофеевна. — Никто у меня материнскую власть не отнял. И среди сестер еще уважение не потеряла!.. Не-ет, Ефимовна, не бывать супротив моего желания.

«Мирская — вся причина, — думала Татьяна. — А в общину или не идет или боятся зазывать».

— Зря вы, зря, — повторила она. — Виктор неплохой парень.

— Обмять надо, пока не поздно. Потом не справишься.

Татьяна все еще находилась под впечатлением дикой домашней сцены и не могла придумать ничего существенного в защиту Виктора. Он и так делал для матери все, что требовала она от него. Был послушен, уважал других.

— Зря, — еще раз сказала Татьяна, как бы подытоживая мысли.

— Что ты затвердила: зря да зря! Вырастишь своих, узнаешь. Всю жизнь нянькой...

Татьяна взглянула на руку, заметила, как она дрожит мелкой, противной дрожью. Зачем я пришла сюда? —

думала она.— Здесь мне никто не поможет разобраться в своей боли. Отсюда добром не выпустят. А выпустят, проклянут навеки, как Дугина. Как того Павла... или Степана, которого называют в общине Иудой. Она увидела на полу кусок веревки, вещественное доказательство «любви к ближнему».

Александра Тимофеевна встала, прошла во вторую комнату. Взяла евангелие. Открыла, полистала страницы. Положила. Опустилась на колени. Татьяна смотрела на ее широкий затылок, на грузное тело и поражалась: как могут уживаться в одном человеке добро, зло, любовь и ненависть. Где же божье милосердие, основа учения баптистов? До нее донесся шепот Александры Тимофеевны. Видно, она жаловалась богу на черствость сыновнего сердца, оправдывала себя. Пожалуй, ей и в голову не приходило, что она не права. Бог для нее был отличной ширмой для утешения совести.

Следовало уходить. Татьяна пришла не вовремя для разговора о себе. Здесь хватало своих забот. О себе каждый должен думать сам.

Она поднялась. Легкий скрип стула вспугнул Александру Тимофеевну, заставил обернуться. Она посмотрела так, словно удивилась появлению постороннего человека.

— Позови-ка Виктора, Ефимовна.

Но не дала Татьяне выйти одной:

— Постой, сама я.

Они вышли во двор. Александра Тимофеевна потрогала запор на калитке и удовлетворенно кивнула, мол, дома сын, не посмел уйти.

— Витя-а! — позвала она.

Ей никто не ответил.

— Посмотри-ка в сарае, Ефимовна. Дерзок стал не по годам!

Татьяна заглянула под навес. Открыла дверку в курятник. Она не испугалась, лишь на какое-то время у нее остановилось дыхание, похолодела кровь в венах и глаза застлала темнота. Но и сквозь темноту она видела ноги Виктора, висящие в четверти от земли. Безжизненно висящие ноги смертельно уставшего человека, отдыхающего в странной позе: черные туфли, носками вниз, черные брюки, и между ними неестественно белая кожа тела без единого намека на живую ткань — два

бутафорских гипсовых слепка, всунутых концами в туфли и брюки. У Татьяны не хватило сил поднять глаза; она отступила от курятника и бросилась вон со двора: от Виктора, от Александры Тимофеевны, от кучи свеженаколотых дров, от самой себя. Ей казалось, что кто-то совершил крушение враз нескольких поездов, умышленно перепутал стрелки, и составы раздавили друг друга, похоронили под обломками Елену, Виктора, еще кого-то. Они задавят и Татьяну, если она не успеет выскочить за калитку, крикнуть об опасности.

Неожиданно она увидела Дугина. Он мог спасти ее, увести или унести на руках от места катастрофы, где еще долго будут откапывать мертвецов, дышать смрадным воздухом, кошунствовать, ссылаться на несуществующего бога, обманывать друг друга, пока люди не раскроют этот рассадник лжи и лицемерия, не закроют притон мракобесия. И Татьяна из последних сил протянула к Дугину руки.

Глава вторая

Разговаривали в соседней комнате. Несколько человек.

— Он был еще теплый, когда сняли из... Думали, отойдет. Пока вызвали скорую помощь...

— Я его видел сегодня утром. На площади.

— Разве он не работал?

— Сказал, что в отпуску. Шел в город. Какне-то дела.

— Он собирался жениться.

— Девушка уже знает?

— Вряд ли. Она работает в городе. К тому же не баптистка, ей не скажут.

— Не из-за нее ли произошла эта история?

— Кто знает!.. Врачи нашли у него на лице и плечах полосы от ударов. Много полос.

— А мать?

— Тяжело ей, понятно. Не ожидала. Все молилась, пока его не увезли. Но не плакала. У нее характерец! Я ее давно знаю.

Говорили о Викторе, Татьяна сразу догадалась. Первый голос принадлежал Дугину. Второй мужской — Ва-

силию. Чей же был женский, такой знакомый? Этот голос спросил:

— Лену тоже увезли?

— Да,— сказал Дугин.— Я случайно там оказался. Кто ожидал, что произойдет такое.

— У баптистов первая заповедь: не убий.

— По религии они не имеют права человека пальцем тронуть,— ответил Дугин на женский голос.— Это главный козырь в вере. Они убивают людей другим путем: отбирают волю, отнимают душу, еще живых делают мертвецами. Как вспомню... Сам ведь зазывал к баптистам. Мужа Елены сначала затянул. Потом и Елену.

— У которой был пожар? Как она сейчас?

— В больнице. Поля ходила к ней. Врачи говорят: поднимется... Обгорела страшно. Двадцать девять лет ей всего.

Наступила короткая тишина. Часы отчетливо пробили одиннадцать ударов. Татьяна огляделась. Она лежала на диване. Было темно; из соседней комнаты в открытую дверь падала полоса света.

— Мы сами виноваты, что последнее время плохо боремся с религией.

— Кто: мы?

— Все! — сказала Варвара Петровна.— Я, Николай Михайлович, вы, Василий, Другие. Помните, позапрошлый год на комбинате появилась Зинаида Волкова. Не сразу ее раскусили: несколько человек затянула было в общину. Так ведь мы тогда всем цехом поднялись за своих людей! Майю Кислицину оторвали от религии. Не оставили товарищей в беде. Павел теперь лучший механик в прядильном отделении. Майя лет шесть была верующей, все же бросила «сестер».

— Много пришлось с ней поработать,— отозвался Василий.

— Зато Майя всю жизнь нам благодарна будет! За муж вышла, ребенок родился. Поговорите с ней о прошлом — со страхом вспоминает... Успокоились мы, Вася. Ну, мол, есть одна баптистка, Кондова, какая беда — не страшно!

Татьяне захотелось крикнуть: «А Агнесса... Настя Свистелкина... Остановите их, пока не поздно!»

Но сил хватило только сесть, ярче увидеть свет в соседней комнате — крикнуть она не смогла.

— А Татьяна не виновна? Силой ее затащили баптисты?

— Она, как принято говорить, оступилась.

— Принято говорить! Почему ты не оступился? Или она в другом государстве родилась, не жила с нами, не видела, куда идет? Мы виноваты, признаю. Но и она должна отвечать за себя, за свои поступки.

Полоса света на полу лежала дорогой к людям, которые сидели в соседней комнате: одни защищая, другие обвиняя Татьяну. Ей было одинаково больно слышать слова защиты и слова обвинения. Она должна была рассказать все сама, что не смогла сказать начальнику отдела кадров, Варваре Петровне, Василию, следовательно, всем, кто помог бы развязать или разрубить запутанный узел жизни.

Татьяна поднялась и пошла на свет.

Да, люди осудят, подумала она.

Но они и помогут.

Чирва Федор Ермакович

ПУТЬ ЧЕРЕЗ НОЧЬ

Роман.

Алма-Ата, Казгослитиздат, 1963.

372 с.

Редактор *Н. Муханова*. Худож. редактор *В. Ткаченко*.

Технич. редактор *П. Вальчук*. Корректор *М. Кац*.

Сдано в набор 3/IV-63 г. Издат. № 51. Подписано к печати 30/V-63 г. УГ04913.

Бумага 84×108¹/₃₂—11,625 п. л.—19,53 усл. п. л. (Уч.-изд. 20,37 л.).

Тираж 110000 экз. Цена 76 коп.

Алма-Ата, Полиграфкомбинат Главиздата Министерства культуры КазССР.
Заказ № 713.